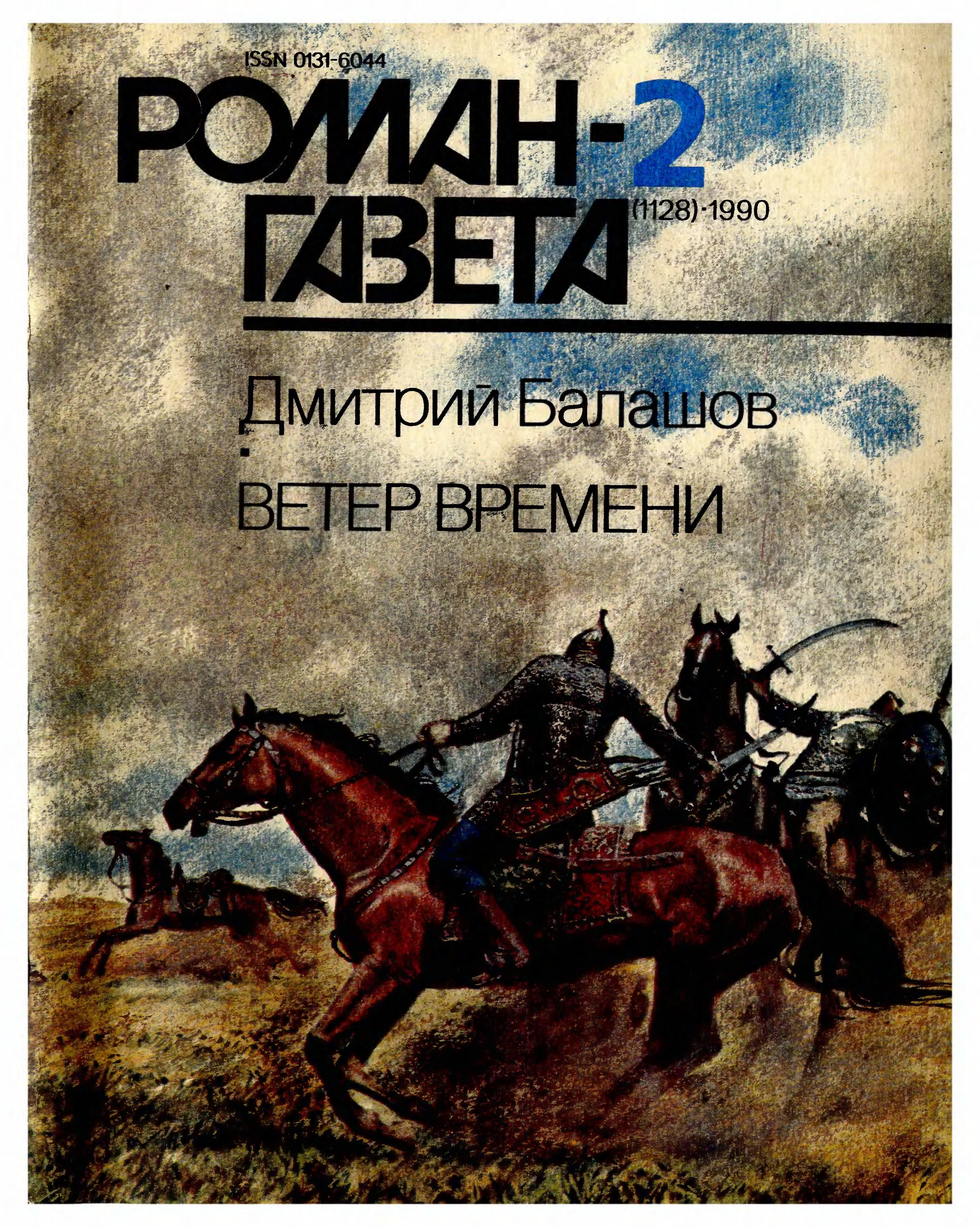


ISSN 0131-6044
РОМАН-ГАЗЕТА
2
(1128) · 1990
Дмитрий Балашов
ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

В связи с публикацией романов об отечественной истории, истории России, наши читатели (тт. Искрин и Попов из Москвы, Винников из Калининграда, Артеменко из Одессы, Бурдуков из Вологды и др.) спрашивают: какие фундаментальные издания по истории русского народа предполагают выпустить у нас в стране?

Об одном из таких изданий мы рассказываем в данном выпуске.

РУССКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Энциклопедический свод, рассказывающий о всей исторической жизни русского народа, предстоит подготовить и издать к 2000 году. До этого времени Совет Всероссийского фонда культуры по подготовке издания фундаментальной Русской энциклопедии (подписка на которую будет объявлена в середине 90-х годов) и недавно учрежденный Культурный центр «Русская энциклопедия» (неправительственная общественная организация, восполняющая отсутствие в РСФСР национального энциклопедического издательства) намерены провести широкомасштабные научно-исследовательские, культурно-просветительские и производственно-технические работы, нацеленные на возрождение в нашем обществе и за рубежом достоверных и не обремененных разного рода идеологическими «зажимами» представлений о всех сторонах более чем тысячелетней русской цивилизации, то есть навыков духовной, художественной, экономической жизни, ее культурных результатов.

Началась подготовка книг для разных серий «Библиотеки Русской энциклопедии». К примеру, в 1990 году должна быть завершена и издана однотомная энциклопедия русской философии, некоторые авторы которой уже выступили со статьями о русских философах в журнале «Новый мир» и «Литературной газете». Есть острая нужда в переиздании ряда фундаментальных дореволюционных историко-культурных трудов, трактующих вопросы национального самосознания. Нет необходимости объяснять целесообразность заполнения «белых пятен» в наших знаниях о прошлом. Русское право, русская геральдика... Забыты сотни, тысячи имен такого уровня, который в Англии или во Франции был бы основанием для включения в золотой фонд нации, предметом гордости, объектом многочисленных публикаций. Мы же пока лишены этого в результате длительной прерванности русских историко-культурных традиций.

В работе над Русской энциклопедией и в реализации программ Культурного центра «Русская энциклопедия» принимают участие такие видные деятели отечественной науки и культуры, как член-корр. АН СССР О. Н. Трубачев, академик Н. Н. Моисеев, писатель В. Г. Распутин, академик и вице-президент ВАСХНИЛ А. Н. Каштанов, директор ИМЛИ, член-корр. АН СССР Ф. Ф. Кузнецов, директор ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР Н. Н. Скатов, член-корр. АН СССР С. С. Аверинцев, доктор философских наук Ю. Н. Давыдов, доктора искусствознания М. А. Некрасова и Г. К. Вагнер, священнослужители и ученые Русской Православной Церкви. Работают секции (редакции) по направлениям: «русская экономическая мысль» (Б. А. Мясоедов), «военная история» (контр-адмирал Б. А. Коковихин), «русская народная культура, фольклор и этнография» (М. М. Громыко, Ю. И. Смирнов), «русское зарубежье» и т. д. Всего в Совете по подготовке Русской энциклопедии более ста ведущих специалистов из разных отраслей знания, а в секциях (редакциях) и на местах — до тысячи. Создан Дальневосточный клуб Русской энциклопедии, продолживший прерванные в начале 30-х годов работы над Дальневосточной региональной энциклопедией. Модели областных энциклопедий вырабатываются в Вологде, Рязани, других местах. Предполагается создание секций-ячеек Русской энциклопедии в каждом областном центре РСФСР.

(Продолжение на 3 странице обложки)



Дмитрий Балашов

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

РОМАН

(Окончание)

В вельяминовский терем Никите теперь ход был и вовсе закрыт. И что там творится и как живет Наталья Никитишна, которую, слышно, нынче собирался засватать некто из городовых бояринов, Никита узнавал только по слухам, от челяди, гадая: неужели Василь Василич захочет отобрать у него, Никиты, его неземную любовь?

А Василь Василич мог! В гневе, в злобе, в обстоянии, разуверясь в нем, да и попросту... Попросту! Не давал же он Никите ни намека, ни знака, что будет беречь для него Наталью Никитишну? Не давал!

Дыхно первый понял муку своего старшого.. Ночью, в стороже, на городской стене, поглядывая в синюю тьму, чуть разбавленную там и сям огоньками из окошек посадских хором, под слепящим, хлопьями, снегом, Никита рассказал ему все начистоту. И как тут быть — придумал Матвей. Сам разыскал того боярина-жениха, повестил, якобы злобы ради, что Никита ходит отай по ночам к Наталье Никитишне и оттого-де Вельяминов и спешит сбавить с рук загулявшую вдову. Никиту он заставил перелезть через ограду вельяминовского двора на глазах у затаившегося боярина и долго потом отговаривал дурня, пожелавшего вымазать дегтем вельяминовские ворота. Помолвка расстроилась.

Но Никита с тех пор ходил сумрачный и хмурый, единожды, утаясь от друзей, в самом деле залез на женскую половину вельяминовского терема, пробрался на гульбище, выждав час, поцарапался в знакомое окно.

— Кыш, кыш, проклятая! — раздалось по-за оконницею. Никита откинулся, распластавшись по стене. Вскоре осторожно хлопнула тесовая дверь, выводящая из верхних сеней на глядень. Наталья Никитишна вышла как была, в

Начало см.: Роман-газета № 1, 1990 г.

тоненьком домашнем распашном саяне, закутав голову и плечи в серый пуховый плат, и почти не удивила, найдя вместо кошки Никиту. Он молча взял ее за нежные плечи, притянул к себе, неистово стал целовать в губы, щеки, глаза, нос.

— Сумасшедший! Бешеный! — шептала она между поцелуев. — Увидят — погинешь сам и меня опозоришь навек!

Приодержавшись, сжимая ее запястья огрубелыми руками, Никита, стыдясь, шепотом, косноязычно признался в сотворенной пакости. Она выслушала, всхлипнула, закусив губу, засмеялась, дернула его за долгие волоса, раз, другой...

— А опозорил бы? А коли доведут Василь Васильичу али дяде расскажут? Глу-у-у-пый! — протянула и ткнулась ему в грудь лицом. Прошептала: — И зла нет на тебя! Постой! — резко отпихнула Никиту, прислушалась, шепнула: — Прощай! — И уже у двери молвила вполголоса с нежданною властною твердотой: — Коли слава пойдет, зарежусь! Так и знай!

Никита тихо спустился с гульбища, пал в мягкий снег. Знакомый вельяминовский пес подбежал и, обнюхав Никиту, вильнул хвостом.

Все ж таки обошлось. Не посмел, видно, незадачливый жених позорить великого боярина московского. А Никита с того дня долго ходил сам не свой, все выспрашивал да выведывал, не веря уже, что не погубил юносной молвою своей любви.

Станята попал в Троицкую пустынь уже спустя месяц после того, как было торжественно, в присутствии епископа Афанасия и Алексиевых посланцев, прочтено послание Филофея Коккина и совокупным советом братии приговорено устроить в обители общее житие.

За торжествами, за ослепительным — в лесной глуши, среди тяжких крестьянских трудов и сурового подвижничества — явлением патриаршей воли — посланием, обращенным к ним от самого главы церкви православной, за всем этим как-то и не восчувствовалось, не было понято даже, на что они идут, что приняли и к чему направляет их теперь игумен Сергий. Вернее сказать, понимали немногие. Архимандрит Симон понимал. Понимал, принимая безусловно все, что делал и велел наставник, Михей. Понимал Сергиев замысел и Андроник. Но уже брат Стефан, чуял Сергий, не понимал всего, что должно будет приять ему на себя с устроением общего жития — не понимал всей меры отречения.

Впрочем пока, за заботами созидания, все прочее возможно было отодвинуть и отложить до удобнейших времен.

Место для трапезной в два жила (нижнее отводилось под амбар и житницу) и для поварни рядом с нею Сергием было продумано заранее. Невдали от храма, но и в безопасном отстоянии от него, над обрывом, с которого открывался озор на рдеющую, многоцветную чашу, прорытую извивами Кончуры и Вондюги, и на далекие за нею лесные заставы, среди коих там и сям уже появились недавние росчисти крестьян, подселявшихся к новой обители. Славное место! Радостное глазу, каковым и должно было быть месту сходбища братии в час общей трапезы. Лес был приготовлен и доставлен к монастырю загодя.

Сергий не дал ни себе, ни братии и дня лишнего сроку. Назавтра же после торжеств с раннего утра в обители стучали топоры. Сам игумен, подоткнувши полы, уже стоял с секирой в руках, нянча первое бревно — нарочито избранный свилеватый осмол под основание трапезной, и продолжал работать не разгибаясь, пока не созвонили к заутрене.

Ели они, начиная с этого первого дня, все вместе в ближайшей избе, не растаскивая еду по кельям, как это было еще позавчера. Все иноки, кроме больных и самых ветхих старцев, все послушники, все, кто пребывал так или иначе в монастыре, были им разоставлены по работам. Самые маломочные брали и подносили мох, и первая хоромина новой общежительной обители росла на глазах, подымаясь все выше и выше. Рубили уже с подмостий, клали переводы нижнего жила. В Сергия словно вселился кто — не скажешь, бес, коли речь идет о праведном муже, но и человеческой силы недостало бы никакой работать так, как работал он, не прерываясь, день ото дня, из утра до вечера...

Станька подъезжал к Троицкой обители с грамотою Алексия за пазухой, и, как ни мало провел он времени здесь, сердце билось незнакомо тревожно. Словно к забытому дому ворочался он теперь на гнедом господском коне... Уже пошли знакомые колки и чащобы, в эту пору под белым осенним небом настороженно-молчаливые. Лес уже облетел, готовясь к зиме, и первые белые мухи медленно кружили в ясном холодеющем воздухе вокруг угрюмо насупленных елей. Издали доносило звонкий перестук топоров. Подымаясь в стременах, Станька тянул шею: вот покажется на урыве горы серая маковица, вот откроются кельи, прячущиеся под навесом еловых лап...

Дорога вильнула, пошла в гору, и Станька, вымчавши на угор, даже приодержал коня. Обители он не узнал. Не узнал даже и места. Расчищенный от леса, высоко вздымался взлобок Маковца, и на взлобке том возносила шатровые кровли в белесое небо новая, слегка только посеревшая просторная и высокая церковь. А за нею, на краю обрыва, виднелось другое монастырское строение, свежее, желтобелое еще: долгая хоромина на высоком подклете, с готовой обрешетиною кровли, только что не закрытая тесом или дранью, а невдали от нее еще одна, приземистая, клеть, как понял он по высокому дымнику — поварня.

И тын был отодвинут и поновлен, и кельи стояли не так, и под новорубленою хороминою все было бело от щепы, и не было уже и следа той прежней потаенной укромности, о коей вспоминал он в пышном каменном Цареграде. Теперь вся обитель вышла на свет и простор, потянулась вверх, раскинулась вширь, словно бы отразив на себе дальние замыслы владыки Алексия.

Станята рысью подъехал к ограде, спешился. Его встретил брат, несущий беремя моха, принял коня. Сергий, как он объяснил, был на подмостях, на кровле строящейся трапезной, и Станька, скинув дорожный суконный вотол, не долго думая, полез туда.

Наверху кипела работа. Уже укладывали долгие, тесанные из цельных стволов доски кровли, упирая их в лежащие на курицах потоки. Доски клали в два ряда, прослаивая берестой. Оба брата, Сергий и Стефан, были тут с топорами в руках. Сергий улыбнулся, озрел Станяту с головы до ног, отставя топор, принял и просмотрел грамоту, передал подошедшему Стефану, повестил Станяте, что трапезовать станут через недолгое время, а пока пусть он отдохнет в келье. Но Станька, зная норов Сергия, поискал глазами свободную секиру и, скинув зипун и подсучив рукава, принялся за работу.

Кровлю закрыли с какою-то незаметною быстротой. Снизу ударили в било как раз, когда клали последнюю тесину, и Станька, вылезши на кровлю, закрывал за собою лаз, чтобы спуститься потом наземь по приставной, долгой, в одну тетиву, с короткими перекладинами лестнице.

Совместная трапеза крепко пахнущих, уработавшихся мужиков (сейчас все они гляделись больше плотницкою дружиной, чем собранием иноков) была не внове для Станьки, и он, посылая ложку за ложкой в рот, зорко оглядывал председящих, узнавая старых знакомцев и знакомясь с новыми находниками монастыря.

Отстояв сокращенную до предела службу, Станята вновь взялся за наточенный топор. Тяжелый охлупень лежал уже на земле вдоль стены, и скоро, зачистив и уровняв паз, начали, приподымая вагами, заводить под него веревки. Впрочем, уже смеркалось, и, все подготовив, подымать охлупень порешили завтра из утра.

Вновь ударило монастырское било, призывая тружеников к молитве. За вечернею трапезой Сергий попросил его рассказать братии о Цареграде. Станята смутился поначалу, сбрусвянел, но, начавши сказывать, оправился, речь его потекла бойчее и бойчее, и вот настал тот миг, когда притихла братия, остановилось движение ложек и все глаза обоворотились к нему. Станяте хорошо было говорить. Побывши сам в Сергиевой обители, он знал, что должно занимать более всего затерянных в лесной глуши монахов, и, сказывая, словно развернул перед ними шитую дорогую парчу, живописуя и град Константина на холмах, и виноградники, и каменные дворцы, и море, и многочисленные святыни великого города. Понявши немую просьбу Сергия, не обошел и общежительное устроение тамошних монастырей, после чего заговорил об ином — о спорах и сварах греков между собой, о турках, захвативших Вифинию, о трусе, свидетелем коего был он сам, когда земля сбивает с ног и дома разваливаются, точно кучи пересохшей глины, о Галате, о фрягах и франках, о развалинах Большого дворца рядом с Софией, о борьбе Алексия с Романом, торговле должностями и подкупах... Сам не думал Станята, что таково складен получится у него рассказ!

Потом, когда он кончил, еще долго все сидели немые, очарованные и встревоженные зримою гибелью великого города, который для многих был до сей поры почти сказкою или сказанием из житий, вечным городом, с которым ничто никогда не может случиться, как не ветшают и не гибнут волшебные, небылые города...

Сергий повел его ночевать в свою келью; уже когда помолились на ночь, и улеглись, и погасили, опустив в воду, последний огарок лучины, Станята негромко окликнул Сергия, решивши вопросить наставника, ежели тот восхощет сего.

— Отче! — позвал он в темноту. И, почуяв Сергиево одобрение, продолжал, приподнявшись в темноте на локте с твердого ложа (спали они с Михеем прямо на полу на расстеленных кошмах): — Скажи мне, почто таково? У греков словно бы и всего поболе, чем у нас: и народу, и мастеров добрых, и ученых мнихов, и доброй славы старопрежней, и богатства еще есть немалые, — дак почто не возмогут они себя хотя от турок опасти? Наши бояре тоже немирны между собой, дак как-то по-иному словно!

— Думай, Леонтий! — протяжно отзывается Сергий, называя Станьку его христианским, крестильным именем.

— Скажешь, отче, основа всего в духовных силах, а не в богатств стяжании? — догадывает Станята.

— Возможет народ сам себя принудить к подвигу, — строго возражает Сергий, — воскреснет еще и не в толикой беде! Не возможет — не помогут ему ни ученость, ни богатства, ни множество людское...

— А мы?!

Сергий, почуялось, чуть улыбнулся в темноте, отмолвил вопрошанием:

— А ты, Леонтий, како сам о себе — возможешь?

Станята, подумав, отмолвил осторожно:

— Владыка Алексий, мыслю, был доволен мною! Многажды и сам об этом говорил.

— Вот, Леонтий! Ежели каждый возможет хотя посильное ему совершить и свершит, то воскреснет Русь. А ежели сожидать иншего спасителя себе, как по рассказу твоему ныне у греков, то не помогут ему ни митрополит Алексий, ни троицкий игумен Сергий! — Он еще помолчал и докончил: — Пока не свершены деяния, коими определит грядущее, до той поры и не можно предсказать будущую нашу судьбу! Мыслю землю языка нашего способною к подвигу, а что свершим — ведает токмо Господь! Спи, Леонтий, из утра охлупень подымать!

Станята уезжал к вечеру второго дня, все еще переживая — в плечах, в руках, в веселой дрожи всего тела, — как двигалось, медленно отрываясь от земли, неохватное бревно, как трещали, прогибаясь, покаты, как, зацепивши за свес крыши, долго не двигался охлупень и даже едва не поплыл вниз, как, наконец, подоткнув вагами, вздернули и, тяжело оборачиваясь, бревно поползло в веревочных петлях вверх по кровле, и как принимали, и как сажали, выдирая одно

за другим долгие ужища и потом выбивая клинья, приздымавшие охлупень над коневым бревном... И как он сам, выбивши последний клин, озорно шел, ликуя, по охлупню и холодный ветер задирал ему рубаху и развеивал волосы, остужая разгоряченное и счастливое чело, и далеким-далёко виднелось сверху — до окоема, до края небес, словно вся московская, укрытая лесом земля простерлась у него под ногами!

«Выстоим, выстанем! Не греки же мы! — пело у него в душе. — И Сергий прав: не баять, а делать, творить надобно! Тружающему воздается по трудам, а подвижнику — в меру подвига! И, верно, у народа, у всякого языка сущего, так же как и у всякого смертного, есть молодость и старость, и то, что возможет народ на заре своей, уже не возможет на закате дней. Так, должно, у греков закат, а у нас — заря?»

И, думая так, так надеясь, был он счастлив, как в разговоре с Сергием. И думал и гордился, пока не притекло в ум, словно облако, омрачившее весенние небеса: «А Литва, а Ольгерд? Какую хмурь пригонит из далекого далека холодный осенний ветер? Какие испытания еще ожидают Русь?»

В самом конце ноября дошла весть о смерти старого суздальского князя. Наследник Андрей Костянтиныч уехал в Орду за ярлыком.

Зимой Алексий деятельно объезжал епархии, налаживал хозяйство митрополии, расшатанное за два года его недогляда, заставил новгородцев выплатить задержанный бор, посещал князей, строжил бояр, властно вмешиваясь в дела соседних княжеств.

Чтобы до времени поладить с Литвой, решено было выдать дочь Ивана Иваныча, десятилетнюю девочку, за сына Кориада, брата Ольгерда. Из Литвы и в Литву скакали послы, и Шура Вельяминова деятельно собирала и готовила приданое для дочери.

Иван Иваныч слушался своего решительного наставника во всем и хоть тем облегчал непрестанные труды настырного русского митрополита. Они как бы поменялись местами: митрополит карал и строжил, князь же прощал и миловал.

Святками юную невесту отправляли в Литву. В возрожденном Кремнике кипела праздничная суета. Литовские послы в долгих корзнах и островатых шапках своих горячили коней. В узорные сани грузили сундуки и укладки. Невесту под колокольный звон выводили с красного крыльца разнаряженную, в собольей шубке и жемчугах, к расписному княжескому возку, а она глядела круглыми от страха и любопытства глазами, немножечко гордясь, что за нею приехали все эти большие мужи в богатом платье на разукрашенных конях, и еще не понимая, что навсегда прощается с отчим домом.

Посадские бабы, сбежавшиеся в Кремник, тоже разряженные, в красиво отороченных мехом, вышитых разноцветными шелками и шерстью шубейках, в узорных валенках, в праздничных повойниках, самшурах и рогатых киках, вышитых золотом и серебром, замотанные кто в пуховые, кто в узорные, из рисунчатой тафты, платы, концы которых за спиною свисали почти до земли, стройно и громко запевали славу будущей молодой, кричали приветное.

Все было пристойно и прилепо: и захлопотанный Иван Иваныч в праздничной сряде на крыльце, и Шура, вся в золоте, гордо поджимающая губы, и верхоконные Вельяминовы, все четверо, в бобровых опашнях, бархате и серебре, и спесиво поглядывающий на противника Хвост на долгогривом коне под шелковою попоною с бухарским бирюзовым седлом, и клир церковный, и Алексий в торжественном облачении, благословляющий юную княжну, — все являло вид полного княжеского благополучия и должно было (дай-то бог!) помочь оттянуть, задержать подольше неизбежную и страшную ныне для Москвы сшибку с Литвой.

В начале поста умер ростовский владыка Иоанн, и Алексий ездил в Ростов рукополагать на епископию своего ставленника Игнатия. В исходе зимы он поставил другого своего подручника, Василия, епископом в Рязань.

В Рязани были большие торжества, сам князь Олег присутствовал на поставлении нового епископа и имел затем встречу с Алексием и долгую беседу, в которой между делами святительскими изъяснено было, что московское правительство не вступается в Лопаснинские волости, но и Олег обещает поддерживать мир со своим соседом «без пакости». Большего пока в Рязани Алексий не мог совершить.

Зимою, и тоже побывавши на месте, в Смоленске, Алексий рукоположил епископа на смоленскую кафедру, Феофилакта, и добился обещания от князя не вступать в союз с Ольгердом противу Москвы. И, уже воротясь из Царьграда, рукоположил игумена Иоанна епископом в Сарай. Четыре новых епископа были поставлены им в единое лето, и теперь Алексий мог твердо сказать, что все епископии Владимирской Руси, кроме тверской, находятся в его полной воле.

Знал Алексий, ведал и по опыту и разумом своим постиг то, что зачастую забывают правители при назначениях на должности: то, что надобен прежде всего на месте любом муж смысленный, добрый хозяин и разумный, уверенный в себе делатель. Что ничтожный, хотя бы и преданный внешне, управитель навредит еще более, чем открытый враг. Навредит неумелостью своею в делах, навредит неспособностью решать самому потребное, навредит из тайной зависти, которую всегда имеет бездарность к таланту, и потому в час испытания всегда изменит, отшатнет, погубит благодетеля своего. Посему и отбирал и ставил Алексий всюду мужей смысленных, могущих самостоятельно решать дела правления и преданных ему не слабости ради, а по твердому сознанию и смыслу служения своего.

Думал ли он в те поры о западных епархиях? Ведал ли, что медленно, но неодолимо накладывает на них тяжкую десницу свою Ольгерд?

И знал и ведал, конечно! Но когда-то, еще во младости, постиг Алексий (и было ему искушение, и

тогда он целый день без хлеба и пития провел в лесной тишине на берегу Москвы, следя восстающее, а потом низящее солнце и долгие тени на зеленой вечерней траве, и, не шевелясь, лишь крепче натягивая на плеча монашескую сряду свою, думал и думал), что Киевская Великая Русь умерла и что грядет новая Русь, рождается в муках иной народ, и ей, этой новой Руси, уделял он с тех пор все силы свои и старанья. Ибо знал: из семени прорастет росток, из ростка — древо, а кроною древие то накроет и те края, где ныне запустение духа и угнетение веры православной. И всю борьбу за единство митрополии с Феодоритом, а теперь с Романом (и всегда — с католиками и Литвой!) вел он ради одного: дабы охранить росток, прозябнувший на землях владимирских, дать ему вырасти и укорениться, и корень ростка сего мыслил в земле московской совсем не ради того, что был сыном великого московского боярина Федора Бяконта, и совсем не потому, что семья его связала судьбу свою с московскими Даниловичами. Трудно это постичь и поверить трудно, но видел Алексий иное, важнейшее, и ради того, иного, не пожалел бы и Московской волости, кабы это занадобилось русской земле. Но видел, чуял: Новгород уже не возможет ничего, Тверь неостановимо сближается с Литвой и никогда не сумеет поладить с Ордою, а потому возможет и погубить все дело языка русского. (И видел, и сомневался в молодости своей, и, иская спасения мыслям, прибегал к покойному митрополиту Петру, первым поверившему в град Московский, и зрел теперь правоту святого Петра, и верил, свято верил уже в правду собственного выбора.) Суздаль, подымавшийся у него на глазах, еще менее мог перенять тяжкое дело Москвы, и не Рязань, конечно!

Весною, все силы на то положив, сумел Алексий призвать в Переяславль нового суздальского князя Андрея и уговорить его подписать ряд с Иваном Иванычем, теперь уже на правах младшего брата великого князя владимирского. Обласкав и всячески одарив, Андрея отпустили домой.

Так Суздаль был трудами Алексия вновь укреплен за Москвою, чем обеспечивался мир и ратная помочь суздальских полков, а значение Москвы и московского князя укреплено и поднято в земле владимирской.

Но оставался Ольгерд, язычник, хотя и крестившийся когда-то ради приобретения новых земель, оставалась растущая неодолимая Литва, с которой чуялся долгий спор и за спиною которой вставали римские, католические прелаты, с победою которых не только хитрость книжная переменит себя, но и всякая память о прошлом великой страны погинет, исчезнет, уничтоженная бестрепетною рукою во славу латинского креста, и погибнет Русь. И тогда погибнет Русь всеконечно! Это знал тверже греческих богословов и витий, знал славянским смыслом своим. И потому еще, вслед святому Петру, сдерживая изо всех сил Ольгерда и всячески мешая разделению митрополии, растил росток.

Да! Перетягивая митрополичий престол во Владимир, ставя епископов, укрепляя здешние владения церкви прежде всего, покупая в Цареграде иконы и книги для своих владимирских обителей и церквей, хлопоча о том, чтобы Сергиева пустынь стала поскорей наследницей лавры Печерской-Киевской, утверждая новые и новые монастыри на Москве, уча и наставляя и прямо теперь взявши в руки княжеские заботы вместо Ивана Иваныча, Алексий растил росток, лелеял древие плодоносное. Так понимал сам. И тому же учил других.

А тучи сгущались, беда бродила вокруг, прикидываясь нестроениями в Муроме, где Федор Глебович выгонял Юрия Ярославича из города и одолел-таки в ордынском споре перед судом хана; беда стучала в ворота Брянска, где утвердился было на столе князь Василий, вступивший в Брянск, но умерший всего два месяца спустя. И тогда в вечевых смутах весь город передрался и запустел, великие бояре да и многие из посадских бежали вон, и — уже во время отсутствия Алексия — к Брянску подступил Ольгерд, только и дожидавший, когда зрелый плод сам упадет ему в руки... Беда нарастала неурядицами и на далеком юге, откуда в Орду прибежали ходоки из Персии, моля Джанибека вмешаться в дела гибнущей страны, и Джанибек с огромным войском, покрывши землю сотнями тысяч коней, двигался теперь через кавказские проходы в Азербайджан, где жадный Ашраф, сумевший ограбить своих сограждан и не сумевший на награбленные сокровища нанять хотя бы наемную рать против золотоордынского хана, ожидал его с немногими преданными войсками недалеко от Тавриза, и дождал, и был наголову разбит ордынскою, все еще неодолимою конницей...

Беда разразилась, наконец, известиями из Константинополя. Роман выклянчил-таки, выпросил, улестил и купил себе у переменчивых греков сан митрополита Руссии, и надобно было срочно, бросая все дела, ехать, плыть, лететь в Цареград, разбрасывать вновь трудное русское серебро переставшим понимать уже что-либо жадным и слепым грекам, судиться и спорить, отстаивая перед новым патриархом звание свое, владимирскую митрополию, а с нею — все дело новой Руси.

Раннею осенью Алексий опять устремился в Константинополь.

В очаге медленно вращался вертел с нанизанною на нем целою тушею матерого вепря. Горячий сок с шипением падал в огонь.

Человек с высоким, слегка уже облысевшим лбом и большой серою бородою, в домашней холщовой сряде, но с узорным серебряным поясом на чреслах, сидел за темным дубовым столом и, изредка взглядывая в огонь, читал грамоты. Одиноко стоял перед ним узкогорлый, восточной работы, кувшин с простой водою и чара. Больше ничего не было на столе. Человек работал. Слуга, рослый литвин, с опаскою заходил в каменную сводчатую палату, стараясь не шуметь, притворял дверь и, совершивши потребное — подкинув дров, поправив огонь, проверив вертел, ко-

торый вращался сам от тяги в трубе, — так же тихонько выходил на цыпочках вон из покоя.

Ольгерд тогда отрывался от грамот и холодными голубыми глазами глядел на холопа, пока тот не выйдет. Потом, не сделав движения даже бровью, опускал глаза к грамотам. Русский язык Ольгерд знал очень хорошо и не нуждался в толмаче, тем более — в лишнем свидетеле и возможном соглядатае.

За низкою деревянною дверцею позади стола послышались шаги княгини, спускавшейся по крутой и узкой потайной лестнице в толще стены. Скрипнула дверь. Ульяна в легком шелковом долгом голубом саяне и летнике с завязанными на спине рукавами сверх него, тоже шелковом, темно-зеленом и сплошь шитом травами, наклонив голову в высоком очелье, вступила в покой. В руке у нее был византийский глиняный светильник, в горлышке которого вместо масла с фитилем торчала вставленная свеча. Она остановилась перед ним, поставя свечу на край стола, и, слегка оробев, как всегда, когда находила супруга за работою, уронила руки.

— Вечером со мною будет пировать дружина! — сказал Ольгерд, чуть помедлив и смягчая смысл слов едва заметной улыбкою. — Ты ужинай одна с детьми, помолись и ложись спать!

Огорчение столь явственно прочлось на лице юной княгини, что Ольгерд почувствовал себя обязанным сказать еще что-нибудь. Ульяна Тверская была хорошей женою, верной, заботливой и послушной.

— Тебе поклон от князя Всеволода! — произнес он, и голубые глаза его огустели синью и наполнились золотистым теплом. Ульяна вспыхнула, приоткрыла рот, обрадованная хоть такою вестью с родины. Прошептала:

— Как они там?

Ольгерд пожал плечами. Выговорил, задумчиво глядя в огонь:

— Дядя Василий отбирает у Всеволода тверскую треть!

Он, про себя, не понимал русских князей. В семье не должно быть споров! Достаточно врагов снаружи! Дядья и братья обязаны помогать друг другу, как помогает он Любарту с Кейстутом, иначе не стоять земле. Тверскую волость скоро сожрет московский или суздальский князь и будет прав! Впрочем, со смертью Симеона на Москве не осталось никого. Разве этот Алексий... Легкая судорога тронула его все еще румяное, продолговатое, крупноносое величественное лицо. Алексия, пожалуй, надобно было уморить еще в Цареграде!

— Папа Иннокентий вновь предлагает мне и Кейстуту принять римское крещение! — сказал он и усмехнул недобро.

— Они тебя погубят, Ольгерд! — почти выкрикнула Ульяна, крепко ухватя руками край стола и вся покрываясь нервным румянцем. — Почему, — продолжала она с тихим упреком, — ты не примешь крещение от патриарха? Тогда и Русь и Залесье будут твоими!

(«Русь и так скоро будет моей!» — подумал Ольгерд, но вслух не высказал ничего.)

— Не вступай в мужские дела, жена! — ответил он мягко Ульяне, примолвив: — И не страшись. Твоего супруга очень непросто обмануть даже и папе римскому!

Папе надобно было ответить так, чтобы он возможно дольше верил в согласие литовских князей креститься, а тем часом — укрепить Волынь. Но Ульяне этого незачем было знать. Он слегка привлек к себе ее податливое, трепетное тело, поцеловал руку выше запястья, решительно примолвив:

— Ступай!

И Ульяна не посмела более задерживаться в палате.

Ольгерд тогда разложил рядом три грамоты: послание Всеволода, в котором старался вычитать вот уже полчаса косвенное согласие на захват Ржевы, отчет брянского соглядатая о нестроениях в городе и сегодняшнее известие о том, что митрополит Алексий уехал в Царьград, после чего стал думать.

Иван Иваныч сам по себе был, конечно, не страшен. Алексия, очень может быть, постараются по его просьбе задержать в Цареграде. Хан с войсками, по слухам, находится на пути в Арран. Грамота папе римскому задержит Казимира с Людовиком Венгерским от нежелательного удара в спину. Да, впрочем, соглашение с Казимиром о десятилетнем перемирии на днях подписано.

На мгновение возникла сумасшедшая мысль бросить все силы на Москву — но он отогнал ее. По пути оставался неодоленный Смоленск, с юга — независимые Северские княжества. Даже ежели он изгоном захватит город, ему придется вскоре уйти из Московской волости, а там возмутятся владельцы мелких уделов, что сейчас сидят на своих княжениях, втайне ненавидя Москву, и он рискует, ничего не приобретя, потерять всех своих залесских союзников. Возмутится суздальский князь, восстанет Тверь, неведомо как поведет себя Олег Рязанский... Нет, нельзя было. Без прочного союза хотя бы с объединенною Тверью — нельзя! А грекам, как он понял слишком поздно, надобно было серебро. Тогда и русская митрополия уже теперь перешла бы в его руки! Нет, не страшен ему Алексий, тем паче — нынешний, уплывший в Царьград!

Патриарху надо написать еще раз о том, о чем он писал уже неоднократно: что московский митрополит небрежет западными епархиями, не заглядывает ни в Киев, ни на Волынь, что церковь изнемогла без верховного главы... И дать понять, что он, Ольгерд, только и ждет возможности присоединить Литву к престолу греческой православной церкви.

Кейстуту хорошо! Сидя в Жемайтии, можно гордиться тем, что ты литвин и язычник! А ему? Когда едва ли не все население его удела состоит из одних русичей... Охрани меня Перкунас от знака креста и всяческих попов — неважно, греческих или латинских! Молиться перед иконою в церкви пристойно женщине, а не мужу-литвину, коего охраняют жрецы-кривиты и главный из них — Криве-Кривейт и берегут вайделоты, хранители священного огня, который клянется на мече и приносит присягу над теплым телом

только что поверженного быка, который сжигает рыцарей во славу огненного бога, до сих пор нерушимо хранящего Жемайтию от немецкой нечисти!

А папе должно написать сегодня же. И тянуть, тянуть сколько можно! В конце концов, перед ним сейчас лежали Ржева и Брянск, захватить их надо было немедленно! А воины пусть думают до поры, что поход будет на Волынь... Кому бы повестить об этом втайне, но так, чтобы через сутки уведали все?

Он аккуратно собрал грамоты. Поднял с лавки тяжелый, обитый железом ларец. Сложил туда грамоты и ударил в подвешенное близ стола серебряное блюдо. Звуки еще отдавались, замирая, под сводами, когда в палату протиснулся печатник. Ольгерд своим ключом запер ларец и передал его молча печатнику из рук в руки, выразительно поглядевши тому в глаза. Взгляд был слишком красноречив, ибо лоб печатника разом взмок, и, прижимая к себе ларец обеими руками и часто кланяясь, он, пятясь задом, тотчас покинул палату.

Ольгерд еще посидел, подумал, следя, как безостановочно поворачивается тяжелый вертел, и, решив про себя окончательно, что начинать надо с Брянска, а Ржеву захватить изгоном, врасплох, минуя смоленские волости (и тотчас отослать о том тайную грамоту старшему сыну Андрею в Полоцк), кивнул слуге, повелев, чтобы накрывали на стол; потом крикнул мальчика и, опираясь на его плечо ладонью, слегка прихрамывая, покинул покой. К вечерней трапезе с дружиною следовало переодеться в княжеское платье.

Проходя галереей, он чуть задержался у окошка. Дубовые рощи еще стояли нерушимо, и только отдельные пятна старой бронзы среди темно-зеленой листвы возвещали начало осени. Ну что ж! Конница не попадет в распуту и не будет вязнуть на русских, непроходных по осени дорогах. А хлеб под Брянском уже убран, ему будет чем кормить на походе людей и коней...

В окошко пахнуло влажным осенним ветром, показалось, что уже заструилась дорога под копытами литовской конницы, и его караковый жеребец идет под ним, плавно сгибая шею, и косит, играя, глазом, и с притворною злостью грызет удила, и ветер осени дует в лицо, и радостен конский бег, приносящий всегдашнее ощущение возвращенной молодости. Он не любил своей хромоты и старости, мыслей о ней — не любил тоже. Впрочем, о последнем влюбленная молодая жена помогала ему забыть. Он втайне не любил и пиров, поскольку никогда не пил ничего, кроме воды, а потому с небрежением взирал на хмельных соратников своих. Но стремительный конский бег — любил и в седле молодел душою и телом. И лучшие, самые значительные победы свои совершал стремительными и внезапными рейдами конницы, равно пригождающимися в борьбе с тяжелыми немецкими рыцарями и с татарскою легкоконною лавой. Он даже никогда не осаждал подолгу и не захватывал в упрямых многодневных штурмах вражеских городов. Он громил, разорял и уходил и стремительно являлся вновь, пока и города и княжества сами не падали к его ногам, то отдаваясь в лено, то принимая его воевод и сыновей на столы. Он с юности научился заключать выгодные союзы с владелицами лишенных мужского потомства уделов (первая жена принесла ему Витебское княжество), и сыновей ему надобилось много. Для того же самого — захвата уделов, упрочения власти. И потому еще, что она рожала сыновей, Ульяна была хорошею женой.

Да, конечно! Всеволод не вступит в дела Ржевы и помешает вступить дяде Василию. А Иван Иваныч... Ржева — это верховья Волги, это путь по Селигеру к Новгороду, это граница Твери. Это постоянная угроза Волоку Ламскому и дорога на Можай, который ему в тот раз, при Симеоне, не удалось захватить. (Не удалось, ибо поспешил. Пошел к Можаю, не взявши Ржевы и не укрепив ее за собой!)

Все время, пока он с помощью слуги переодевался в праздничное платье, Ольгерд не переставал думать, поворачивая так и эдак, и уже понял, вешая на грудь серебряное княжеское украшение, что конницу надо двинуть отсюда сразу же после пира, в ночь, дабы немецкие соглядатаи не усмотрели числа уводимых дружин, а грамоту Андрею отослать тотчас, еще до пира. Вспомогательные отряды он будет забирать дорогою, не задерживаясь. (И на брянский стол посадит второго сына, Дмитрия!) Ольгерд поглядел в серебряное зеркало и усмехнулся своему отражению. Это даже и хорошо, что русичи немирны друг с другом! Иначе ему трудно было бы, опираясь на уже завоеванную Русь, подчинять себе прочие русские княжества, как он это делает теперь!

Предстоял пир. А в его ушах уже звучал согласный топот множества конских копыт, уже стремилась дорога, и ветер новых сражений овеивал ему лицо.

«Ты все взвесил, Ольгерд?» — строго спросил он сам себя, останавливаясь на пороге.

Кейстут — тот кидался в бой очертя голову, и не раз попадал в плен и бежал, и постоянно играл со смертью. Он сам никогда не совершал ничего подобного. Хотя и не был труслив. Зато захватывает удел за уделом и стоит сейчас, по сути дела, во главе всей Литвы.

«Ты все взвесил, Ольгерд?» — повторил он снова и, прикрывши глаза, перечислил все, что должен был захватить, присоединив к Литве: ныне Ржеву и Брянск, следом — верховские княжества и Можай, затем — Смоленск и Киев, затем — Галич и ту часть Волыни, что сейчас в польских руках, затем Псков и Новгород, затем Тверь и наконец Москву. Рязань и Суздаль тогда сами попадут к нему в руки. И после всего — Орда. Или раньше Орда? И хватит ли на все это сил, лет, времени жизни? И какую веру придется тогда принять?

Это был тяжелый, доселе неразрешимый и раз за разом отодвигаемый им вопрос. Тут был и вечный спор с сыном Дмитрием-старшим, убежденным христианином, которого он нынче прочит на брянский стол.

Единая его попытка расправиться с христианами в Вильне привела лишь к появлению новых литов-

ских мучеников, и больше он подобных попыток не повторял. Ульяна, как и Мария, его первая жена, свободно молится в церкви, имеет своего попа, строит храмы, жертвует на виленскую православную церковь... Католиков он не утесняет тоже. Две чуждые веры всегда безопаснее, чем одна. Верил ли он сам? Когда-то он попросту смеялся над верою, теперь мог бы сказать, пожалуй, что не знает. Вера живет традицией, обрядом, нерушимым преданием старины. Смена веры болезненна всегда и порождает во многих зачастую полное безверие. Ольгерд был человеком своего времени и верил в себя самого больше, чем в отвлеченного бога, будь то Перкунас или Христос. То была его беда и судьба. Будущего Ольгерд, увы не провидел, как и все смертные.

Алексий заставил его вновь всерьез задуматься о делах церкви. И поспешить со своим ставленником на митрополичий престол. Роман, полагал он, очень хороший противник Алексию. И теперь, под тяжестью литовского серебра, цареградские уклончивые весы склонились, кажется, в его сторону. Нет, и Алексий ему уже не страшен!

И вновь он услышал внутренним мысленным слухом глухой топот множества конских копыт. Где решает меч, там не перевесит уже ни сила креста, о которой постоянно толкует Ульяна, и никакие поповские бредни!

Москва вся ходила на дыбах. На улицах собирались толпы народа. То там, то здесь вспыхивали набатные колокольные звоны. До хрипоты кричали, спорили, ссорились на площадях и в торгу. Откуда-то из подмосковных слобод сами собой являлись наспех оборуженные, никем не званные дружины ратных. Все ждали Ольгерда. И Хвост, потерявшийся, — ибо, по самому здравому разумению, что же он мог сделать теперь, до думы боярской, до князева решенья, до соборного приговора Москвы? — стал вдруг и сразу ненавистен едва ли не всем и каждому. Вельяминовых останавливали на улицах, Василию Васильичу кричали: «Веди, не отступим!»

Иван Иванович, несчастный, растерянный, сидел, не показываясь, в своем тереме и не знал, что ему вершить. Дума наконец собралась, но опять не сотворилось в ней нужного единства, и, поспорив, покричав до хрипоты, вдосталь овиноватив друг друга, великие бояре московские не сумели прийти к единому твердому решению и, как всегда в таких случаях, постановили укреплять Можай и Волок Ламский, слать ко князю Василию Кашинскому о совокупной брани противу Ольгерда, слать к смоленскому князю Ивану Александровичу, дабы выступил, по прежнему докончанию, противу Литвы, но вообще — погодить и дожидать владыки Алексия из Царьграда.

Но Василий Кашинский, занятый грызнею с племянником, отвечать отнюдь не спешил, и Ольгерд, занявши Ржеву и оставя там гарнизон, благополучно ушел в Литву.

А меж тем Москва шумела и ждала и требовала от князя, бояр и тысяцкого решительных действий. Толпы приходили в Кремник, Алексия Петровича прошали взаболь, не предался ли он Ольгерду, и колгота творилась страшная. Во все это разом окунулся Никита, как только они с Матвеем к вечеру следующего дня въехали в Москву.

— Ай с порубежья? — окликнули их на улице, едва они, мокрые и усталые, миновали первую заставу. Никита приотпустил поводья, и тотчас вокруг двоих верхоконных ратников сгрудилась толпа.

— Не с Можая?

— Как тамо, Ольгирда не чают ищо?

Никита объяснил, что сами не ведают — с тем же самым прискакали в Москву. Толпа разочарованно расступилась.

— Прошайте тамо, мужики! — крикнули им вслед. — Може, пора добро хоронить да самим в лес тикать, пока нас тута литвин всех не полонил?

Кремник гудел, как улей на роении. В молодечной стоял крик и шум. Кто-то кого-то хватал за грудки, бранили и защищали Хвоста.

Припоздавшие Никита с Матвеем смотались на поварню, где им налили по мисе простывших щей, и тотчас по возвращении в молодечную Никиту облепили свои кмети:

— Ну, што речешь, старшой?! Заждались тебя! Уж тут, по грехам, и сшибка вышла!

Разглядывая свежие синяки под глазами и на скулах у того, и другого, и третьего, Никита, осклабясь и поплевав сквозь зубы, вымолвил негромко:

— Ну, сказывай кто-нито, чего наозоровали без меня тута?

Ратники закричали было, но Никитины: «Ну, ну, ну, еще! Вали все подряд!» — отрезвили наконец многих.

— В сторожу пойдем, тамо и поговорим! — так же негромко докончил он, и пошел, и, оборотясь, примолвил, сузив глаза:

— Пороть вас надо, олухов!

Мокрую одежу они с Матвеем разложили на печи, сами залезли на полати. Тут гул молодечной и сумрак закрывали их от лишнего глаза пуще всякого нарочитого уединения. Скоро к дружкам пробрался и Иван Видяка. Конопатый рассказал шепотом, что произошло вчера, пока не было Матвея.

— Дак пошто и нас ждать было! — выругался Никита. — Шли бы толпой к Василь Василичу на двор! Мать-перемать, коли Алексий Петрович не последний олух, дак зашлет всю нашу шайку теперь за Можай, в порубежье, там и будем прокисать до скончания дней!

— Как же теперь, старшой? Погорячились робята, нельзя и их винить!

— Льзя! — кратко отверг Никита. — На дело шли али на болтовню сорочью?

— Все одно думай, старшой! — уныло повторил Видяка.

— Ладно! — сказал Никита, так-таки ничего не решив. — Давай спать, утро вечера мудренее!

Утром он сам явился к Хвосту и, быв допущен, дерзко глядя в очи боярину, повестил, что по его вине — поскольку застрял в деревне и молодцы оста-

лись без догляда — вельяминовская братия взбушевалась, устроила драку в молодечной, и он теперь предлагает боярину, буде есть на то какие наказы от князя, послать его со всею приданною дружиною бывших вельяминовских ребят на рубеж, за Можай.

— Пущай, тово, охолонут! — примолвил он, чуть-чуть усмехнув при этом.

Хвост сопел, молчал, думал, порывался сказать, подносил руку к бороде, но и вновь опускал, выслушал все молча, отмолвил наконец:

— Верю тебе, старшой. Мне уже донесли, что не ты, а только...

— Дак на рубеж, боярин! — смело перебил Никита (опасаться было уже и не к чему, все одно — голова на кону). — Тамо хошь и неверны тебе, а одна дорога: либо служи, либо погибай!

— Сам-то как думашь? — вопросил Хвост, пристально и тяжело взглянув на старшого. И Никита, не опуская светлых разбойных глаз, легко отозвался, чуть пожимая плечьми:

— Дак што ж! Проверить не мешает молодцов! Застоялись, што кони. Пущай охолонут чуть. И под моим доглядом... Да и я сам под твоим доглядом буду, чай!

Усмехнулся в ответ боярин. Откачнулся на лавке:

— Ай и пошлю!

— Посылай! — готовно отозвался Никита. — Коней только надобно перековать, дак и то за пару дней справимсе!

Коней перековали. Справились. Срядились круто. Беда, осознанная, слава богу, всеми, сдружила пуще удачи. Хвостовских соглядатаев вызнали и показали Никите на второй день. Вскоре один из них упал со внезапно понесшей лошади и был оставлен с разбитым бедром и вывихнутою рукою под Можаем, второго же «берегли» всю дорогу, и так хорошо, что во время всех серьезных разговоров он оказывался в самом нарочитом далеке от Никиты.

Ольгерд ушел, и узнавать им на осенних проселочных путях, в мертвых, засыпанных снегом лесах, под белым небом ранней зимы, было нечего. Следовало брать Ржеву так же быстро и нежданно, изгоном, как это сделал Ольгерд. Но на то не было ни должных сил, ни боярского разрешающего повеления. Промотавшись в седлах по порубежью, отощавши сами и приморив изрядно коней, поворотили в Москву.

Хвост встретил свою отощавшую сторожу и выслушал доклад Никиты с душевным облегчением. Меряться силами с литвином ему совсем не хотелось. Тем паче, пока его ратные мотались по рубежу, и еще одна пакость приключилась, о коей только-только уведали на Москве. Смоленский князь выступил-таки противу Ольгерда. Один, без московской помочи. И был, разумеется, разбит, потеряв многих ратных и, полоненным, племянника, князя Василия.

Так Ольгерд одним ударом сумел разрушить все сложное здание союзов, зависимостей, родственных связей, служебных обязательств, которыми Москва при четырех сменявших друг друга князьях все крепче и крепче привязывала к себе и Смоленск, и Брянск, и Ржеву. Сумел при этом и захватить в свои руки оба последних города с их волостьми, чего бы никогда не допустил Симеон Гордый.

Тут вот, уведавши последнюю беду, и сказал наконец Никита своим до предела измотанным и одураченным ребятам, что боярина пора кончать:

— При Семене Иваныче да под вельяминовским стягом мы бы счас не то что Ржеву отбили — и смолян бы не выдали, и из Брянска, поди, вышибли Литву!

Но на жадные вопросы ратных: «Когда?» — только пожал плечами:

— Стеречи надо! А дня и часу не скажу, не ведаю сам!

Меж тем подходило Рождество.

Человек, упорно решивший дойти до намеченной цели, с какого-то мгновения уже теряет власть над своими поступками и движется подобно камню, выпущенному из пращи.

Легко было бы сказать, что Никита действовал по прямому научению, ежели не приказу Василь Василича, вдохновляемый обещанием награды, или из чувства служилой чести, обязывающей послужильца-ратника отдавать жизнь за своего господина. Мы знаем, однако, что это было не так.

Можно было бы догадать, что Никита избрал путь, с помочью коего надеялся, заслужив благодарность Вельяминова, обрести свою любовь. В это возможнее всего было бы поверить. Но только Никита как раз накануне роковых событий совершил то, что выказало его уверенность в мрачном для себя исходе задуманного предприятия, проще сказать — в собственной гибели. Так что разве уж посмертный венок героя получить надеялся он в глазах своей «княжны»?

Ненавидел ли он Хвоста столь слепо и бесконечно, чтобы решиться уничтожить злодея? Нет, не было и того!

Наконец, не сказать ли тогда, что Никита задумал совершить то, что он совершил, ради высокой идеи, ради спасения родины, как он мог полагать, глядя на творимые вокруг непотребства и грозную потерю волостей, захватываемых сильным врагом?

Но как раз глядя на все совершавшееся и совершаемое, не мог бы Никита никак прийти к подобному заключению. В бестолочи и бессилии Москвы виноват был прежде всего Иван Иваныч, единственный оставшийся в живых князь из родовой ветви Даниловичей. Но потому, что он был единственный, сменить его и заменить было решительно некем, и уповать оставалось лишь на следующие поколения. Виновата была чума, унесшая ратную силу Москвы, а новые мальчики еще не выросли во взрослых воинов, и приходило опять же ждать. Виновато было и то трудноуловимое и непостижимое уму, что называлось учеными монахами-исихастами незримым током энергий, или просто энергией, которая или есть или ее нет в людях и которой в ту пору пока еще больше оказывалось в Литве, чем в Залесье, отравленном не-

когда гибельною усталостью склонившейся к закату великой Киевской державы Рюриковичей и все еще не претворившем отраву ту, ту зараженную кровь, в вино нового московского возрождения.

Так могла ли судьба страны решительно поворотить свой ход из-за исчезновения одного человека? Хотя бы и занимавшего высокий пост!

Да, могла! Но, во-первых, спросим всегда: какой пост и с какими возможностями действования? Во-вторых, надобно спросить: а что творится в эту пору в стране?

Иногда для того, чтобы вызвать грозовой ливень, обрушить на землю горы воды, сотрясти гигантские массы воздушных стихий, достаточно одного слабого выстрела из пушки. Иногда! Но лишь в такую пору, когда великие силы природы находятся между собою в неуверенном напряженном равновесии, которое разрушить слишком легко. И только тогда! И судьба человека лишь в редкие миги столкновения высших сил может существенно повлиять на события. Хотя и может! Хотя, вместе с тем, сами-то события истории человеческой не людьми ли совершаемы? И мы опять же здесь говорим не о всяком деянии, но о деянии насилия, о сотворении правды неправдою!

Великий, неразрешенный доднесь и, возможно, неразрешимый вопрос истории! Ибо вовсе и всякий отказ от борьбы, от гнева, от ратного спора и битвы за правду свою приводит к победе иных, тайных и подлых сил, растущих в тиши и укромности, опутывающих жертву свою узами невидимыми, узами лжи и обманов, обязательств и повинностей, долгов и ссор, коварными тенетами, попав в которые человек, как муха в паутине, постепенно теряет и силы, и веру, и права свои, и самую жизнь и только одно возможет сообразить, погибая, что его не зарезали, не пустили ему кровь, а бескровно удушили.

Великий вопрос истории! И вспомним, что о воинах, погибающих за родину свою, молятся как за праведников. Но то — ратный долг, святое дело обороны страны. А ежели враг — внутри, ежели враг это свой? А ежели он к тому же, в свой черед, верит, что именно он прав, а ошибаются иные?

Когда подобные противоборства вырастают до неодолимости, то народ гибнет или перестает существовать как целое. Ибо в спорах и борьбе должен народ, язык, земля обязательно в конце концов выковать себе единство цели и смысла бытия своего и уже за него всем миром бороться. И снова мысль проходит по страшному кругу и возвращается к тому, с чего началась: праву отдельного человека решать самостоятельно оружием судьбы народа своего. Есть ли оно, это право, вообще в истории? Дано ли оно человеку? Раз дана свобода воли, значит — дано. Но ежели все начнут сами решать... И снова страшный круг, выхода из которого на этом пути мысли никогда не будет, а возможно, и быть не должно, ибо человек — это всегда «мы» и никогда «я». И истинным будет лишь то суждение, в коем исходным рубежом размышлений становится не личность, но множество (обычно начинающееся с трех, отсюда и возникает «троичность» как принцип объективности истины).

Всей этой мысленной череды, разумеется, не было в голове у Никиты совсем. В голове, и душе, и сердце у него царила полная сумятица. Он догадывал, чуял, что уже летит неостановимо, и только это одно ясно и понимал. А все, что творилось вокруг него, постигал уже смутно. Святочные празднества казались ему чудовищным бесовством. По улицам неслись нелепо разукрашенные сани с уханьем и криками, из дверей вырывались пиликающие и дудящие звуки, прыгали в сугробы какие-то существа в харях, с рогами и хвостами, блеяли по-козлиному. Водили медведей, ряженых и взаправдашних, и живые медведи тоже нелепо плясали на задних лапах, натягивали и снимали шапки с головы, стучали посохами и били в бубны.

Одетый мохнатым лесовиком, завесивши чело берестяною раскрашенною харей, пробрался Никита с шайкою ряженых в терем Вельяминова, долго плясал и блеял, переходя из горницы в горницу, разыскивая ее, и мало не испугал: ойкнула, когда страшнорожий лесовик схватил за руку и повлек за собою в темный угол и на сени. Понявши, кто с нею, она сама утянула его в укромную боковушу, пустынную в этот час, в ту самую, где они встретились когда-то впервые, в день смерти старого тысяцкого Василья Протасьича.

Никита откинул личину, властно приник губами к ее губам. Она поняла что-то, отстранилась, поглядела встревоженно и заботно. Долго сидели потом молча, и Никита сжимал ее руки в своих, и все не мог отпустить, и все не мог повестить то, с чем пришел нынче в высокий вельяминовский терем. Наконец отпустил и, и не глядя на нее, не слушая ее слов (она говорила что-то, о чем-то прошала), достал с шеи мешочек на кожаном гойтане, открыл, вытащил оттуда, стараясь не помять, драгоценные старинные серьги, те самые, дедовы, развернул берестяную скрепу и ветхую шелковую тряпицу, почти уже истлевшую, освободил два маленьких сиротливых солнца и вложил ей в потную прохладную ладонь. Она что-то продолжала баять, а он не слышал — как оглох. Только смотрел на нее. Наконец выговорил:

— Деда мово, Федора Михалкича! А ему княжна подарила тверская. За любовь. Вот! Дарю их тебе. Для тебя и берег всю жисть. Свидимся ли, нет, не ведаю. Може, и напоследях я с тобою, дак... Прими, словом!

Она глядела на него, продолжала глядеть, и слеза медленно скатывалась у нее по щеке.

— Ежели ты на худое решился... — прошептала.

Жестко усмехнул Никита, повторил: «Спрячь!» — и она, испуганно глянув ему в лицо, начала заворачивать было дареные сережки. Но вдруг остановилась, подумала и, сузив глаза, подняла руки, расстегнув, вытащила из ушей свои серебряные, отложила, а потом бережно вставила в розовые нежные мочки ушей Никитов подарок. Продела, повозившись с затвором, повернула ухо к Никите: «Застегни!» — и он, дрожащими руками прикасаясь к ее ушам, голо-

ве, шее — и от каждого касанья начинала кружить голова, — грубыми пальцами своими застегнул наконец крохотный замочек сережки. А она, вся заалев, вложила в ухо другую и опять, уже молча, повернула ухо к нему.

За этим делом и застал их обоих Василь Василич Вельяминов. Когда хлопнула дверь, Никита, понявший разом, кто вошел, все еще возился с сережкою. Он чуть вздрогнул (и она ощутимо вздрогнула), но не обернулся даже, пока не застегнул серьги. И тогда лишь откинулся на лавку, оглядев в полутьме покоя мрачный лик старшего Вельяминова.

Боярин стоял, фыркая, словно конь, перед этими двумя, что застыли на лавке, и не знал, что совершить, сказать, крикнуть, ударить ли... Сел наконец. Вымолвил:

— Здравствуй!

— Здравствуй и ты, Василь Василич! — отозвался Никита.

— Гляжу, обнова у тебя? — вопросил насмешливо Василь Василич, глядя на Наталью Никитишну.

— Никита подарил! — отмолвила она, вся заалев, но смело глядя в очи боярину.

— А у тебя отколь? — перевел Вельяминов тяжелый взгляд на Никиту.

— Родовое! — строго отмолвил тот. — Деда моево!

— А прикажу снять? — вопросил Василь Василич. Наталья Никитишна побледнела, потом вспыхнула.

— Ты поди, донюшка! — сказал Никита, назвав ее неведомо как сорвавшимся с уст ласковым именем. Встал, перекрестил Наталью Никитишну и при боярине, будто и не было того в горнице, привлек к себе и крепко поцеловал. — Иди!

Сам поворотил к Вельяминову и уже не глядел, пока за спиною не захлопнулась (не вдруг) тяжелая дверь. Тогда лишь сказал:

— Мой дедушко, Федор Михалкич, дарственную грамоту на Переяслав привез князю Даниле Лексанычу. Вот! Был доверенным человеком у князя Ивана Митрича, самым ближним. И у князя Данилы был в чести. Без еговой помочи полвека назад и Акинфа Великого под Переяславом не разбили бы! И серьги те получил дедушко мой во Твери, от сестры Михайлы Святого! Не советую тебе, боярин, снимать тех серег! Погину я коли, тогда сватай! Неча ей во вдовах сидеть! А серьги — не тронь, понял, Василь Василич? Може, и с тобою я толкую напоследях, а только — помни о том!

Никита пошел было к двери.

— Куда ты? — откликнул его Вельяминов. — Поймают! Сядь, тово!

— Сделай, боярин, чтоб не поймали. Тебе же лучше! — возразил Никита, останавливаясь, но не садясь, и вопросил в свой черед:

— Сюда-то почто пришел, донесли, поди?

Вельяминов кивнул головою, повторил тише, просительнее:

— Сядь, Никита, поговорить надо с тобой! Али я не ведаю чего...

— Не ведаешь, боярин! — перебил его Никита, все так же не садясь. — И не нать ведать тебе! Мое то дело! Услышишь когда, знай: Никита Федоров совершил. А и тогда молчи!

Вельяминов смотрел на него понурясь, словно бы гнев, молча истаивая в нем, обращался в великую смертную усталость. Совсем уж не по веселому нынешнему празднику. Поглядел в очи бывшему своему старшому просительно и скорбно. Попытался пошутить с кривою усмешкой:

— Баешь, не надо тебе и смерти торопить, сам найдешь, старшой?

— Сам найду! — серьезно отмолвил Никита.

Вельяминов повесил голову, глянул исподлобья:

— Ты меня прости за то сватовство!

— Уже простил, боярин, не то — не было бы меня здесь! — твердо отозвался Никита и, постаравшись смягчить, сколько мог, голос, присовокупил: — Прощай, Василь Василич! Коли што, и ты меня лихом не поминай!

Вышел, едва не забывши накинуть берестяную харю на лицо.

В покой тотчас засунулась весело-готовная рожа стремянного, глазом поведя, извивом брови показав: мол, надобно взять бывшего старшого, дак возьмем немедля!

Вельяминов взгляда не принял, поманил пальцем. В недоуменно вытянувшуюся морду ратника поглядев угрюмо и тяжело, показавши тому перстом на лавку, молча сесть приказал и только одно вымолвил погодя:

— Охолонь.

Святки кончились. Минуло Крещение. Кмети, взостренные Никитою, недоумевали: чего медлит старшой? Но Никита уже не медлил — ждал. Он не имел права отправлять на плаху всю свою ни в чем не виновную дружину.

Один раз не сотворилось по дороге в Красное. Другой — едва не совершило на Воробьевых горах.

Третьего февраля Хвост надумал отстоять заутреню у Богоявления. Никита со своею дружиной был как раз в стороже, и его словно стукнуло что по темени: теперь!

К Богоявлению подъехали в разгар службы, столпились за оградою. Никита глянул — четверо молодцов хвостовских, с коими тот никогда не расставался, были в церкви.

Никита, стянув шапку и перекрестясь, полез сквозь толпу. В жарком от люду каменном нутре церкви было не пропихнуться. Облаком плыл ладанный дым. Гремел хор. Никита, не обращая внимания на недовольные взгляды, тычки и щипки, долез-таки до боярина. Как вызвать его одного на улицу, сочинил на ходу. Единственный сын Алексея Петровича (и, как единственный, забалованный боярином вдосталь) был яровит до жонок, и на этом-то, пробираясь сквозь толпу, и решил сыграть Никита. Пристроясь у локтя боярина — тот недовольно повел глазом, узнал, — Никита шепнул:

— Грех, батюшка, у Василья твово с бабою. Мотьку порезал, кажись! (С кем из дворовых спит

молодой Василий Хвост, знали, разумеется, все ратники.)

Хвост побурел. Вращая глазами — не услыхал ли кто? — воззрился вокруг, а Никита тем часом, прямо и озабоченно глядя на царские врата, подсказывал:

— Не зови никоторого! Замажем. Я с верными ребятами, конь у крыльца.

Хвост, махнувши своим — оставайтесь, мол! — начал протискиваться к выходу. Все остальное совершить было уже полдела.

На паперти Хвоста подхватили под руки Матвей с Видякой. Живо подвели боярского коня. Скоро расталкивая нищих, несколько верхоконных устремились в сторону Кремника.

Хвост было хотел что-то спросить (путь к его терему, на Яузу, лежал совсем в другой стороне), но Никита — ему уже сам боярин почти перестал быть интересен, важнейшее теперь стало: не увидел бы кто! — лишь отмолвил сквозь зубы, не поворачивая головы:

— Надо так!

У лавок, под высокою амбарною стеною, приодержали коней. Догонявшие их ратники Никитиной дружины сгрудились вокруг.

Никита плотно подъехал к боярину и молча обнял его за плечи левой рукою, правою доставая длинный охотничий нож. Улица была пустынна, весь народ в эту пору был у заутрени.

Боярин, еще ничего не понимая, вскипел, вцепился правою дланью в руку Никиты, мысля сбросить ее с плеча и закричать, но Никита, уже обнаживший нож, коротко размахнулся и вонзил его боярину в ожерелие близ горла по самую рукоять.

Алексей Петрович прянул, разом теряя силы, оборотил недоуменный, вытаращенный взор к Никите, прохрипев:

— Изменник!

Он еще силился освободить плечи, бился в руках. И Никита, вытащив нож — кровь сразу хлынула с бульканьем, заливши всю грудь боярину, — не расцепляя зубов, отмолвил: — Не изменник я! С тем и поступил к тебе, штоб убить! — И, рванув тучное тело Хвоста за шиворот к себе, чтоб было погоднее, вновь погрузил нож по самую рукоять, в этот раз достав сердце.

Алексей Петрович захрипел, померк взглядом и стал валиться с коня, которого двое ратных едва удерживали под уздцы в эти мгновения. Не сговариваясь, Никита с Матвеем подхватили боярина со сторон и так, тесно сблизив коней, вымчали на площадь. У снежного сугроба остановили, и уже неживое тело тысяцкого, безвольно качнувшись, кулем обрушило в снег. Конь, которого Видяка огрел плетью, поскакал с протяжным ржанием по направлению к дому боярина. Один из ратных подал Никите, свесясь с коня и зачерпнув, ком снега. Никита обтер нож и руки. Оглядел себя: нет ли капель крови? И тотчас, отбросив кровавый снег и вложив нож в ножны, тронул коня.

Скакали сперва кучно, потом, по знаку Никиты, растягиваясь и отрываясь друг от друга. Велено было заранее кружною дорогою ворочаться в Кремник, в молодечную, и тотчас идти по двое в сторожу — тем, кто нынче очередной. Сам же Никита, на Неглинной оставя свою дружину, поскакал к матери, чтобы там по-годному отмыть кровь и привести себя в порядок. Слов по дороге не было сказано никем никаких. Все молчали, молчал и Никита. Только с Матвеем обменялись они на расставании долгим понимающим взором. Мол: не оставляй ребят поодинке никоторого! И — понимаю, мол, не боись!

На площади перед Кремником остался теперь только труп боярина в дорогой сряде, вокруг которого, медленно съедая снег, расплывалось, темнея, зловещее красное пятно.

Никита еще ничего не чувствовал, пока ехал домой, кроме тупого опустошающего удивления. Все, чем он жил эти долгие месяцы, словно бы перестало существовать. Вспоминать звук ножа, входящего в мясо, и трепет в членах боярина, и его отчаянные усилия вырваться, и даже хриплый крик: «Изменник!» — он начал много спустя. Сейчас же не было ничего, и только грозная необратимость совершившегося пугала и удивляла его все больше и больше.

У матери было заперто. Он грубо и зло, привлекая внимание всей улицы, начал колотить в ворота концом плети, вместо того чтобы самому открыть калитку, войти и, растворив ворота, завести коня. Мать наконец выбежала, засуетилась. Стараясь заглянуть в глаза своему старшему и чего-то робея, повела в дом.

Никита, привязав коня (тут только увидел, что в крови и седло и платье), вынул измаранный охотничий нож, грубо соврав матери:

— Из Красного... Зверь дорогой едва меня не заел... Отбился вот! Соседям не трепи, стыдно...

Мать — поверила, нет ли — тотчас захлопотала, запихалась по дому, достала хлебово из печи, побежала налажать баню, отмывать нож, седло и платье.

Никита тупо ел, сидел, глядя в стол перед собою. После прошел в баню.

Отмякая, начиная трезво прикидывать, что к чему, долго парился. Когда вышел, посвежевший, успокоенный, узрел испуганные, почти безумные глаза матери.

— Ты што? — спросил.

Она отступала от него в ужасе. Вымолвила наконец:

— Соседка прибегала! Тысяцкой убит, Ляксей Петрович! На площади нашли, как от заутрени народ-то повалил... — Мать спотыкалась, отчаянно глядя на Никиту.

— Ну?! — подторопил он.

— Дак... тово... И нашли, значит, на площади... Лежит... брошен, и без дружины, безо всего...

— Убит? — переспросил Никита зло.

— Убит! — подтвердила мать с круглыми от ужаса глазами.

— Собаке собачья смерть! — грубо подытожил Никита, переведя плечьми. — Давно следовало убить!

— Дак, тово... — не находилась матерь. (Раззвонит ноне на всю улицу!)

— Думашь, я его и убил? — уточнил Никита. —

А к тебе платье замывать приехал, да? — Он усмехнул, сощурил глаза: — Говорю тебе, серого повстречал (он уже забыл, что раньше сказал про медведя).

— Ты баял... — начала мать.

Никита мысленно хлопнул себя по лбу:

— Да оговорился я! Топтыгин бы меня самого прикончил! Да тут, коли... Не заметишь, какой и зверь! — докончил он совсем уже непонятно и, чтобы прекратить дальнейшие материны расспросы, полез на печь.

Лег и тотчас заснул, и спал, вздрагивая и постанывая во сне, почти до вечера, а пробудясь и утолив голод, трезво подумал о том, что ежели немедленно, тотчас, не воротит в молодечную, то его станут подозревать уже все. И потому, подтянув пояс, молча оболокся, оседлал коня и, бросив матери еще раз: «Не трепли тово, не то и впрямь меня овиноватят!» — поскакал в Кремник.

Дыхно встретил его на пороге молодечной и значительно поглядел в глаза. В молодечной стоял ад. Кто-то из хвостовских с белыми от ярости глазами подскочил к Никите и с воплем: «А-а! Вота он!» — развернулся для плюхи. Никита молча, вложив всю силу в удар, сбил крикуна с ног и быстро пошел в свой угол, приметя, что уже половина молодечной, почитай, дерется друг с другом. Хвостовских было много больше, и вельяминовским в ину пору плохо бы пришлось, но боярин был убит, и у хвостовских за бестолковою злостью и гневом царила растерянность: как же впредь? И что могло быть впредь, не понимали ни сами хвостовские, ни, чуялось, бояре в Кремнике, ни сам князь.

Город кипел, выбрасываясь орущими до хрипоты толпами, и Никита, почти готовый к тому, что его изобличат, схватят и поволокут на казнь, и не понимающий, почему это все еще не происходит, сообразил, в чем дело, только попав на улицу. В толпах посадских, не обинуясь, вслух называли имя предполагаемого убийцы Хвоста, и имя это было у всех на устах одно — Василий Васильич Вельяминов.

В первый након так ему это показалось дико и несообразно ни с чем, что Никита вздумал было пойти к Ивану Иванычу и повиниться в убийстве. Но тут же он сообразил, что погубит этим всю свою дружину, всех мужиков и не спасет Василь Василича, ибо о Никитиной верной службе Вельяминову в прежние годы было известно всем и каждому, а потому (даже и поверив ему, Никите!) решат, что действовал он все-таки по прямому наказу Василь Василича. Оставалось самое трудное — молчать и не признаваться ни в чем.

Воротясь в молодечную, Никита велел всем своим седлать коней и повел дружину к терему Алексея Петровича засвидетельствовать уважение покойному и разделить горе семьи (последнее Никита, решившись на все, брал на себя).

Он плохо помнил, воротясь в молодечную, все сущее. И как билась раскосмаченная Алексеиха о гроб, и насупленную морду сына, и щупающие глаза хвостовских молодцов — все прошло как-то мимо, в тумане каком-то. И на прямой вопрос взявшего его за грудки в углу палаты хвостовского ключника: почто и куда вызывал он, Никита, боярина из церкви у Богоявления — ответил, нимало не смутясь:

— Был бы я с Алексеем Петровичем вместях, того бы не допустил! Чуешь? И отвали от меня. Без того тошно! — примолвил Никита, сбрасывая со своей груди руку холопа. И тот, обманутый спокойствием Никиты, отступил, померк, веря и не веря, но не смея больше виноватить старшого, который был прежде в такой чести у боярина. Все это прошло как в тумане, и только вечером, укладываясь спать, Никита взаправдашне удивился тому, что все еще не изобличен и не убит.

Меж тем мятеж в городе начался нешуточный, бояре разъезжали в оружии. Сын убитого, Василий Хвост, метался по городу, бил себя в грудь, кричал, что Вельяминовы, все четверо, предатели и убийцы.

Иван Акинфич, которому от всех этих событий стало плохо, лежал и никого у себя не принимал, сказываясь больным, сам же зорко наблюдал за боярской господою, ловя, куда подует ветер. Однако убийством были возмущены ежели не все, то многие: и Афинеевы, и Бяконтовы, и Зерновы, и Семен Михалыч, и Иван Мороз; передавали, что умирающий Андрей Кобыла также решительно не одобряет убийц.

Дума наконец собралась. Бояре (иные — робея) все глядели в ту сторону, где сидели, казалось, заранее обреченные суду, Вельяминовы. Но Василий Васильич решительно встал, не давая еще никому молвить и слова, встал и потребовал — слухов поносных ради — суда над собою, присовокупив, что крестом клянется, яко в убийстве Алексея Петровича невинен есть, и готов выставить послухов, и более того — разрешает опрашивать всех его домашних, послужильцев, холопов и слуг.

Заявление Вельяминова вызвало в думе бурю. Не поверили многие, но Василь Василич учел и это. Приведенные им слухачи подтверждали, что в час убийства все вельяминовские люди были в иных местах, не исключая и самого Василь Василича. В конце концов по просьбе Вельяминовых назначили смесный суд, но и суд не нашел, чем бы можно было уличить Василь Василича. Тогда подозрение пало на его тестя, но опять же не находилось ни доводчиков, ни слухачей вины последнего, что не мешало, однако, всей Москве по-прежнему считать преступником Василь Василича с тестем. Поминали даже легендарное убийство Кучковичами Андрея Боголюбского, и Алексей Петрович становился во всех этих толках почти святым.

Но, однако, начиналось и обратное. Когда прошла первая волна всеобщего ужаса и возмущения (а Хвоста как-никак уже не было в живых!), многие начинали припоминать и то, чем был виноват Хвост перед Москвою — или казалось, что был виноват, — его безлепую борьбу за место тысяцкого, бессилие противустать Ольгерду; даже и преступление его отца, Петра Босоволка, убившего некогда плененного рязанского князя, поставлено было ему в вину. Пошли новые перекоры и пересуды, вновь едва не дошедшие до драк между горожанами.

В самый разгар этой колготы, споров и начинающегося бунта дошла весть о возвращении владыки Алексия.

Русское серебро и на этот раз помогло Алексию. Помогла, кроме того, смутная тревога греков, сообразивших наконец, что подарить русскую митрополию язычнику Ольгерду, который вот-вот к тому же примет католичество, опасно прежде всего для них самих, ибо тогда дни и даже часы независимой константинопольской патриархии будут сочтены. Помогли афонские монахи, помог Григорий Палама, помог и Филофей Коккин, чем мог и сколько мог.

Патриархия в конце концов предложила исполнить на деле Соломонов суд и разорвать живое тело митрополии надвое: Роману достались епархии Волыни и Черной Руси, Алексию — Киев и Владимирское Залесье. Греки считали, что таким образом удовлетворяют обе стороны, и убедить их в том, что погубить половину православных епархий, отдав их под власть Литвы и католических патеров, так же глупо, как и отдать Ольгерду всю митрополию, Алексий уже не смог.

Почти с отчаянием наблюдал он этих людей, которым ближнее и корыстное совершенно застило глаза, не давая видеть далекое и святое. Как-то, потерявши на миг выдержку, Алексий вопросил одного из младших секретарей патриархии:

— А что вы будете делать, когда враги — католики или турки-мусульмане — вновь ворвутся в Константинополь и станут жечь, грабить и ругаться святыням?

— Дальше Августеона они не пройдут! — ответил монашек, глядя на него светлыми глазами. — Святая София защитит себя от вражьего плена!

Алексий поглядел на него почти с отчаянием и сдержал готовый вырваться стон. Греки забыли (он помнил, русич!), как голые непотребные девки плясали на престоле Святой Софии! Грядущее будет еще страшнее. Сама София исчезнет, и вера православная будет низвержена в персть. Но светлоокий монашек так-таки ничего не понимал, да и не пытался понять, ибо для него сегодняшний указ, изданный в секретах патриархии, определял и днешнее и будущее, а для упрямых русичей — вот такой готовый ответ: «Господь защитит!» (А и не защитит, они при этом умывают руки, подобно Пилату.)

«Неужели и мы когда-нибудь постареем настолько, что любой самый смертоубийственный указ будем бестрепетно принимать сами на ся, ссылаясь при этом для оправдания совести своей на какие-то высшие соображения, на верховные, не подвластные нашему разумению силы?

Нет! Господь, давший смертным свободу воли, не должен и не будет спасать нас, ежели мы сами возжаждем собственной гибели! И в том как раз, что мы своими руками сотворим свою гибель, и есть воздаяние за грех!

Что ж, Ольгерд будет захватывать княжество за княжеством, а греки передавать ему епархию за епархией, а католики — как они это уже проделали в Галиче и на Волыни при поляках — уничтожать православные храмы и перекрещивать народ в латинство? Воистину, великий град Константина, ты сам готовишь неотвратимую гибель себе!»

Алексий очень спешил на этот раз, понимая, что без него может на Москве совершиться всякое, но произошедшее превысило даже и его тревожные ожидания. Потеря Ржевы и Брянска — вовне, убийство тысяцкого — внутри. Княжество гибло, и с ним погибало дело Руси!

Он мчался к Москве в метельном вое, загоняя лошадей, мчался так, словно еще мог отвратить и смерть и позор, хотя ничто не можно было вернуть из сотворенного неразумными московитами. Он и сам был уверен, почти уверен, что убийство Хвоста — дело рук Вельяминовых, и положил себе непременно и сурово наказать убийц. В конце концов, в его руках был суд церковный, и суд этот он собирался сделать высшим судом владимирской земли, решая на нем княжеские споры и свары.

По приезде в Москву Алексий, отслуживши торжественную службу в Успенском храме, показался одному только великому князю и имел с ним долгую молвь, после которой Иван Иваныч вышел вовсе раздавленный, со слезами на глазах. Затем Алексий начал вызывать к себе на исповедь и для собеседования великих бояр одного за другим. Вызывал и многих послужильцев великих бояр, постепенно убеждаясь в том, что Василий Вельяминов действительно не виноват, по крайней мере прямо, в убийстве Хвоста, хотя вся Москва указывала именно на него.

Владычное следствие начинало заходить в тупик, когда к Алексию на прием попросился бедный попик с Занеглименья и, допущенный к митрополиту, начал, робея, потея, бегая глазами и заикаясь, косноязычно рассказывать про какую-то посадскую жену, которая застирывала кровавое платье сына, а потом, испуганная, прибежала к нему, благо принадлежала к его приходу, и на исповеди сказывала...

Попик открывал тайну исповеди, чего не имел права делать, и потому запинался, смолкал, краснел, и понять его было очень трудно, и Алексий, все думы коего были об ином (за час до попика он, гневая, отчитывал Василия Хвоста за облыжные обвинения Вельяминовых, а до того разбирал по грамотам споры тверских князей, племянника с дядей, Всеволода с Василием Кашинским, намереваясь вызвать обоих во Владимир на владычный суд), долго не мог взять в толк, зачем и к чему приволокся к нему этот смешной попик, пока наконец тот вполголоса не вымолвил главного: дело совершилось третьего февраля днем, тотчас по убийстве тысяцкого, а сын этой женщины-вдовы служил в дружине Алексея Петровича Хвоста.

Алексий поднял на попика темный взор. Вопросил имя ратника, повторил про себя, запоминая. Потом строго повелел попику забыть обо всем сказанном и никому, ниже и попадье своей, о том не баять ни слова. Отпустив попика, он откинулся к спинке кресла, прикрыл глаза и задумался, отдыхая. Преступник, кажется, был найден. Никита, сын Мишуков, внук

Федоров. Следует не торопить события и прежде уведать все об отце и деде этого ратника, а также о нем самом. Дружинник Хвоста?! Покойный Алексей Петрович, надо отдать ему должное, слуг имел верных! Алексий позвонил в колокольчик, вызывая келейника.

К утру он знал все. И то, что Мишук, отец убийцы, был тот самый ратник, коему он сам помог когда-то стать иноком Богоявленской обители, что дед, которым постоянно гордится Никита, называющий себя Федоровым, был ближним человеком двух князей, что двоюродный дед Никиты был опять же мнихом и келарем Данилова монастыря и что, самое главное, убийца совсем не являлся искони хвостовским ратником, но перешел на службу к Хвосту после того, как последний получил тысяцкое, а допрежь того был старшим в дружине Вельяминова и почти возлюбленником Василь Василича. Узнавши последнее, Алексий поморщился, Василий Вельяминов, выходит, обманывал его и весь боярский синклит с самого начала!

Назавтра, после вечерни, он велел привести, без великой огласки, поименованного ратника к себе, в митрополичий покой.

Никита, уведавши, что его призывают к митрополиту, не то что обрадовался (радоваться мало было чему!), но почуял, что вот он, подошел наконец хоть какой исход его затянувшейся муке. Передавши Матвею дружину (втайне уже и не надеялся он увидеть своих иначе как на Болоте, с помоста, в час казни), он, помедлив и прочтя в глазах Дыхно ответное чувство, крепко обнял друга и троекратно облобызал. Потом легко кивнул случившимся около ратным и пошел, посвистывая сквозь зубы, независимою походкой человека, коего зовут за делом, но уж никак не на расправу или суд.

Лишь на дворе, покинувши молодечную, он остоялся, обведя взглядом оснеженный синий вечер, мохнатые свесы кровель, узорные ворота, резные столбы гульбищ и крылец в сложной перевити трав, птиц и языческих змеев и островатые кровли башен с коваными прапорами на них — всю эту привычную, а сейчас остро бросившуюся в очи рукотворную красоту, глянул в молчаливо замкнутые лица двоих владычных послушников, широких в плечах и могутных, подумав, что такие, заартачься, могут и на руках донести, вздохнул и, свеся голову, твердым шагом двинулся к месту своего судилища.

Они обогнули Успенский храм и поднялись по ступеням владычных хором не с главного, а с бокового хода. Отворились одни и вторые двери. Молчаливые провожатые передали Никиту с рук на руки придверникам, которые повели его по долгому проходу и по лестнице, и еще в двери, и в новые двери опять (и он уже потерял счет лестницам и покоям), и наконец открылись последние двери, и он очутился в небольшой горнице, весь правый угол которой занимала божница, более похожая на иконостас, жарко горящая золотом в свете многочисленных свечей и лампад. Огромные иконные лики строго глянули на Никиту, словно живые. Он огляделся, не сразу увидя того, к кому шел. Алексий сидел в кресле, положив руки на подлокотники, в дорогом облачении и белом клобуке. Темно-внимательный взор митрополита был строг. Никита, оробев и почувствовавши слабость в ногах, опустился на колени и так простоял во все время разговора.

— Сын мой! — сказал после долгого молчания митрополит. — Достоит ли мне выслушать твои глаголы или прежде повестить, с чем и к чему позвал я тебя ныне?

Никита криво улыбнулся, постарался прямо и бестрепетно взглянуть в очи Алексию. Мгновением подумалось было словчить, соврать, но тотчас отверг. Ответил глухо и прямо:

— Мыслю, с тем и вызван к тебе, владыко, яко убийца есмь Алексея Петровича Хвоста!

Алексий удивленно приподнял бровь. Он не ожидал совсем столь прямого и скорого признания.

— Суди, владыко! — продолжал Никита. — Зарезал ево я и замыслил и совершил сам-один, значит!

— Почто, сыне, в таком разе ты сразу не пришел и не повинился в том хотя отцу своему духовному?

— А кто поверил бы мне? — вопросом на вопрос ответил Никита. — Я ведь был у Василь Василича правою рукой, овиноватили все одно ево, а не меня! Кому я такой надобен? — Он снова усмехнул, произнеся последнее. Подумав, добавил: — Дурак был. Не ведал, что молва вся на боярина падет! А опосле, как понял, содеять уж нечего было...

— Как же ты совершил оное? — вопросил Алексий, раздумчиво глядя на Никиту.

— Из церкви вызвал. Наврал, что с сынком беда. Бабу прирезал, мол. Ну, а отъехали — ножом вот сюда! Дважды. И на площади бросил.

— Один? — зорко глянув в глаза Никите, уточнил митрополит.

— Вестимо, не один! А токмо резал — один. И иных выдавать не стану, хошь и под пыткою! — твердо возразил Никита. — Невиновны они!

— Вину, стало, всю на себя хочешь взять и за боярина, и за кметей! — раздумчиво протянул Алексий.

— Отче! — вновь возразил Никита. — Хвоста полгорода ненавидели, что ж, полгорода прикажешь и в железа ковать? Думаешь, иные кмети вельяминовски того не желали?

— Но убил ты!

— Я.

— И теперь како мыслишь о себе?

— Никак не мыслю, отче! — отмолвил Никита, подумав и стараясь изо всех сил сказать полную правду. — Ждал, што возьмут, и казни ждал. Уже и простился...

— С кем? — Алексий поднял тяжелый взор, подумал, скажет: «С боярином», но услышал иное, удивившее его, сказанное потишевшим, беззащитным голосом:

— С зазнобою своею. — Никита помолчал, добавил еще тише: — О ней тоже не прошай, владыко, и она не ведала ничего! Имя ее под пыткою не назову.

— Пытать тебя духовная власть не будет, то дела мирские! — отозвался Алексий, задумчиво глядя на ратника, который уже все решил и заранее распорядил своею смертью, забыв об одном только — о Господе.

Он вдруг понял, почуял, поверил, что ратник не обманывает его. Убил из преданности Вельяминовым; возможно, и любовь тут была какою-то причиной... Но Василию Вельяминову не долагал о том. И теперь предлагает ему, митрополиту, самое простое решение: казнить убийцу, то есть себя самого, похерив все дело. И умрет мужественно, чая, что совершил подвиг. И погубит свою нераскаянную душу, предав ее адскому пламени, а Вельяминов, который, и не убивая, и не зная об убийстве, все-таки убийца есть, останется навсегда в стороне, и — что далее? Далее что?! Станет вослед отцу тысяцким? А в том, что тысяцким теперь станет именно он (ибо никто не захочет ныне посягнуть на место Хвоста), сомнений у Алексия не было.

«Вот ты и доиграл свою короткую песню! — думал Алексий, глядя на стоящего перед ним на коленях невиноватого убийцу. — Вот и окончил свой век! И зазноба твоя, твоя любовь, разве поплачет когда, ежели вспомянет, и ратники, что скакали вместе с тобою... И я, русский митрополит, призванный судить сильных мира сего, непутевой твоей головою спасу от праведного наказания великого боярина московского!

Да, ты виновен, и ты убийца. И тебя казнят на Болоте к вящему удовольствию многих и многих на Москве. Ты совершил преступление, которое готовил весь город. Готовили Вельяминовы, и готовил Алексей Хвост, готовили бояре и сам князь Иван — своим непротивлением злу, — назначивший Хвоста тысяцким, не взвесив могущие совершить от сего беды...»

Наказать убийцу сейчас — значило вовсе погубить дело. И правы будут те, кто решит, что в этом ратнике всего лишь нашли козла отпущения, чтобы снять вину с истинных виновников преступления. Более того, именно так и подумают все! И даже он, Алексий, глядючи сейчас на убийцу, мыслит, что виновен совсем не он и что для дела церкви и веры надобнее всего, чтобы сей решивший погинуть раскаялся и осознал вину свою, а не был казнен нераскаянным, таковым, каков он есть теперь.

Шли минуты молчания. Митрополит думал. Никита стоял на коленях. Такая стояла тишина, что слышно было, как потрескивают, оплывая, свечи. Наконец митрополит пошевелился в кресле, и Никита поднял опущенное чело.

— Ступай! — сказал негромко Алексий. — Я не могу послать тебя на казнь нераскаянным. И простить не волен. Ступай и покайся Господу. В потребный час я сам призову тебя.

Никита встал, шатнулся и мягко рухнул на пол, теряя сознание.

На стук упавшего тела вбежал служка. По молчаливому знаку митрополита обтер Никите виски и ноздри тряпицею, смоченной в уксусе. Шатающегося ратника подняли и увели.

Алексий, проводив его взглядом, вызвал келейника и приказал разузнать, с кем из вельяминовской прислуги (почему-то понял, что именно из вельяминовской) у Никиты Федорова любовная связь или подобие оной, а узнавши, вызвать женщину и вслед за нею Василия Васильича Вельяминова.

К великому удивлению митрополита, женщиной этой оказалась боярыня, молодая вдова, родственница Вельяминовых и племянница Михаила Александровича, тестя Василь Васильича.

Женщина держалась перед Алексием смело. Вздрогнула, узнав, что Никита убийца, но не опустила взора, только побледнела вся, прошептавши: «Грех на мне!» — и на недоуменный взгляд митрополита пояснила:

— Сережки мне подарил на прощании. Золотые. Дедовы. На смерть шел. А я того не сумела понять!

Алексий догадал, что он опять ошибся, греховной связи тут не было. Значит, ратник имел надежду, убивши Хвоста, получить руку вдовы?

Так, отпустив женщину, назначивши ей строгую епитимью, Алексий и вопросил вступившего в покой Вельяминова.

Боярин побледнел как мертвец. «Стало, Никита убил?» — только и вымолвил он и тотчас поник взором, губу закусив. Понял, что ежели подымет глаза, — себя выдаст и Алексий поймет, что знал он, спервоначалу знал, кто убил его недруга. Знал и прежде убийства, ибо понимал, зачем и к чему посетил его Святками Никита Федоров.

— В деянии смертоубийства, — медленно выговорил Алексий, — должно различать орудие, коим убит пострадавший, руку, нанесшую удар, и волю, направившую руку убийцы. Мне ведомо теперь первое и второе, но я хочу узнать третье: кто был вдохновителем злодеяния? Сие мне неведомо до сих пор! — строго примолвил он, глядя в белые от ужаса глаза Василия Вельяминова, готового возопить, признаться или отречься от преступления, совершенного, конечно же, его потаенною волей или хотением.

Алексий смотрел и видел, как меняется лицо боярина, из белого становящееся бурым, как в нем рождается гнев, бессильный перед духовною властью, но тем более ужасный своею неисходною страстью.

— Из начала Москвы... Со святым, благоверным князем Данилою... Два поколения предков моих! Берегли и пасли, ратный труд свой и кровь прилагая! Веси ли ты, Симеоне, яко тот, коего ты праведно изверг и изженил и грамотою, к коей и батюшка мой руку свою приложил, заклинал не допускать в ряды верных!.. Веси ли, яко тот ныне стал тысяцким на Москве! И ныне, и ныне! Отмщенье свое получивший не этою рукою, не этою, Господи! Ныне ли стали мы оттого, наш род, противны всему граду Московскому? Где правда?! Уже разрушено дело Москвы, потеряны волости в стыде и обстоянии... Чьею волею?! Кто преступник, я или он?!

Василий Вельяминов, задохнувшись, смолк. Алексий продолжал глядеть ему в лицо своим строгим и безжалостным взором. Ответил:

— Никто, ниже и самый князь великий, не волен творить злодеяния! Слава предков обязывает к подвигам, но не спасает от праведного суда! Кому много дано, с того много и спросится. Ведаешь сам, Василий, яко по закону остуда падает на весь род отступника, на его детей и внуков. И не токмо он, но и потомки его навсегда изгоняются из местнического счета и теряют родовые места в думе княжой.

— То ведаю! — угрюмо отмолвил Василий. — Но ежели меня надобно судить за любовь ко мне слуг моих верных... Ибо ни делом, ни помышлением...

— Делом — нет! — прервал Вельяминова Алексий. — А о помышлениях своих, Василий, ты должен и будешь говорить с отцом своим духовным! Ступай, но помни, что суд еще будет и над тобою, и над тестем твоим, ибо общий голос Москвы требует сего!

Боярин, шатнувшись, вышел. Алексий понимал, конечно, выказав последнюю угрозу свою, что судить и осудить Вельяминова будет зело непросто, а может быть, и невозможно, и теперь, оставшись один, задумался. Труднота, сугубая труднота заключалась еще и в том, что Вельяминов был по-своему прав. Покойный князь Симеон Иваныч никогда бы не вручил тысяцкое Алексею Петровичу Хвосту. И еще напомнилось константинопольское дело злодея Апокавка, коего Кантакузин пощадил на горе себе и империи.

Самое правильное было в толикой трудноте выждать, однако не прекращая дела совсем, а тем часом заняться важнейшим из того, что предстояло ныне: разрешением спора тверских князей, коих Алексий особою грамотою вызывал на владычный суд, тем паче, что только урядив с Тверью, совокупными силами двух княжеств можно было пытаться воротить Ржеву, захваченную Литвой.

Днями Алексий, получив подтверждающие грамоты из Твери и Кашина, выехал во Владимир.

Никита чувствовал себя как приговоренный к казни, получивший внезапную отсрочку, после которой, и неизвестно когда, его все равно казнят. Его никто не схватывал и не ковал в железа, о нем, казалось, забыли. И потому сами ноги в конце концов повели его туда, куда он не чаял больше зайти никогда в жизни, — в терем Вельяминова.

Никита последние дни совсем перестал следить за тем, что происходит и что говорят в Москве. Дела дружинные переложил на Матвея, сам же безразлично отстаивал свои часы в стороже, а после, ежели не шатался по Кремнику, заваливал на полати спать. Ратные не трогали Никиту, молчаливо и уважительно понимая, в коликой трудноте находится их старшой. (О том, что Никиту вызывал к себе Алексий, конечно, узнали назавтра же, но поскольку из ратников не тягали боле никоторого, стало и без слов понятно, что старшой всех их спас, принявши вину на одни свои плечи.)

Не ведал Никита поэтому, что колгота на Москве восстала пуще прежнего и что Вельяминова с тестем уже открыто обвиняли в убийстве едва не все. Споры и ссоры велись токмо вокруг того, прав или не прав был Вельяминов, разделавшись с супротивником.

Не ведал Никита и другого, что накануне егова быванья к Василь Василичу приехал тесть Михайло Александрович (у которого до сих пор не пропали дедовы родовые села на Рязани, взятые было на себя Олегом, но отданные, по миру, назад) и предложил спешно, пока путь, бежать на Рязань.

— Чего ждать? — толковал тесть. — Грамоты у меня получены с Переславля-Рязанского, примут! Обласкают ищо! Там отсидимся, гляди, и утихнет колгота, а тут и на Болото угодить ныне мочно!

И у Василь Василича, который после Алексиева предупреждения ежеден ждал нятья и суда, разом подкосило волю. Торопливо и суматошно он начал собирать добро, поднял жену, собрал всех сыновей и теперь с ближниками и слугами тайно готовил побег.

Никита, попав в терем, узрел, что все переворошено кверху дном, бегают захлопотанные слуги, и сначала решил было, что кто-то помер (сердце захолонуло: не Василь Василич ли?). Но тотчас, по неосторожно брошенному слову сенной девки, и выяснилось, что суета — отъездная.

В бестолочи сборов никем не остановленный Никита проник до верхних горниц и впервые в жизни отворил двери той светелки, где помещалась она. Натальи Никитишны не было. Он велел, негромко, но строго, кинувшейся встречь девке разыскать госпожу, а сам, присев на край лавки, начал разглядывать с неясным самому себе чувством умиленного удивления вдовий покой со светлым, бухарской голубой зендяни, пологом кровати, с резною прялкою и рукоделием, оставленным у окна на небольшом столике с пузатыми смешными ножками, рассматривал расписные поставцы, окованный морозным железом большой сундук и умилительные здесь, в боярских хоромах, деревенской работы половички на чисто — добела — выскобленном полу. Приметил и кожаный переплет книги (верно, сборника «Житий») на полице среди расписной ордынской глазури, и берестяной туесок, верно, с моченой брусникой, и даже горшок с крышкою, выглядывающий из-под полога кровати, от коего он поскорее, стыдясь, отвел взор. От натопленной изразчатой печи (топили оттуда, со сеней) струило теплом, и на всем лежала нерушимая тишина опрятного женского, почти монашеского одиночества.

Наталья Никитишна возникла в дверях как-то враз, мало не испугав. Вгляделась, кинулась на шею, крепко зажмурясь, произнесши единое только слово: «Жив!» Пробормотала, пока Никита потерянно тискал ее плечи:

— Ни в какую Рязань не еду, останусь с тобой!

Тут только сообразил Никита, что за кутерьма в доме.

Посадила на лавку, огладила кудри молодца, повелела:

— Пожди!

И вот он снова ждет, волнуясь и уже догадывая, что она пошла к самому Василь Василичу и с минуты на минуту в горницу вступит боярин, а там... Дальше воображение вовсе отказывало Никите, и он, изо всех сил стараясь не думать ни о чем, просто сидел и ждал.

Вновь открылась дверь. Никита встал, почуявши, как разом пересохло во рту. Наталья Никитишна вошла с прямою складкою меж бровей, недоступная и прямая. За нею, нагнув голову, вступил в горницу, разом содеяв ее маленькою, Василь Василич. За ним медведем влез Михайло Александрыч. С отдышкою, светлыми старческими глазами нашаривши Никиту, вопросил: «Етот?» И на миг почуялось Никите, что его попросту убьют, вытащат труп и зароют где-нито в саду. («Ну и пусть!» — решил он сам о себе.)

— Пришел за наградою? — укоризненно уронил Василь Василич.

— Каков молодец, а?! — покачал головою, отдуваясь, Михайло, глядя на Никиту не как даже и на человека — на место пустое в тереме, испачканное нехорошим чем.

(«А ты, сволочь, Олегу Лопасню сдал, а теперя и сам бежишь на Рязань!» — жестко про себя подумал Никита, бледнея от горечи и злобы.)

Наталья Никитишна стала у печки, стянув за концы платок на груди, вымолвила глубоким, непохожим голосом:

— Режьте. Не еду в Рязань!

Михайло махнул рукою Никите: выдь, мол, ты лишний!

Никита, зверея, сжимая кулаки, на плохо гнущихся ногах медленно подступил к Михайле. Тот воззрился недоуменно, выдохнул:

— Ты мне кто?

— Никто я тебе! — звонко и страшно крикнул Никита и вырвал, безумно глядя в оплывающее лицо старика, булатный нож. Лязгнула сталь — Вельяминов тоже обнажил оружие.

— А тебе, боярин, — медленно произнес Никита, оборотив лицо к Василь Василичу, — и вовсе в стыд на меня оружие подымать!

Василь Василич глядел, сузив очи, и сабля дрожала в его руке.

И тут Наталья выкрикнула резко, внадрыв:

— Будет! Не смейте! И ты! — и грудью пошла на клинки. И оба мужика отступили и спрятали оружие.

Михайло Лексаныч вдруг сел, вынутым платом отер взмокшее чело и иным уже голосом и словом иным вымолвил:

— Дурень. Я тебе добром. Ты кто будешь-то? Сказывай! Старшой, а роду какого? Ить она мне племянница, чуешь? Сам уступи, ну?

И тут снова заговорила Наталья:

— Вота што, дядя! И ты, Василь Василич, послушайте оба меня! Ведаю я речи, что промеж вас велись в тереме этом! Ведаю, что сами хотели убить Алексея Хвоста. Ведаю! — гордо и бешено выкрикнула она в лицо Вельяминову. — Никита Федоров вас обоих, может, от плахи спас, а вы! Стыд! Мне, бабе, за вас обоих стыдно! Не девка я! Вдова! Воля моя: хочу — в монастырь уйду! Не воспретите мне никоторый! Единого ты верного слугу своего, единого!.. Он ведь на смерть, на плаху шел, и теперича невесть ищо, казнят али нет! Ему, может, и веку уже не осталось, а вы... Звери! — выдохнула она, закрывши лицо ладонями, и зарыдала.

Вельяминов стоял, как бык, наклонивши шею, не ведая, что вершить. Михайло молча развел руками: мол, не знаю сам, как тут и быть теперя!

Наконец Василь Василич, решившись, поднял голову:

— Грех мой! — сказал. — Выдь на час, Михайло Лексаныч, дай самому с кметем моим перемолвить!

И Михайло с отдышкою, молча полез вон из горницы. На походе остановился прямь Натальи:

— У-у-у! — сказал. — Коза-дереза! — Покрутил головою, хмыкнул и вышел вон.

— Василь Василич! — сказал Никита просто и устало. — Дед мой был возлюбленником князя Ивана Дмитрича Переславского. Ведаешь, что и грамоту на Переслав московскому князю он отвозил. Был и на ратях многих, и самим князем Данилою почтен. И прадед наш Михалко был ратным мужем, из Великого Нова Города самого. Дядя — келарем в Даниловском монастыре. Отец у Богоявленья самим Алексием принят, а до того век был старшим и Кремник рубил. Роду мы не худого! И чести своей не уступим никому! Не для-ради Натальи Никитишны поднял я руку на Хвоста и не для-ради награды боярской голову свою обрек плахе и топору! В одном ты прав, боярин! Со мною днесь Наталье Никитишне зазорно судьбу свою вязать, да и очень возможет она, — договорил он, горько усмехаясь, — опять остаться вдовою, теперь уже простого ратника Никиты Федорова... Прощай, боярин!

Он сделал движение уйти (и не ведал: то ли просто уйдет, то ли уйдет и утопится). Наталья метнулась было к нему раненой лебедью. Но Василь Василич негромко и властно окликнул Никиту:

— Постой! У Натальи Никитишны, — сказал, — своя деревня есть под Коломною. Я тебе жалую деревню в Селецкой волости, рядом с митрополичьими угодьями. Съездишь, коли мочно будет тебе, поглядишь. Мельницу надо поправить тамо, а земля не худа. С данями, с выходом, со всем! Счас и грамоту подпишу! Хватит того вам обоим на безбедное житие! Нынче в ночь уезжаю я, Федоров, проще сказать — бегу, а сейчас станьте на колена передо мною оба!

Наталья сама взяла Никиту за руку, дернула вниз. Никита опустился на колени, зажмурился. Василь Василич снял с полки икону, обнес трижды головы молодых, велел приложиться к образу.

Когда молодые, держась за руки, поднялись с колен, Василь Василич, отводя глаза и супясь, выговорил:

— Прости, Никита, коли обижал в чем!

— Прости и ты, Василь Василич, што из-за меня тебе ныне путь невольный! — И в пояс, опустив праву руку до земли, поклонил боярину.

Через час в домовой церкви вельяминовской состоялось венчание. Василь Васильичев поп надел им венцы, обвел вокруг аналоя. В крохотной домовой церковке только и были Василь Василич с женою да Михайло Лексаныч, все еще не возмогший взять в толк, как это все произошло.

В калите у Никиты лежала дарственная грамота на деревню и кожаный мешочек с серебром — свадебное подаренье молодым от Василь Василича. Когда уже все кончилось, Михайло Лексаныч вдруг прослезился, обнял Наталью, неловко обнял и поцеловал Никиту, сунув ему в руку тяжелый золотой перстень.

— Здесь не оставайся ни часу, ни дня! — присовокупил Василь Василич. — К себе вести ее тоже не советую. Никифора Зюзю знаешь? Он вас свезет на Подол, есть у меня там изба, тоже дарю! Тамо переночуйте, тамо и живите пока!

Скоро тяжелогруженые сани с приданым Натальи Никитичны — с окованным сундуком, узлами и укладками с посудою, рухлядью, тремя книгами, плетеным кружевом и шитьем — выехали с вельяминовского двора и, колыхаясь на подтаявшем разъезженном снегу, устремили в сторону Коломенских ворот Кремника. Примостившись на самом краешке саней, сидели Наталья Никитишна и девка. Никита шел сзади, а Зюзя — сбоку, понукая коня.

Из верхнего окошка смотрел им вслед великий боярин Василий Васильич Вельяминов, сын потомственного тысяцкого Москвы, один из первых людей в городе, головою Никиты выкупавший себе ослабу от суда и нынешней ночью собравшийся бежать, бросив терем, и села, и волости свои, к бывшему ворогу, а теперь спасителю — князю Олегу Иванычу, на Рязань.

Съезд тверских князей во Владимире прошел достойно. Во всех соборах звонили колокола, Алексий служил литургию в лучшем своем облачении. Оба князя, Всеволод и Василий Кашинский, потишели, раздавленные церковным торжественным благолепием. В суде, на владычном дворе, в обновленных Алексием хоромах, где половину мест занимали церковные иерархи и присутствовали четыре епископа, в том числе и тверской владыка Федор, князья тоже поопасились подымать безлепую руготню. Всеволод достаточно спокойно, уповая на справедливость митрополичьего решения, изложил свои обиды. Василий почванился, задирая бороду, но под мягким натиском Алексия уступил, согласясь воротить Всеволоду тверскую треть.

Алексий содеял так, чтобы Василий Кашинский не почуял себя обделенным. Всеволода уговорили уступить и в одном, и в другом, и в третьем. Василий был надобен Москве как союзник в борьбе с Литвой и как постоянный противник мужающих Александровичей. В конце концов все удалось разрешить, всех уговорить и со всеми поладить, вновь сведя в любовь кашинского князя с Иваном Иванычем.

По талой раскисающей весенней дороге Алексий возвращался в Москву.

Был резкий, прозрачный и терпкий воздух, когда видна каждая веточка на придорожном ясене, обсаженном воркующим вороньем, а вокруг стогов сена жухлый снег усыпан протаявшими заячьими следами и оплывшие, словно обведенные по краю, подтаявшие шапки снега вот-вот готовы сползти с крутых кровель, чтобы вдрызг, с тяжелым уханьем, разлететься россыпью сквозистых матовых градин; и запахи были уже весенние: оттаивающего навоза, тальника, дыма, смешанного с влажною истомою близкой весны.

В Переяславле владычный гонец известил его о бегстве Василия Вельяминова с тестем.

Алексий, усталый с пути, наглотавшийся влажного весеннего воздуха, скоро переоболокся и забрался в постель. Лежучи, отдыхая, успокоенно подумал, что эдак-то и к лучшему! Утихнут пересуды, престанут наветы и ябеды. Уже засыпая, подумал, что для полного утишения Москвы следует удалить из нее и Василия Алексеича Хвостова тоже. Хотя бы, хотя бы... И сюда, в Переславль! Под мой владычный догляд. И с тем уснул.

По приезде выяснилось, что угадал правильно. Хвостовский отпрыск со своими ябедами порядком-таки надоел всем и каждому на Москве, и тотчас по отбытии Вельяминова с тестем начались речи о том, что от Василия Хвостова избавиться надо тоже.

По совету Алексия хвостовский барчук получил назначение городовым воеводою в Переславль и отбыл вон из Москвы, а двор его и подмосковные села Алексея Петровича были, по настоянию митрополита, взяты на князя.

Иван Иваныч, как все слабые люди, не слишком горевал о гибели Алексея Хвоста. При жизни боярина находясь в его полной воле, он теперь, освободясь от этой воли (и попавши целиком в волю Алексия), был едва ли не рад. И только чувство долга да еще настойчивые вопрошания своих бояр заставили его поднять вопрос о необходимом возмездии за совершенное преступление.

Сидели в малой думной палате — невысоком рубленом покое с тесаными стенами, с небольшими оконцами, забранными слюдой в рисунчатых переплетах. Князь и митрополит на резных престолах — четвероугольных креслицах с высоками спинками, украшенных росписью, рыбьим зубом и финифтью; избранные бояре — по лавкам. Тут были двое Бяконтовых, Феофан и Матвей, Семен Михалыч, Дмитрий Алексаныч Зерно, Дмитрий Васильич Афинеев и Андрей Иваныч Акинфов — всего шесть человек. Вельяминовых не было, и не было многих иных: или слишком молодых годами, или слишком пристрастных к одной из враждующих сторон.

Окончательное удаление Хвостова одобрили все. Относительно того, что делать с беглецами, мнения разделились, и, посудив-порядив, шестеро избранных бояр (из коих двое были родными братьями митрополита) решили так, как намеривал Алексий: отложить дело, не говоря ни «да», ни «нет», не призывая беглецов воротиться, как предложил было Семен Михалыч, и не требуя их выдачи у Олега Рязанского, как хотели постановить Афинеев с Акинфовым.

— Совершено убийство тысяцкого! — горячась, воскликнул Дмитрий Василич. — Сего искони не бывало на Москве! А мы удаляем, тишины ради, сына убитого, словно бы овиноватив, и не требуем наказанья виновных!

— Можем ли мы считать виновными Василия Вельяминова с тестем? — вопросил, внимательно поглядев на Афинеева, осторожный Дмитрий Зерно. — Овиноватить великих бояринов просто! Труднее будет снять бесчестье с невиновных!

— Отъехали дак! — подал голос Андрей Акинфов. — Чего ж больши!

— С такой колготы, Андрей, — возразил Семен Михалыч, сдвигая брови, — да с етаких покоров и невиновный сбежит, и ты бы с батюшкою не выдержали тово! — Он укоризненно покачал головою, примолвил: — Розыск творили по слову самого Василья и вины не нашли! А не пойман — не вор!

Иван Иваныч взглядывал то на бояр, то с надеждою на митрополита. Бяконтовы, Феофан с Матвеем, молчали, тоже сожидая, что вымолвит их старший брат.

— Кто-то же убил Хвоста! — выкрикнул, гневая, Андрей Акинфов. — Кому ищо нать было?!

Алексий глядел на спорщиков, слегка склонив голову, ощущая — то ли от весенней поры, то ли от забот многих — груз лет и смутную тревогу, пробуждаемую в нем всегда немощью плоти: слишком многое требовалось ему совершить еще на земле, чтобы с сознанием исполненного долга отойти к Господу! Опустил взор, поднял его, вновь оглядел невеликое собрание вятших и выговорил наконец просто и устало:

— Убийца Хвоста мне известен и живет теперь на Москве.

Сгрузивши имущество у пустой вельяминовской избы, Никита с Зюзею занесли в сени сундук и узлы, после чего Зюзя отправился по просьбе Никиты покупать овес и сено, а Никита — привести коня и забрать кое-какую свою справу из молодечной и из дому.

Когда Никита вернулся, уже дотапливалась печь в избе, остатний дым уходил в дымник. Пол блестел и просыхал, отмытый до блеска, а Наталья Никитишна с девкой вешали полог над кроватью, тот самый, голубой, раскладывали одежду и утварь.

— В баню поди! — весело прокричала ему, глянув сияющими глазами, Наталья Никитишна. Она была с засученными рукавами, в переднике — такою Никита никогда не видел и представить себе не мог свою княжну.

Крохотная ветхая банька была уже вытоплена, и Никита, потыкавшись в ней и посетовав на щели в полу и в углах (беспременно затыкать нать!), все же и выпариться сумел, и голову вымыть щелоком. И тут-то Наталья, приоткрыв дверь, просунулась к нему в баню:

— Давай вихотку!

Никита — глаз ему было не разлепить — застыдился было своей наготы, но Наталья живо нагнула ему голову над лоханью, ловко и быстро натерла спину, шлепнула по мокрому, прокричав озорно: «Домывайся сам!» — хлопнула дверью, а он долго еще приходил в себя, умеряя жар в крови и уже безразлично елозя вихоткою...

Ужинали впятером. Зюзя с Матвеем Дыхно (боле никого из своих не стал звать Никита) выпили пива, поздравствовали молодых и уже в полных потемках, взвалясь на сани, отъехали с прощальными окликами, хрустом и чавканьем в синюю тьму засыпающего Подола.

Смолкали звонкие молотки медников, буханье кувалд и веселая деревянная россыпь колотушек древоделей. Подол засыпал. Девку положили в сенях на соломенном ложе. Никита, у которого толчками, глухо ударяло сердце, вышел в серо-синюю весеннюю ночь. «Ну что ж, коли и казнят!» — подумалось скользом и совсем не задело сознания. Он пролез в избу, по дороге задвинув щеколду.

Наталья сидела на краю постели, уже в рубахе одной, без повойника, расплетая косы, и молча, жадно глядела на него, вздрагивая губами. По лицу у нее от света единственной свечи бродили тени, и не понять было, не то улыбается она, не то заплачет вот-вот. Никита стоял и смотрел, вдруг и совсем оробев. Она встала, легонько пихнула его в грудь: «Сядь, тово!» Наклонилась, стащила сапог с одной ноги, потом с другой. Он тут только покаял, что забыл положить в сапоги хоть пару серебряных колец. Выпрямилась и стояла перед ним, пока снимал платье и порты. Потом дунула на свечу и сама охватила Никиту руками за шею. Он понес ее, неловко уронил в постель. Вершил мужское дело свое, еще ничего не понимая, не чувствуя толком. Застонал после со стыда. Она гладила его по волосам, шептала с нежным бережением:

— Не сетуй, ладо! Родной мой! Все у нас будет хорошо! Думашь, мне легко... Тоже сколь ночей... Все была одна да одна... Верно ведь, в монастырь собиралась! И с тобою — долго не верила, что взаболь, а не так, как у иных...

Он уснул и к утру только, почти не разжимая глаз, вновь привлек жену к себе, доставив наконец и ей радость супружеской близости. После долго ласкал, дивясь и познавая непривычное тело любимой, которую так долго хотел и ждал, что и верить перестал, что она — такая же, как и все, из плоти и крови, живая и земная, хоть и боярского роду. Женка, жена, супруга, своя родимая. И уже — навек.

Они пролежали, тихо беседуя, до света. Девка уже встала и настойчиво брякала посудою. Наталья легко вскочила, оправляя смятую рубаху. Накинувши летник и сунув ноги в чоботы, пробежала в баньку, вернулась свежая, умытая, с уже заплетенными косами и тотчас принялась хозяйничать, приговаривая, что надобно содеять и то, и это, и третье...

— И к матери твоей надобно съездить нам обоим! А потом в деревню дареную — посельскому грамоту показать и самим... Може, и переедем туда зараз!

Никита фыркнул, кривая усмешка исказила лицо:

— Придет ли ищо и пожить-то?!

— Ты што?! — схватила его за уши, поворотя к себе и крепко сжимая щеки ладонями, глядя круглыми распахнутыми глазами, выговорила: — И думать не смей! Да я тебя никому теперь не отдам! До великого князя дойду, в ноги брошусь!

Никита обнял ее, не стыдясь девки, утопил лицо, глаза, бороду в мягком, губами добрался до шеи. Целовал долго-долго, стараясь не всхлипнуть, не возрыдать. Что она могла, и что мог даже и сам Иван Иваныч во всей этой жестокой кутерьме!

— Кто же он? — вопросил Андрей Акинфов.

— Кто убийца? Кто?! — раздались голоса прочих бояр. И князь Иван Иваныч, бледнея, тоже оборотил лик к Алексию, заранее набираясь духу, чтобы вынести смертный приговор.

Алексий глядел на них на всех и думал, думал о том, как обрадуют они все: и Андрей, и Дмитрий Афинеев, и Зерно, и даже его родные братья вздохнут свободно, разве один Семен Михалыч, переживший с ним, Алексием, и Царьград, и гибельную бурю на море, сожалительно воздохнет о молодце, и как станет счастлив Иван Иваныч, что все так хорошо кончилось, не задевши никоторого из бояр великих...

— Убил Алексея Петровича простой ратник, Никита именем, сын Мишуков, внук Федоров. Сам убил, никем не наущаем!

Бояре глядели недоуменно, переглядывались, и лишь один Семен Михалыч как будто догадывал, о ком идет речь, но и то не мог припомнить ясно, не представлял, не видел зримо образа преступника.

Алексий помолчал еще, отвердел ликом. Строгим темным взором обвел собрание вятших господ, хозяев Москвы. Повторил:

— Убил сам! Но дело сие, нами исследованное, оказалось зело не простым. — Он еще помолчал и докончил сурово и твердо: — А посему, полагаю, не подлежит суду мирскому, но токмо духовному. Властью, данной мне Господом, беру преступника на себя, в дом церковный, в услужение митрополичьему дому из рода в год. От вас, господа, сожидаю я согласия или протеста решению своему.

Первым благодарно склонил голову Семен Михалыч. Затем — осторожный Дмитрий Зерно. Недоуменно глянув на старшего брата и пошептавши между собой, Феофан с Матвеем тоже согласно склонили головы. Дела об убийствах принадлежали княжому суду, но Иван Иваныч торопливо и обрадованно закивал — его устраивало всякое решение, слагающее с его плеч груз крови и власти. Оставшиеся в явном меньшинстве Афинеев с Андреем Акинфовым, помедлив, с неохотою согласились тоже.

Так ничего еще не подозревавшему Никите Федорову была подарена жизнь, а с нею — потомственная, из роду в род, служба митрополичьему дому. Деревня, которую подарил ему Вельяминов, становилась теперь митрополичьей собственностью и уже от митрополита была вновь уступлена Никите на правах потомственного держания в уплату за службу. Так что и строить дом, и заводить хозяйство на новом месте Никите Федорову все же пришлось.

Летом уладились все княжеские дела. И только лишь с тверским владыкою Федором Алексий так и не урядил.

В июле пришло послание из Сарая. Заболевшая Тайдула вызывала своего молитвенника, «главного русского попа», чтобы он излечил ее от глазной болезни. Поездка была и нужная, и срочная, тем паче, что уже дошли слухи о грозных переменах власти в Сарае. Восемнадцатого августа Алексий отбыл в Орду.

V
ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ

Джанибек откинулся на подушках, протянул руку к серебряному подносу с сизыми кистями винограда, отламывая, клал в рот терпкие сладкие ягоды. В Тебризе все было сладким, приторно-сладким: музыка, танцы едва одетых в прозрачный индийский муслин девушек, розовое сладкое вино. Только эта разрисованная травами ослепительная на солнце глазурь не кажется сладкой. Мечети Тебриза, и верно, были величественны — и соборная Масджид-и-Джами, вся в роскоши резного мрамора, и Устад-Шагирд, и мечеть Таджад-Дина Алишаха, возведенные совсем недавно, так же как и вместительные караван-сараи, бани и крытые круглыми куполами полутемные торговые ряды.

Джанибек смотрел, щурясь, на восьмигранники, строгий и прихотливый узор которых врачевал ум, приводя его в состояние тишины, и медленно ел виноград, запивая розовым ширазским вином. Он ждал.

Мелик Ашраф был плохой полководец. Он не задержал его войско на Куре или в теснинах Кавказа, дал проникнуть в Азарбайджан и встретил уже тут, под Тебризом, у города-сада Уджана. Встретил — и был наголову разбит. Часу не выстояли его воины в сече. Уджан был разграблен, вытоптаны прихотливые луга, изломаны деревья и кусты, от золотой палатки и трона не осталось ничего. Джанибек дозволил соратникам грабить ханский дворец Ашрафа. Теперь воинам роздано золото из сокровищ, награбленных недальновидным тираном, и воспрещено грабить жителей — пусть покупают продовольствие и корм для лошадей у тебризцев за деньги. Это поможет хоть что-то вернуть ограбленному Ашрафом населению.

Мелик Ашраф бежал в Хой, и за ним послана погоня.

Джанибека уже поздравляли улемы, кади сказал с минбара в мечети цветистую проповедь, а Бердибек, его сын и наследник, коего он мыслит оставить управлять Арраном и Азербайджаном, тратит себя на пиры и пробует всех подряд красавиц захваченного гарема.

Ему, Джанибеку, еще нет пятидесяти лет, а плоть уже не требует тех радостей, которые приносят женщины. Здесь ему приводили юных, словно едва распустившийся бутон, розовокожих танцовщиц с глазами испуганных газелей, привели черную негритянку с огромными выпяченными губами в переднике из серебра и открытыми твердыми, словно вырезанными из черного дерева, грудями — и даже она не развлекла его, хотя и танцевала перед ним бесстыдно, и

отдавалась ему с жадною пылкостью молодой изощренной самки...

Солнце плавилось в зените, ощутимо тяжелые горячие золотые копья его вонзались в землю, в камни и глину, заставляя слепительно, до боли в глазах, сверкать раскаленные изразцы, клонили долу пыльную, пожухлую от жары листву... Пыль!

Кажется, они все — эмиры и ханы Тебриза — проводили осень в горах...

Часу не стояли его ничтожные воины! И это после Абу-Саида, остановившего все войско Узбека с двумя тысячами всадников!

Смутную тревогу почуял он вдруг, пошевелясь на своем ложе, помыслив об этом удивительно легком разгроме Ашрафа. Хорошо ли, что при потомках великого Хулагу Персия столь и вдруг ослабела? Где сила монголов? Прийти с ратью мог и иной, а не только он, Джанибек! Впрочем, Мелик Ашраф — захватчик, сместивший законного хана, собака, притворившаяся волком...

Джанибек вздохнул и принялся за новую кисть. Вино уже делало свое дело, затуманивая мозг и окутывая все розовым прихотливым туманом... Молодым он, может быть, остался бы и сам навсегда в Тебризе! Но пусть Бердибек заменит отца. Пора юноше становиться мужем, а гуляке — правителем страны!

Джанибек прикрывает глаза. Вновь подошли музыканты, с поклонами уселись за краем ковра, на циновках. Тоненько запела флейта. Юноша начал вторить ей, закатывая глаза и играя голосом. Джанибек слушал стихи на непонятном языке, раз или два просил перевести ему, что поют. Оказалось, пели о любви и разлуке:

Тоска и боль... О, дни свиданья! Остались мне от этих дней
Скользящий ветерок в ладонях и прах на голове моей.

Джанибек слушал. Солнце смещалось над головою, и стены начинали отбрасывать тень. Сегодня ему должна прийти весть из Хоя. Обязательно сегодня. И ежели не придет — он послезавтра сам выступает в Хой!

Он не верил, что Мелик Ашраф, потеряв войско и сокровища, станет сопротивляться ему. Опасаться следовало нежданных союзников Ашрафа.

Нукеры уже дважды сменялись, и теперь по краям ковра стояли иные, почти незнакомые ему и, возможно, набранные Бердибеком. Подходило время молитвы, и Джанибек безразлично, думая совсем о другом, омыл лицо и руки, прополоскал рот и сотворил намаз.

Наконец послышался топот многочисленного конского отряда. Он дал знак уйти музыкантам и танцовщицам, принял пристойный вид. Усилием воли прогнал хмель.

Воины входили в сад запыленные, усталые. Ото всех пахло конским потом, и Джанибека потянуло домой, в степь. Он хотел спросить вступивших в сад нойонов, поймали или нет беглеца. Но спрашивать не пришлось. На веревке втащили и бросили к его ногам жирного человека в порванном и пропыленном насквозь дорогом платье, со связанными назади руками. Джанибек с легкою гадливостью разглядывал толстое лицо с грязными дорожками от стекавшего пота, выпученные бегающие глаза. И от этого человека, столь похожего на мясника, стонала вся Персия?

— Встань перед повелителем вселенной! — напыщенно произнес начальник стражи, дергая за веревку.

Мелик Ашраф оглянулся затравленным зверем. При виде винограда и кувшина с вином у него заходил кадык. «Пить!» — хрипло потребовал он.

Джанибек чуть кивнул разрешающе головою, и нукер, подняв плеть, изо всей силы опустил ее на спину Ашрафа.

— Встань, собака! — повторил старший над стражею.

Бегающие глаза Ашрафа утвердились наконец на лице Джанибека, гладком, монгольском, казалось, вне возраста и времени, слегка улыбающемся лице. Плеть поднялась снова, змеисто оплетя плечи узника. Ашраф рыкнул, как забиваемый бык, и вскочил на ноги.

— Кланяйся!

Третьего удара плети уже не понадобилось.

И этот человек разорял и убивал тысячи и тысячи граждан своей страны только для того, чтобы присваивать себе их имущество!

— Пить? — переспросил Джанибек.

Струисто расталкивая столпившихся воинов, подошел запоздавший Бердибек. Поглядел хищно, раздув ноздри.

— Поймали Ашрафа?

Джанибек ответил сыну легким кивком головы. Задумчиво глядя на потного, грязного, вонючего пленника, оторвал и положил в рот виноградину.

— Угощают и чествуют гостя! — сказал.

И Ашраф, судорожно проглотив густую слюну, опустил голову.

— Я мог бы тебе предложить выпить блюдо золотых монет! Или, расплавив золото, влить его тебе в глотку, а, Ашраф? Лучшего употребления для награбленных сокровищ ты сам все равно не сумел бы придумать!

Толпа огустела. Подошли старейшие улемы, явился сам кади и главы города. Все они смотрели на пленного Ашрафа с жадным и опасливым удивлением.

Джанибек медленно отщипывал виноградины одну за другой. Оглядел своих нойонов, готовно взиравших на повелителя. Произнес наконец:

— Он недостоин почетной смерти без пролития крови, которую даруют благородным мужам. Не заслужил ее!

Нойоны склонили головы. Тебризцы гадали, что будет, кутая руки в рукава халатов и ожидая решения повелителя Золотой Орды.

— Стащите его к канаве и перережьте горло! — приказал Джанибек.

Нукер сильно дернул сзади за веревку. Ашраф выкатил кровавые бессмысленные белки, прорычал

что-то неразборчиво, раздирая черный пересохший рот. Его, упирающегося, поволокли со двора, как барана.

Скоро визг и хрип послышались там, за стеной, и палач внес отрезанную голову Ашрафа, с которой еще капали густые темные капли, расплющиваясь о плиты двора в маленькие темно-красные солнца. Показал с поклоном Джанибеку, потом, обернув лицом, всей толпе воинов и придворных, заполонивших двор. Ропот, единый вздох прошел по толпе. Джанибек слегка склонил чело и положил в рот еще одну виноградину.

Голову унесли. Что-то бормотали, кланяясь в пояс, улемы. Бердибек пошел следом за головой, верно, еще не насытясь жестоким зрелищем.

Джанибек не слушал улемов, задумчиво глядя на тоненькую кровяную дорожку, темнеющую прямо на глазах. Явился раб с кувшином воды и шваброю, которой начал, поливая водой, чистить камни двора.

В Сарай на этот раз Алексий отправился на корабле. Путешествие водою сулило телу покой, потребный для молитвенного и иного сосредоточения.

Что надобно, дабы излечить человека от неизвестной тебе болезни? Излечить болящего, коему не сумели помочь многоумные арабские врачи? Излечить царицу, от коей при успехе или неуспехе лечения зависит твоя судьба и — более того — судьба русской церкви, а значит, судьба всей Руси?

Господь требует от верных своих не токмо веры, но и дел. И дел — прежде всего. (Об этом — половина евангельских притчей!) Человек должен до предела напрячь усилия свои и при этом еще и верить.

Ленивые (или те, кто принадлежит к угасающей нации) полагаются обычно на нехитрое правило: «Бог даст!» (И ежели не «дает» — начинают сомневаться в боге.) Алексий был человеком рассветной поры. Он деятельно собирал лекарства. Продумывал заранее, как приуготовить мнение народное. Вспоминал греческие схолии, прослушанные в Цареграде. Всего этого требовал от него Господь, велящий неукосневать в трудах.

Было чудо. Сама собою загорелась свеча в церкви. Свечу эту он, Алексий, раздробив, раздал народу, и о том повестили по всем храмам Москвы. Были иные приготовления, о коих столь широко не разглашалось и не записывалось во владычном летописании. Лучшие целители русских монастырей, которым не раз приходилось лечить трахому и нервную слепоту, помогали Алексию. Пригодилась и греческая наука, учения Галена и Гиппократа, великих мужей древности, с трудами коих он знакомился в Константинополе.

Перед самым отъездом пришел монашек из-под Боровска, стараниями Алексия тихо присоединяемого к московскому уделу, с мазью, полученной им из каких-то особых лишайников и мхов. И хотя секрет мази был перенят от колдуна-язычника, Алексий, помолясь, принял и это средствие, сверхчувственно догадав о спасительной силе незнакомой целебной смеси.

Но и лекарство еще не все и порою даже не главное в излечении болезни. Главное — это сам врач, его состояние, его воля, его умение ободрить больного и велеть тому заставить выздороветь. И для ниспослания этой-то, данной свыше, силы врачевания, проще сказать — для укрепления духа своего, Алексий молился в продолжение всего долгого пути до Сарая.

Проходили рыжие осенние берега, а он молился. Ставили косой парус, ловя ветер, или опускали в воду весла — митрополит был нем и недвижен, он беседовал с Господом. И текла река, и шли дни, приближая час его славы или позора...

«Дай, Господи! Не мне, не мне! Но земле моей и языку русскому!»

В столице Золотой Орды Алексия встречают. Гонец, загодя посланный посуху, предупредил уже царицу Тайдулу и обслугу русского подворья.

Чалят паузок, выдвигают шаткие мостки так, чтобы можно было прямо с корабля соступить на сходни, сводят под руки. Весь берег в народе: тут и знатные татары, посланные царицей, и толпа купцов, ремесленников, рабов в рванине и опорках. И всем надобно хотя бы благословение митрополита, посланное хоть издали. И он благословляет, и крестит, и наконец-то соступает на берег и идет к возку, поставленному на колеса, оглядывая толпу и берег и недоумевая: отчего так тревожно-неуверенны встречающие его и что и с кем произошло? Жива ли царица? Воротился ли хан из Персии? Пахнет жаркою пылью, овцами, рыбой, потом и грязью собравшейся толпы.

Только дома, в горницах русского подворья, Алексий узнает местные новости. Царица жива и ждет его к себе. Хан воротился, но сейчас находится за городом, он болен, и к нему никого не пускают. За Бердибеком послано. Шепотом сообщают ему и причину болезни хана — безумие.

Станята поздно вечером, побегавши по Сараю и все разузнав, уточняет:

— На пути от некоего призрака занемог и сбесися! А теперь улемы держат хана, яко плененна, и даже тебе, владыко, показывать не хотят. Може, и лечить не думают, бог весть! За Бердибеком, вишь, послано... Как бы замятни какой не стало на нашу с тобою голову, владыко!

Два дня его не допускали даже к Тайдуле, но наконец болящая царица, видимо, сумела настоять на своем, и Алексий с четырьмя спутниками, среди которых был и Станята, отправился во дворец Тайдулы.

Пестрый, весь в цветных изразцах, невысокий и раскидистый дворец старшей жены Джанибека стоял среди роз и плодовых деревьев, высаженных рядами. Сама царица помещалась в саду, в белой юрте, среди своих служанок и рабынь.

Ворота дворца охраняла усиленная стража, а в приемной зале Алексия встретили несколько густобородых шейхов, один из которых, назвавшись имамом, потребовал передать ему лекарство для царицы.

Алексий чуть улыбнулся и ответил через переводчика, что главным лекарством его является христианская молитва, которую должен произнести именно он, Алексий, и знак креста. Улемы начали взволнованно и злобно препираться друг с другом, но тут в сводчатую палату быстрыми шагами вошел вооруженный сотник царицы с двумя нукерами, и улемы с ворчанием расступились, как стая голодных псов.

Вышли в сад, одуряюще благоухающий, полный цветов. Поздние сорта роз роняли шафранные лепестки на дорожки. Щебетали попугаи — словно бы лилась и лилась вода. Русичей подвели к красным, украшенным резьбою и покрытым плотным китайским лаком дверям большой и широкой юрты из снежно-белого войлока. Алексий думал, что тут его испытания окончатся, но в юрте, разгороженной пополам, с тронным возвышением в передней части, скупо освещенной сейчас светом из круглого отверстия в крыше, к нему двинулся, преграждая дорогу, длиннобородый врач-таджик и объявил опять, что может дозволить врачевать царицу только в своем присутствии, при этом он должен проверять каждое лекарство урусута, так как отвечает за жизнь и здоровье госпожи. Сотник стоял в нерешительности, и они бы еще долго препирались, но, заслышавши голос Алексия, Тайдула сама позвала русского попа к себе.

Приветствовав царицу и мимолетно ужаснувшись ее лицу с распухшими, изъязвленными веками, почти сомкнутыми и покрытыми гноем, Алексий твердо потребовал удаления врача и вообще всех, кто может помешать лечению.

— Я не присутствовал здесь, царица, когда твой врач лечил тебя, и не проверял его лекарств. После того, как он не сумел помочь тебе и ты послала за мною, пусть и он уйдет и не мешает мне лечить тебя, ибо первое условие врачевания — доверие к лекарю!

Тайдула покивала коротко, велела что-то сотнику, и врач-таджик исчез так же, как и густобородые улемы.

В задней части юрты было тесно от узорных сундуков, громоздящихся друг на друге, пестрых подушек, одеял, узорных кошм, сосудов, курильниц и светильников, видимо, зажигаемых к вечеру. Рабыни с завешанными черным муслином ртами суетились, позвякивая браслетами.

Алексий, внимательно разглядывая царицу, не спешил доставать свои снадобья. Вопросил, пользовалась ли царица дареною чашей. Тайдула со смущением призналась, что чашу отобрали у нее улемы, когда ей стало совсем плохо.

— Сомневающемуся в силе креста лучше вовсе не прибегать к нему, чем, прибегнув, отбросить святыню и тем гневить Господа! — с мягкою строгостью выговорил Алексий и продолжал: — Дочь моя! Заступничество высших сил со мною, и с помощью божией я излечу тебя. Но токмо в том случае, ежели ты полностью доверишься мне и отвергнешь все иные средства и способы, ибо дело, требующее одного и единого, не можно делать двоим и по-разному!

Тайдула подумала, кивнула наконец головой:

— Я верю тебе! — сказала, и в голосе, растерянном, угнетенном болезнью, просквозили прежние воля и власть.

— И прошу тебя, госпожа, будь тверда и не переменяй отныне решения твоего! — с настойчивостью повторил Алексий. — Знай, что я мог бы тотчас и враз помочь тебе, но надобно сперва исправить те ошибки, которые допустили другие, те, кто пользовали тебя доселе, и потому будь терпеливою, госпожа! И скажи еще раз, еще раз повтори, что веришь и доверяешь мне, молитвеннику твоему, и будешь слушать токмо меня и со смирением принимать всяческое лечение!

На опухшем лице Тайдулы вилась вымученная улыбка:

— Мне делали даже примочки из ослиной мочи на глаза, и чего еще только не творили со мною, урус! Лечи, я буду слушать тебя и даю в том свое царское слово!

Теперь уже ничто не мешало врачеванию, и Алексий приступил к делу. Была раскрыта и водружена походная божница. Алексий преклонил колена и помолился сам. Потом окропил Тайдулу, промыв ей глаза святой водою, и, посадивши перед собой и возложив ей руки на голову, начал читать долгий молебный канон.

Странное чувство испытывал он, когда, возложивши руки на голову этой нравной и властной, а ныне смиренной пред ним женщины, по сути, приобщал ее, язычницу, ко Христовой благодати. И чувство это передавалось, видимо, и присмиревшим рабыням, что робко сидели в углу, блестящими черными глазами пугливо и любопытно разглядывая строгого христианского наставника в отделанной золотом ризе, что произносил отвычные слова, называя пророка Ису и его мать Мариам из святой книги Инджиль и совсем не упоминая при этом Магомета.

Тайдула постепенно успокаивалась. Алексий чувствовал руками, как опадает напряжение в членах царицы, как спадает жар тела, и почти не удивился тому, что по окончании молитвы царица едва сидела и была вся в полусонной дреме.

— Ты усыпил меня, русский поп! — пробормотала она.

По знаку Алексия служанки подняли госпожу, уложили на постель. Он, легко касаясь ее вспухших век, наложил мазь. Выходя в то время, как спутники складывали божницу и убирали священные предметы, вызвал сотника и, строго повелев никого не пускать к больной и проверять, пробуя всякую еду и питье, которые ей будут подносить, сказал, что оставляет для надзора одного своего спутника (он указал на Станяту) и ежели царице вдруг станет плохо, то он сможет и помочь ей, и вызвать его, Алексия.

До утра Алексий спокойно спал в княжеской горнице русского подворья, а для Станяты это была самая хлопотливая ночь. Во-первых, не ведали, куда его поместить, ибо в юрте царицы мужчинам под страхом смерти нельзя было оставаться, а уходить куда-нибудь далеко Станька отказался наотрез.

В конце концов ему поставили черный походный шатер в саду, невдали от ханской юрты, откуда он и лежа мог видеть всякого, входящего в сад. Принесли поесть, и Станька, подложив под голову кулак, забылся чутким, вполглаза, сном.

Алексий воротился утром. Опухоль значительно спала, чему, по-видимому, впрочем, помогли молитва и сон, а не мази, которыми он пользовал царицу вчера. Алексий, пока расставляли божницу и приготовляли все потребное ему, задумался. Следовало перепробовать сперва все обычные средствия, коими неплохо лечили в русских монастырях, но болезнь Тайдулы была слишком запущена, а разговоры и шум в Сарае по поводу его лечения все возбуждались и росли с каждым часом. И Алексий, мысленно воззвав к Господу, решился. После молебна он достал мазь, добытую ему боровским монашком, понимая, что, ежели не поможет и она, его посольство закончится полным крушением.

Кажется, никогда он, применив лекарство, не молился так горячо и крепко. В эту ночь, вторую ночь, проведенную Станятою в полудремоте в ханском саду, Алексий тоже не ложился в постель, простояв на молитве перед аналоем всю ночь.

Вокруг русского подворья в эти дни творилась прямая бесовщина. Ключнику на базаре продали огромного снулого осетра, мясо которого оказалось отравленным (повар, разделывая рыбу, по черным жабрам догадал, что дело нечисто, не то бы створилась беда). Какие-то непонятные личности бродили вокруг, пытались перелезть невысокую ограду сада. Ночью кусками ядовитого мяса отравили двух сторожевых псов.

Приезжал Товлубий, принял богатые дары, загадочно сопел, разглядывая митрополита. Сказал наконец, отводя глаза, чтобы русичи не ходили нынче поодинке по базару, а самого Алексия ко дворцу Тайдулы сопровождала стража. Алексий понял, не стал возмущаться, ни расспрашивать. Товлубий, или по-татарски Товлубег, был одновременно и врагом и другом. Тень Калиты, русское нескудное серебро продолжали действовать на этого старого кровожадного барса, убийцу тверских князей Александра с Федором, серебро Калиты и подношения Симеона Гордого. Товлубий явно что-то замысливал и приезжал поглядеть, нужны ли ему еще для его замыслов эти русичи.

На расставании Алексий твердо поглядел в глаза Товлубию, сказал с намеком (внимающий да разумеет!):

— Мы помним всех, кому благодетельствовал почивший в бозе князь Иван Данилович, а такожде и сын его, князь Симеон Иваныч. И наша рука не оскудеет к друзьям дома московских государей!

Товлубий, не убежденный до конца в своей трудной потаенной мысли, все же с пониманием склонил голову.

Когда-то умирающий Калита сказал сыну вещие слова: «Чаю, много зла принесет Орде сей Товлубий, но ты поддержи его там, в Орде! Серебра не жалей, кровь дороже!» Алексий не ведал этих слов, но что такое Товлубий, знал слишком хорошо, и что дружбою или хотя бы отсутствием вражды этого человека пренебрегать нельзя никак, знал тоже.

Боровская мазь произвела неожиданное действие. Тайдуле стало хуже. Алексий снял наложенные было повязки, долго смотрел и вдруг понял, что произошли изменения к лучшему: гной выходил, тугая опухоль сморщилась и начала опадать. Он опять твердой рукою намазал глаза тою же мазью, наложил повязки, промолвив:

— Будь мужественною, госпожа! Иного не скажу тебе теперь, но уповаю на Господа!

Мусульманские улемы пробовали приходить к нему на подворье. Алексий с непреложною твердостью отвечал, что, покуда не окончит лечения царицы, говорить не будет ни с кем.

В этот день двоих русичей на базаре избили почти до бесчувствия. Пришлось и их лечить, запретив всем прочим без дела шататься по городу. По поводу пребывания Станяты в саду царицы возгорелась целая пря, и Алексий предложил ставить у палатки Станяты доверенного Тайдуле нукера, чем кое-как успокоил возникшие слухи и сплетни.

Кризис наступил на пятый день. Алексий в этот день застал во дворце вновь целую толпу улемов и с ними прежнего лекаря, зловеще расступившихся перед русским митрополитом. У белой юрты стояла стража. Станяту, которого Алексий сурово потребовал тотчас представить ему, иначе он не взойдет в шатер госпожи, привели связанного, с кровоподтеком под глазом. Нож и коробочка с мазью были у него отобраны, и на повторные требования Алексия воротили один нож. Впрочем, мазь, которую отобрали у Станяты, имела лишь успокоительное назначение.

В юрте Тайдулы Алексий, к своему великому гневу, застал двух незнакомых ему лекарей и кадия. Тайдула слабым голосом позвала его и сказала, винясь, что она не велела им снимать повязки с глаз до прихода Алексия. Лицо ее, по которому тек гной, было в самом деле страшно.

Алексий, попросив непрошеных гостей хотя бы отступить в сторону, сам воздвиг переносный алтарь и твердым голосом прочел молитву. Тяжелое молчание многих, частью вооруженных, мужчин было ему ответом. Тогда он, подозвав избитого Станяту, приготовил опять потребное ему и, мысленно выговорив: «Господи, помилуй!», снял повязки с глаз, обнаживши целый, как ему и самому показалось в первое мгновение, гнойник. Льняными ветошками, пользуясь освященной водою (иной под руками не было), он начал удалять гной, обмывая лицо Тайдулы. Арабские лекари следили издали, вытягивая шеи. И первое восклицание издал один из них. Глаза царицы глядели. И опухоль совершенно опала, обнажив сморщенную, побелевшую кожу.

Тайдула медленно моргала веками, глядя на Алексия, и в глазах ее, измученных, некогда завораживающе прекрасных, копились, скатываясь по щекам, слезы. И радости, и горя одновременно. Алексий не

глядел назад, но по шевелению и звуку шагов чуял, как выходят, выползают, бегут, покидая шатер царицы, все те, кто еще минуты назад жаждал кровавой расправы с ним, испуганные и раздавленные божественной силой русского целителя, посрамившего их всех. Скоро юрта была пуста. Только верный сотник, сверля преданными глазами спину Алексия, стоял на страже в дверях да жались под пологом восхищенные рабыни, которые теперь тайно начнут носить под одеждою вместо амулетов серебряные крестики, веря, что это — могущественный оберег от всяких напастей.

А царица глядела на Алексия, губы ее шептали слова благодарности, а из глаз, обновленных, выздоровевших глаз, текли и текли крупные слезы.

Час назад придворные повестили ей Джанибекову смерть.

Бердибек сердито, ногою, отпихнул невольницу. Полураздетая женщина замерла, распластавшись на ковре, не ведая, жизнь ей подарят или смерть через несколько мгновений. Она будто оглохла, не слыша музыки, ни того, как продолжает хохотать Маматхатун, которую щекотал в это время один из соратников хана. Одетые в прозрачный муслин танцовщицы с бубнами в руках двигались на цыпочках одна за другою среди расставленных в беспорядке блюд и сосудов с вином. Вот одну из танцовщиц дернул за шальвары приподнявшийся с ковра татарин, и девушка тотчас, послушно расстегивая пояс, опустилась на колени перед ним, спеша освободить себя от лишней одежды, чтобы не прогневить воина.

Бердибек смотрел брюзгливо на этих жен чужого гарема и танцовщиц, коих он уже устал брать и дарил теперь своим соратникам, которые пили вместе с ним, сочетаясь тут же, на коврах, со своими избранницами. Он поманил пальцем неловкую девушку, причинившую ему боль, и, когда она подползла с расширенными от ужаса глазами, взял за горло, как кошку, и стал бить по лицу, приговаривая:

— Тварь, тварь, тварь! Неумелая тварь!

По лицу женщины катились слезы и кровь, она задыхалась и подкорчивала руки, не смея все же вцепиться в безжалостные пальцы нового господина. Ашраф был жесток, но по-другому. Он любил морить женщин голодом. Этому не жалко еды, но не жаль и чужой жизни. Когда танцовщица уже почти потеряла сознание, он налил чашку вина и плеснул ей в лицо: «Поди прочь!» Женщина, икая и вздрагивая, уползла на коленях, забыв подобрать снятые шальвары. Тотчас другая танцовщица опустилась рядом с ним, показывая полные груди, просвечивающие сквозь муслин, и улыбаясь готовною, затверженною улыбкой. Бердибек махнул рукой:

— Принеси саз!

Девушка побежала, покачивая полными бедрами, «походкою раненого верблюда», приятною для мужских глаз. Вернулась с сазом.

— Разденься! — велел Бердибек. Пресыщенный, он глядел, как играет голая танцовщица, шевеля в такт бедрами и грудью, и оглядывал уставленный светильниками зал с нишами по стенам, в которых то горою высились груды подушек и одеял, то громоздились на столиках и прямо на полу разнообразные яства, фрукты и сосуды с вином.

Черные рабыни в передниках разносили блюда с жареным мясом и мисы вареной баранины. Несколько музыкантов, сидя в ряд у стены, дули в свои длинные дудки, выводя прихотливую вьющуюся мелодию. Лица их были нарочито бесстрастны.

У Бердибека наконец родилось желание, и он знаком потребовал от девушки ответа. Она тотчас отбросила саз и прильнула к нему с заученной изощренной жадностью, повторяя то, чего не сумела сделать та, другая...

В это время распахнулись двери и вошел прислужник, растерянно присевший, оглядывая пьяную оргию и разыскивая глазами среди этих раскинувшихся на коврах и переплетенных тел самого Бердибека.

— Что нужно этому дураку? — сквозь зубы процедил хан, которому вовсе не хотелось ни ради каких дел прерывать пир и наслаждения. Он тяжело глядел на приближавшегося к нему, низя глаза, раба. «Так и знал! Гонец от отца!» — подумал Бердибек, сжимая кулак. Была бы его воля, он разорил бы весь этот пышный город куда пострашнее Ашрафа. Будь его воля, он не стал бы заставлять своих воинов возвращать золото жителям покоренного Азербайджана — зачем? Будь его воля, он теперь как победитель выпотрошил бы всю местную знать, завалил трупами арыки, а женщин раздал своим воинам на потеху. Будь его воля... Кровавая волна гнева поднялась было в нем, поднялась и опала. Бердибеку не было еще и тридцати, но кутежи и вино уже успели состарить его некогда красивое лицо, вдоль рта пролегли складки, и глаза, леденевшие во время гнева, смотрели недобро и тяжело. Вновь какой-нибудь нелепый приказ отца, который ему хотелось бы, не читая, бросить и растоптать ногами. Он поправил одежду, дал знак соратникам оставить на время женщин, кивнул, чтобы ввели гонца.

Пропыленный воин прошел по коврам, словно был из другого мира, перешагивая через блюда и нагих красавиц, подал свиток. Бердибек порвал шнурок, долго всматривался в строки (читать он почти не умел). Гонец, видя трудноту хана, подсказал:

— Отец твой, великий хан, повелитель вселенной, опасно болен. В него вселился кара-чулмус. Тебя зовут домой!

— Ешь! — бросил гонцу Бердибек, подымаясь на колени и оглядывая зал в поисках грамотного. Толмач подбежал, запыхавшись, схватил свиток, начал читать.

Гонец, сидя на корточках, ел мясо, запивал вином, поглядывая на гаремных женщин.

Бердибек выслушал грамоту, велел перечесть, выслушал вновь. В голове звоном перекатывались

огонь и восторг удачи. Он будет ханом! Вся Золотая Орда отныне принадлежит ему!

Он схватил золотую чашу, сунул в руки обалдевшему гонцу, кивнул на женщин, крикнул: «Бери любую!» — и косолапо, по-татарски ставя стопы, выбежал вон из пиршественной палаты дворца. Скакать следовало немедля, теперь, не ожидая ни часу! Что еще они могут там, в Сарае, выдумать без него?

Упившиеся соратники хана вставали, отпихивали женщин, застегивали пояса, поспешали к выходу.

Бердибек, все еще хмельной, веселый и злобный, едва отдав наказы наместнику, выезжал из Тебриза через два часа. Садилось солнце, прощально зажигая узорные тимпаны айванов, плавясь на голубых и золотых куполах, подчеркивая тенью стройные минареты, словно завернутые в драгоценные узорные ткани из сине-желто-зелено-бело-голубой парчи. Покидая Арран, Бердибек забирал с собою большую часть войска, всех преданных ему темников, сотников и нукеров, словно скакал на войну.

В этом развращенном и рано постаревшем царевиче одна была великая и страшная страсть — жажда власти, и с каждым прожитым годом, с каждым проведенным в неге и роскоши месяцем она росла и росла.

Джанибек, оставленный в положении почти заключенного, медленно приходил в себя. Улемы, чаявшие оградить повелителя от возможного вмешательства русской церкви, содеяли ему, сами о том не думая, великое благо. Джанибек все эти долгие дни пил только воду из источника и изредка слабый кумыс, и у него началось очищение жизненных соков. Приступы, когда он рычал и царапался, прошли, припадки становились все реже, и наконец ослабевший, потишевший повелитель пришел в себя. Слабым голосом он попросил пить, и ему принесли кобыльего молока. Он с удивленною радостью глядел на толстую мунгалку, что готовила ему питье, потом на урусутского раба, что переменял ему замаранное платье. Попросил, чтобы его вымыли, и лежал тихий и смиренный, радуясь свету солнца в горловине юрты, радуясь своему дыханию и наступившей чистоте тела. Тихо спросил про Тайдулу, про сына, покивал головою и, не выслушавши ответов, уснул. Проснувшись, увидел у постели бородатых мужей с настороженными глазами. Спросил про Алексия. Не отвечая ему, один из них оборотился и сказал кому-то в передней части юрты:

— Повелитель еще бредит!

Джанибек хотел рассердиться, свел было брови, но почувствовал, как он слаб и устал до того, что не поднять рук, прикрыл глаза и тихо попросил есть.

Пожилая мунгалка вошла, покосясь на улемов, подала чашку мясного навара. Джанибек пил, передыхая, и снова пил, и его одно мучило: почему не покидают его эти, бородатые?

— Кто вы? — спросил он, постаравшись придать голосу твердость. — Позовите моих нукеров!

Те вновь переглянулись между собой. Поднялись и вышли, но никто больше не подошел к нему, и Джанибек лежал, чувствуя смутную тревогу, но где-то там, за гранью своего существа, ибо в нем была — во всем его ослабевшем теле — отвычная радость выздоровления. Он снова заснул и, вновь проснувшись, вспотевший, живой, захотел есть и пил мясной отвар и кумыс и радовался солнцу и свету.

Теперь он звал Тайдулу, удивляясь, что она не приходит, и безразлично совсем выслушал про ее болезнь и глаза, вновь спросил про Алексия, и ему опять не ответили, и он вновь забыл, и обрадовался, когда вошедший к нему кади объявил, что прискакал Бердибек. Почему, зачем прискакал, бросив Тебриз и войско, он не спрашивал.

Сын вошел, как был с дороги, обдутый ветрами, обожженный солнцем, похудевший и потому молодой. Вошел и обрадовал отца, как его радовало все теперь. Он глядел на сына, стоящего перед ним. За плечами сына выглядывали нукеры, и Бердибек махнул им рукою выйти вон.

«Поправляется!» — сказали Бердибеку при входе, и он стоял и смотрел на исхудавшего, жалко улыбающегося ему отца и видел, что да, отец поправляется. Безумие, о котором повестили Бердибеку, покинуло родителя. И теперь только еда и время — и он встанет и будет править опять еще неведомое количество лет... И власть, о которой ему сказал при встрече толстый старый барс Товлубег, власть над четвертью мира, над Золотою Ордой — проклятие! — вновь ускользнет из его рук! А там умрет Товлубег и подрастут братья... Он подступил к постели, продолжая внимательно разглядывать отца, даже слегка наклонился к нему.

Отец глядел, улыбаясь, радуясь своему выздоровлению, и в размягченной душе его вырастала радость: сын! Прискакал! Боялся за отца! Все-таки он хороший, его старший сын, его наследник. Вино, женщины — все это пройдет. Вот он встал теперь во главе войска и уже стал воином, мужем! И вековой спор с Хулагуидами окончен, ежели сын теперь удержит Азербайджан и Арран за собой.

— Ты что? — спросил он Бердибека, все наклонявшегося и наклонявшегося над ложем отца. Что-то страшное, что-то жестокое и безмерно тупое было в глазах сына, и у Джанибека холод прошел по спине, когда он за мгновение понял, что сейчас должно произойти.

— Ты... — Он что-то еще хотел сказать, быть может, умолить, остеречь, крикнуть, но железные пальцы уже сомкнулись у него на горле. Джанибек хрипел, выгибался, царапал руки сына — любимого сына! — с ужасом меркнущим взором глядя в жестокие глаза убийцы. Грудь его расширялась, стараясь ухватить воздуху. На короткий миг он с дикой силою обреченного смерти впился в безжалостные руки сына, после задергался, уже стекленея взглядом, крупная судорога несколько раз прошла по его исхудалому телу, и вот сведенные пальцы начали слабнуть, разжиматься, а Бердибек все держал и сжимал горло отца, в ужасе боясь отпустить, пока наконец последний трепет не покинул тела и вялость плоти под пальцами не сказала ему, что отец окон-

чательно мертв. Тогда он с трудом отлепил пальцы от горла родителя и отвалился, почти теряя сознание. Его мутило, и с минуту Бердибек сидел, с трудом удерживая тошноту. Потом встал, качнулся на ногах, усилием воли взял себя в руки, слепо, в лица своих нукеров, в страхе расступившихся перед ним, вымолвил:

— Отец умер. Великий хан умер! Приберите его!

Первое лицо, которое он узрел ясно, ступив в переднюю часть юрты, было лицо Товлубега, который, нагнув голову и слегка приподнявши извитую бровь, новыми глазами разглядывал молодого хана-отцеубийцу, нынешнего повелителя Золотой Орды. «Ты еще не все сделал, хан!» — говорили эти прищуренные, оценивающие глаза. Убить отца — этого еще очень мало, дабы удержать власть!

Убийца редко испытывает раскаяние. Вернее сказать, испытывает раскаяние тогда и тот, кто совершил преступление, не будучи подлинным преступником. Когда совершенное зло нарушило его собственные моральные принципы или же произошло случайно. Но писатели и поэты всех времен говорят только об этих, способных почуять укоры совести (почему и кажется порою, что убийца всегда раскаивается в совершенном злодеянии), ибо они — люди света, а не тьмы, люди света, отпавшие света, и для них возможно еще покаяние. Те же, кто избрал путь служения сатане и вовсе отверг свет, тех не мучит совесть, им не являются видения; предавая и губя, они затем спокойно едят и спят и живут в сознании своей невинности и правоты, ибо они — слуги тьмы и уходят во тьму. И вечная борьба против зла ведется не за них и даже не с ними, а за тех, кто сошел с истинного пути и кому возможно помочь воротиться к свету.

Это не значит, что есть люди, по господнему предначертанию заранее обреченные спасению или гибели, как говорил Августин Блаженный, нет! Но это значит, что свобода воли и выбора действительно существует и дана человеку для его конечного торжества или конечной гибели.

Бердибек был убийцей в душе. И раскаяния он не испытывал. Но иное обрушилось на него нежданно-негаданно. Мечтая о власти, он не понимал, не догадывал, что власть держится на преданности подданных — и не иначе. Убивая отца в приступе гнева и страха, что опять упустит трон, он не имел времени подумать об этом: об ужаснувшихся нукерах, о перешептывании эмиров, о том, что об убийстве через день станут рассказывать на базарах, что мусульманские улемы, муллы, шейхи и сам кади теперь потребуют от него исполнения их велений, — словом, на Бердибека нежданно обрушилось одиночество.

«Я предал его почетной смерти! — наивно думал он. — Не зарезал и не казнил!» И видел ужас в глазах воинов, и уже не верил, что эти люди пойдут за ним, а не отшатнутся и не предадут его другому, кто больше заплатит. Теперь он подумал, что и мать готова проклясть его, и тут, в этот миг, почуяв зыбкость, призрачность обретенной власти, он впал в ужас страха и в ужасе этом не мог уже найти никакой иной дороги, кроме той, которую избрал у постели выздоравливающего отца. Убивать! Убивать всех и подряд, чтобы боялись, чтобы, наконец, сокрушить всякое возможное сопротивление. Но чтобы убивать, надобно было, опять же, опереться на силу кого-то преданного тебе. И вот так он очутился в вечер убийства не у матери своей, которая одна могла бы его простить или хотя бы понять, а в юрте Товлубия.

И теперь, разлегшийся на ложе из гепардовых шкур у ковра, уставленного яствами, вином и жареным мясом, старый темник разглядывал, усмехаясь, молодого и еще неразумного, содеявшего почти при всех то, что надо было совершить тайно, чужими руками (и тотчас убить убийцу!), быть может, с помощью яда, и от которого теперь все станут требовать своей платы за молчание. Молчание о том, о чем завтра заговорят на базаре!

— Улемы хотят, чтобы ты покаялся и совершил какой-нибудь подвиг во славу правой веры. Они готовы простить тебе убийство отца и оправдать с мирбара, ежели ты хотя бы ущемишь христиан, как это делал Узбек! Большой русский поп Алексий, излечив твою мать, добился очень многого. Теперь ему нужен фирман, подтверждающий право церкви не давать дань. И он получит его у Тайдулы! Я даже знаю, кто подпишет — Муалбуга. И твоя печать будет на этом фирмане! А что сделаешь ты, хан?

Бердибек пожимает плечами, молчит.

— Улемы хотят заставить Алексия спорить с Мукзибугой в присутствии хана. И опозорить его. А ежели русский поп переговорит нашего, что сделаешь ты тогда, Бердибек?

— Я его убью!

— Убьешь русского попа? — переспрашивает Товлубий и смотрит бабьим лукавым взглядом, покачивая головой. Наливает вино, придвигает чару Бердибеку. «Пей! И ешь!» — говорит повелительно и снова взглядывает, и бабье толстое плоское лицо его с заплывающими глазами твердеет, становится жестоким и грозным.

— Убить нетрудно! — говорит он. — Но эти головы слишком быстро отрастают, Бердибек! У князя Ольгерда в Литве сидит другой урусутский поп, Роман, и тогда он станет во главе всей русской церкви, но он уже не приедет сюда, к тебе! И ты своими руками подаришь Ольгерду, который даже не служит нам, весь русский улус! Поверь, Иван, который теперь сидит на Москве, безопаснее! Нет, это ты плохо придумал, Бердибек! Что бы там ни говорили муллы и кади, а придумал ты плохо! Думай, думай еще, Бердибек! — Старый барс, покачивая головою, опять наливает вино. — Русского попа нельзя убивать! Нет, ты пригласишь его во дворец и дашь говорить, и пусть они спорят! Тебе теперь надобно урусутское серебро, много серебра!

— Почему?! — нетерпеливо, гневаясь, возражает Бердибек. — Разве я не хан и не сын хана?

— Тебя еще не выбрали! Эмиры еще спорят друг с другом! — ласково говорит Товлубий.

— Я привел из Аррана воинов! — гордо заявляет Бердибек, выпрямляясь и представляя, как свои же воины подымают его на щите, нарекая великим ханом и царем царей.

— Воины есть у каждого! — смеется Товлубий. — Я тоже вооружил кого мог и разослал приказы по всем становьям. Но и каждый из эмиров Золотой Орды сделал то же самое!

Бердибек молчит, фыркает, словно необъезженный конь. Он не ведает (и понял это только сейчас), за кем пойдут воины его отца.

— Примирись с матерью, Бердибек! — говорит, высасывая мозговую кость, Товлубий.

— Зачем?

Старик подымает круглые, широко раскрытые глаза.

— Как зачем? Как зачем?! Затем, что она твоя мать и у нее есть воины!

— Я сам имею достаточно сил, чтобы не кланяться еще и ей! — норовистый необъезженный конь пытается сбросить седло.

— Но зато у тебя двенадцать братьев, и все они в воле Тайдулы! Тэмур и Асан уже подросли. Беки могут выбрать любого из них!

— Я убью своих братьев! — кричит Бердибек и прибавляет низким, глухим голосом: — Я пошлю воинов и велю тебе, Товлубег, убить их!

— Ты хочешь, чтобы я не покинул тебя, Бердибек? — спрашивает старый барс, нимало не испуганный решением молодого хана.

— Да, хочу!

Старик глядит бабьим взглядом, покачивая головой:

— Ты убил отца и никому теперь не веришь, Бердибек! — Товлубий думает, щурится, грызет кость, вытирает жирные пальцы о халат. — Ну что ж, верят только безумцы и дервиши и еще такие, как поп Алексий... Я подумаю, Бердибек! Мне некому подарить твою голову, хан, а ежели ты подаришь кому-нибудь мою голову, ты погибнешь. Тогда уже тебе не простят ничего. Только взять царевичей тебе придется самому и самому придется говорить с матерью!

Бердибек глядел затравленно, только теперь поняв, что он полностью в руках этого толстого старого барса, и тот играет с ним как хочет, и власть, ради которой он пошел на преступление, будет принадлежать Товлубию, а не ему, Бердибеку. Но хоть видимость власти, хотя бы слава и трон достанутся все же ему! А там... Сколько лет жизни осталось этому толстому старику?

— Асан! Сегодня езжай на охоту! — бросил, словно бы невзначай, юноше сотник, которому была поручена охрана ханских жен и гарема покойного Джанибека.

— Когда наш отец умер, непристойно развлекать себя охотою! — степенно ответил, узя глаза, молодой джигит, похожий как две капли воды на юного Джанибека.

— Как знаешь! Тебе советуют... — пробормотал сотник, удаляясь и еще раз воровато глянувши по сторонам.

Царевич недоуменно поглядел ему вслед и пожал плечами. Он взглянул назад, в сторону семи нарядных юрт, стоящих на расстоянии одна от другой. Когда-то Джанибек посещал их по очереди, и тогда жены шили ему новые халаты, и Асан помнит, как хан приходил к его матери и оставался ночевать и мать ходила тогда гордая и принимала подарки. Это было давно. Царевич опять пожал плечами, ощутив смутную тревогу. Надо было пойти посоветоваться с матерью, предупредить Тэмура, своего соперника и друга, сводного брата от другой хатуни.

Подумав, он отправился сперва к Тэмуру. Тот возился с луком, пробуя так и эдак натягивать его, и на слова Асана только кивнул, коротко ответив, что и ему посоветовали то же самое, но он решил ехать на охоту завтра с утра и вот пробует лук.

Асан сообразил, что ежели посоветовали уехать и ему и Тэмуру, то поехать все-таки надо обязательно, но лучше ему с братом, не разлучаясь, выехать вместе, и ежели это потребуется, ежели им угрожают недобрые замыслы старшего брата Бердибека, быть готовыми к дальней дороге. Так и Асан и Тэмур сами подписали себе смертный приговор.

Все сыновья Джанибека были нынче здесь, в обширном ханском саду, кроме самого маленького, восьмимесячного, родившегося уже после отъезда хана в персидский поход и забранного вместе с матерью к Тайдуле. Строгая наставница младших ханских жен невесть с чего совершенно влюбилась в этого последнего Джанибекова сына и теперь, радуясь излечению, тотчас потребовала мать с ребенком к себе.

Несмотря на смерть хана, тут продолжалась обычная будничная жизнь. Варили еду, служанки сновали с мисками и кувшинами. Воин нес тяжелый бурдюк с кумысом в юрту Бике-хатун.

Жены повелителя редко ссорились во время отсутствия хана, напротив — помогали друг другу, обмениваясь посудой, едой и мелкими бытовыми предметами. И сейчас двое из них стояли около юрты, разговаривая, при этом одна держала на руках годовалую девочку, а около другой вертелся малыш лет пяти, оглядываясь и дергая мать за рубаху, в то время как его старший брат в отдалении возился с огромною сторожевою собакой, бесстрашно вкладывая ей в пасть и вынимая обкусанный альчик. Пес притворно хватал маленькую кость клыками, мотал головою, потом, приоткрывая пасть, давал мальчику вынуть альчик и вновь начинал с ним ту же игру. Ни пес, ни мальчик не ведали, что им обоим не придется дожить до рассвета.

В отдалении четверо ребят постарше, сыновья Джанибека от Юлдуз-хатун, отчаянно ссорясь, пробовали стрелять из детских луков в цель, которою

являлась повешенная на дереве баранья шапка. Младший из них, самый сговорчивый, все время бегал подбирать стрелы и говорил братьям, осматривая шапку, попала стрела или нет.

Еще один маленький мальчик сидел на пороге своей юрты, пересыпая медною чеканною миской золу, которой уже был вымазан до самых ушей, явно дожидая той минуты, когда мать или рабыня подберут его и, нашлепав, унесут внутрь юрты.

Толстый смешной Тулук сидел, словно суслик, рядом с матерью, сожидая вкусных пшеничных лепешек, которые его мать пекла сейчас в золе костра к ужину.

А двенадцатилетний сын, подросток, названный христианским именем Дмитрий, лежал в это время под абрикосовым деревом на разостланной кошме и, шевеля губами, читал по складам, трудно разбирая мудреные арабские и персидские слова, книгу назидательных историй про шахского сына, обвиняемого в измене отцу, и про то, как мудрый визирь, рассказывая шаху одну за другою истории, перемежаемые стихами, спасал и спас шах-заде от казни. Он так зачитался, что даже не пошел ужинать.

Садилось солнце. «Дими-и-и-и три!» — напевно выкликала издали мать. Царевич недовольно оторвался от книги, поправил золотую тюбетейку на голове, обернулся на голос матери и прислушался. В саду — или за садом? — слышались посторонние голоса, фыркали кони. Юноша представил, что он сам этот шах-заде и воины приехали его убивать по приказанию старого шаха. Представив, раздул ноздри. Подумал, что он бы не стал ждать и надеяться на кого-то, как этот шах-заде! Привстав с кошмы, он осторожно выглянул из-за дерева.

В саду творилось что-то непонятное. Хрустел песок под многочисленными ногами воинов, неистово взлаивали собаки. Вот раздался женский раздирающий уши визг, другой... «Дими-и-итрии! — вновь заполошно закричала издали мать. — Беги! Спасайся, Дими...» — голос матери прервался, и тут наконец мальчик сообразил, что все это уже не игра, не персидская сказка, и, уронив книгу, кинулся, не разбирая дороги, сквозь кусты, туда, в глубину сада к глиняному забору, еще ничего не понимая толком, кроме того, что идет ужас и прерванный голос матери (которой воин — он не знал этого — тотчас зажал рот) был ему последней спасительной надеждой...

Вечером стража сада стала уходить. Нукеры покидали свои обычные посты, шли не оглядываясь, чего сперва не заметил никто из женщин, мысливших, что это обычная смена караула. Но потом в наступившей тишине над садом, над засыпающими юртами повеяло смутною тревогой. Ржали и топотали кони за оградою. Новые, незнакомые воины занимали сад.

Стайка припозднившихся малышей, что и после ужина вышли стрелять из луков, первыми попала в руки чужих, Бердибековых воинов. Мальчиков тут же связали арканами и повели. Младший заплакал, и на голос сына выбежала его мать. Она-то и закричала первая. Страшно, срывая голос, кричала и билась в руках воинов, пока ей не заткнули рот. Но было поздно — в юртах уже начался общий переполох.

Мать Тэмура, прислушавшись и первою поняв, что за беда пришла в ханский сад, быстро приподняла полу юрты, выпихнула сына. «Беги! Не оглядывайся, беги!» — только и успела проговорить она. И юноша, змеей проползший под кошмами, кинулся к задней стороне сада и успел до того, как оставшиеся снаружи воины плотно окружили сад, перелезть через ограду и скрыться в глиняных переулках, пустынных в этот вечерний час.

Беда его была в том, что Тэмур совершенно не знал, куда бежать. Сами ноги вынесли его к базару, и тут он, не разбирая что и к чему, пихнулся в какую-то лавку, сорвал замок с двери и полез внутрь, в душное темное нутро, спрятавшись, забившись среди тюков с тканями. Хозяин лавки потом всю жизнь не мог простить себе, что принял царевича за обычного вора и вместо того, чтобы скрыть и переправить в степь, выдал его рыночной страже, а та отвела юношу во дворец Товлубия.

Асан, не отличавшийся проворством сводного брата, встретил воинов в дверях юрты с саблей в руке. Несколько бесполезных ударов железом по железу прозвенело в саду, прежде чем наброшенный аркан выволок упирающегося царевича к общей куче пленных детей и обступивших их поодаль плачущих женщин.

Он видел, как волокли толстого Тулука, точно пойманного суслика, а тот таращил круглые глаза и даже не вопил, все еще ничего не понимая.

Видел, как волокли маленького Оку и за ним несся огромный пес, с которым мальчик играл совсем недавно, единственный страж, не изменивший своему господину, и с утробным рычанием прыгнул, ухватив зубами руку воина, которою тот едва успел прикрыть свое горло, и слышал, как хрустнула кость и как вскрикнул воин, и видел, как тотчас несколько сабель обрушились на пса, отбросив в сторону кровавый издыхающий ком мяса и шерсти.

Димитрия схватили, когда он перелезал через ограду. Мальчик кусался и царапался, впился зубами в предплечье дюжего воина и, только получив ошеломивший его удар по голове, от которого у него разом потухли глаза и струйка крови побежала из приоткрытого рта, безвольно обвис на руках воинов, так и донесших его до общей кучи.

В сад верхом въезжал Товлубег. Сотник подбежал к лошади, преданно и опасливо глядя на властительного темника, сказал:

— Десять!

— Кого нет? — вопросил, щуря глаза, Товлубий.

— Старшего, Тэмура, и самого маленького, тот у Тайдулы-хатун!

Товлубий сумрачно кивнул головой, приказал:

— Искать!

Сопя, оглядел рыдающих женщин, толпу испуганной челяди. Оборотил лицо, знаком приказал увести пленников.

Каждого из царевичей хватал воин. Асана, бледного и старающегося изо всех сил соблюсти достоинство, взяли двое, с двух сторон. В толпе женщин, понявших наконец, что это — смерть, началось неистовство. Они кидались на воинов, грызли им руки, старались пальцами дотянуться до глаз. В сгущающихся сумерках в ханском саду творилось невообразимое, стоял заполошный вой, визги, крики, мольбы о помощи. Исцарапанные воины вязали женщин арканами, растаскивая по юртам, те бились у них в руках, безумные, раскосмаченные. Одна из жен серьезно ранила воина спрятанным на груди кинжалом, и ее держали и вязали уже вчетвером.

Товлубий, сидя на коне у ворот сада, слышал эти растекающиеся по юртам стоны и вопли, закаменев лицом, на котором не явилось ни одного движения, ни самой малой судороги, и только продолжал сопеть, поглядывая, как садят на коней и увозят одного за другим связанных детей Джанибековых. Потом тронул коня, подъехал ко второму, замершему у ворот, всаднику. Помолчал, подумал. Сказал:

— Тэмура найдут! А к матери ты поди сам, Бердибек!

Малыш был слегка опрелый, и Тайдула сама натирала его бараньим салом, любовно выговаривая неумелой молодой матери. Толстенькое упругое тельце мальчика хотелось сжать, зацеловать и затискать.

— Воин будет! Джигит будет! Богатур! — приговаривала Тайдула и щекотала мальчику животик, а он смеялся и довольно сучил ножками.

— На, корми! — наконец велела она молодой хатуни и с легкою ревностью глядела, как та, выпростав полную набухшую грудь, дает ее малышу и он, жадно чмокая, всасывается, тиская ручонками тело матери.

— А-яй! — вскрикнула молодуха. Ребенок укусил ее за сосок. Тайдула усмехнулась:

— Терпи! Растишь воина!

Ребенка пора было прикармливать кобыльим молоком, и Тайдула ждала, не могла дождаться, когда можно станет вовсе отослать от себя молодую мать и заняться мальчиком самой, уже ни с кем его не деля.

Приход Бердибека с воинами, на которого она злилась за убийство отца (впрочем, ей сказали, что Джанибек был безумен перед смертью и уже ничего не понимал, а истину она узнала много спустя), мало встревожил Тайдулу. Гордая малышом и своими материнскими заботами, она заносчиво поглядела на старшего сына, намерясь сказать ему укоризненные слова, и только тут, вглядевшись, почуяла страх. Бердибек смотрел мимо нее, и лицо старшего сына не предвещало ей ничего доброго. А угадав по направлению его взгляда, как бы остекленевшего, недвижного, направленного на довольно гулькающего малыша, зачем и для чего пришел в юрту ее старший сын, Тайдула перепугалась по-настоящему.

— Уходи! — закричала она, двигаясь грудью на сына. — Уходи! Убийца! Ты хочешь всех перебить, бери других! А этого оставь мне!

— Я уже взял других! — ответил Бердибек хрипло пересохшим ртом и безумно глянул на мать.

—А-а-а-а! — закричала она, но в юрте были только чужие, Бердибековы нукеры, и они не двинулись с места. Тайдула перестала кричать и протянула руки, чтобы схватить, взять за горло, выпихнуть сына, и — замерла. Поняла вдруг, что Бердибек сейчас убьет и ее саму, не остановясь ни перед чем.

Воины молчали, молчали испуганные рабыни, молчал Бердибек.

— Зачем тебе этот малыш?! — вновь заговорила Тайдула. — Что может тебе сделать ребенок? Отдай! Оставь одного в утеху матери твоей!

— Ребенок вырастет! — ответил наконец Бердибек. — Через пятнадцать лет он станет воином, и эмиры пойдут за ним, чтобы убить меня!

(Знал бы незадачливый убийца в этот миг, сколь недолго ему осталось сидеть на троне отца и сколько событий, смертей и перемен произойдет в Орде за пятнадцать ближайших лет! Но люди не ведают грядущего ни на годы, ни на дни, ни даже порою на часы вперед.)

Тайдула стояла, старая, перед сыном, которого вырастила сама таким, каков он есть, каким он стал теперь, и в ее гордом сердце что-то ломалось, падало, гасло, уходя, как уходит вода из разбитого кувшина.

— Не отдам! — сказала она.

— Я прикажу нукерам связать тебя, и они исполнят мой приказ! Не доводи до этого, мать!

— Это все Товлубег! Это он насоветовал тебе! Старый убийца! Передай: не жить ему долго на земле! Сжалься, сын! — вскричала она, уже теряя волю.

— Или он, или я! — мрачно ответил Бердибек, упорно глядя на ничего не ведающего, гулькающего малыша. — Уступи, мать! Ни мне, ни Товлубегу не нужна твоя кровь!

— Где мои воины?! — спросила Тайдула, поняв наконец, что сына ей ни убедить, ни умолить.

— Твоих воинов нету здесь, мать, и они не придут! — угрюмо ответил Бердибек.

— Тебя проклянут все! — ответила Тайдула, делая шаг назад. Ей не хотелось, чтобы чужие воины хватали ее за руки и вязали арканами.

— Когда из потомков отца останусь я один, им не из кого больше станет выбирать себе ханов!

— Русский поп тоже проклянет тебя! — возразила Тайдула, отступая еще на шаг.

— Пусть русский поп получит ярлык и убирается прочь из Сарая! Пока еще Русь платит выход Орде, а не наоборот! — Бердибек, решительно протянув руки, поднял ребенка, которого молодая мать, словно птица, завороженная змеей, сама протянула ему.

Младенец гулькал и тянулся теперь рукой к бороде Бердибека. Тайдула молча закрыла руками лицо.

Бердибек передал младенца воину, и тот опасливо принял малыша, поглядывая на двух недвижных женщин, одна из которых еще вчера распоряжалась в Орде, рассылая грамоты иностранным государям и смещая или назначая по своему произволу вельмож.

Уже когда Бердибек и воины начали, теснясь, выходить из юрты, молодая мать с протяжным воплем кинулась вслед за ними и у самого порога, получив от одного из воинов страшный удар в грудь древком копья, повалилась навзничь, икая и смертно закатывая глаза, ненужная теперь никому, еще живая, но уже как бы и вовсе переставшая существовать.

Товлубий начал резать мальчиков одного за другим после того, как с рынка привели двенадцатого, Тэмура.

Детей подводили к Товлубию связанных. Палач отгибал мальчикам головы и перерезал горло. Кровь брызгала в деревянное корыто, из каких поят лошадей. Трупы клали рядком на кирпичный пол.

Некоторые дети плакали. Другие крепились, сами молча подходя к палачу. Товлубий сидел перед ними, старый, безобразно огромный, и на его жирном бабьем лице бродила довольная улыбка. Он прицокивал, видя мужество умирающих, и считал:

— Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый.

Ребенку, которого привез Бердибек, второпях вовсе отхватили голову. Теперь это маленькое толстое тельце с подкорченными ножками лежало с краю, а восковая детская головка откатилась в сторону, и казалось, что ребенка приготовили, чтобы зажарить и съесть.

— Семь. Восемь. Девять! — считал Товлубег.

Тэмур бился в веревках, кричал: «Убийцы!» — пока нож палача не успокоил и его.

Асан молча сам подошел к корыту с дымящейся человечьей кровью, глубоко вздохнул, поняв, почувствовав до конца, что это его последний вздох. Кровавые пальцы, вцепившись в темя, начали отгибать его голову, и мгновенная резкая боль прошла по горлу. Враз стало нечем дышать, и туманно, угасая, пробежал перед глазами кирпичный, выложенный в елочку свод каменного дома Товлубия.

— Десять! Одиннадцать! — продолжал считать вслух Товлубий, когда Асана уложили рядом с зарезанным прежде Димитрием.

Последним подтащили толстого, похожего на глупого степного суслика Тулука. Раздался короткий прерывистый визг.

— Двенадцать! — сказал Товлубий и, откинувшись на подушках, потянулся всем телом, словно сытый, наевшийся хищник.

— Позови Бердибека! — велел. — Пусть поглядит сам!

Палачи вдвоем выносили корыто с кровью.

Про убийство царевичей судачили по всему Сараю уже с утра. Сожалительно толковали про поимку Тэмура на базаре, шепотом передавали друг другу, что не все царевичи убиты, кто-то спасся в степи и вскоре воротится с войском...

Алексий на своем подворье узнал о новом преступлении Бердибека от вездесущего Станяты, а потом от ключника, а потом стали приходить и рассказывать, живописуя подробности, все подряд.

Приезжали знакомые беки, качая головами, сказывали, засматривали в глаза Алексию. Русичей в этот день на базаре даром угощали халвой. Нежданным образом последние события очень повысили авторитет русского митрополита. И потому ярлык, освобождающий русскую церковь от поборов, был выдан ему незамедлительно (и составлен, как и предсказывал Товлубий, Муалбугой — доверенным лицом Тайдулы). Была приложена к ярлыку и ханская печать вместе с заверениями, что хан не отберет великого княжения у Ивана Иваныча Красного и не отдаст его никому другому. Возможно, опомнившийся Бердибек решил теперь продолжить политику отца, чтобы усидеть на престоле.

В степи было неспокойно. В виду Сарая разъезжали массы чьих-то вооруженных всадников, и только ради того, чтобы скорее добраться домой, Алексий решился все-таки ехать посуху. (Что едва не кончилось трагедией, так как в двух днях пути от Сарая поезд владыки был задержан. Пришлось просидеть несколько дней, находясь меж жизнью и смертью, и потерять много добра, расхищенного да так и не возвращенного татарами.)

Дальше ехали осторожно вплоть до рязанских пределов и только тут уже вздохнули свободно, когда узрели первые русские лица, услышали первый благовест русского храма и почуяли наконец, что ордынский кошмар остался далеко позади.

Наступили холода. Ветер обрывал последние листья с деревьев, рощи стояли голые, приготовленные к зиме, и воздух был холоден, свеж и чист, и казалось, верилось, что тут, на Руси, не может быть никогда и в будущем даже ничего подобного тому, что сотворилось в Орде у них на глазах.

Они сидели в боярском доме недалеко от Переяславля-Рязанского. Хлебосольный хозяин предоставил митрополиту и его спутникам все свои хоромы, а сам с семьею убрался на эти два дня в летнюю клеть. Русичам истопили баню, кормили до отвала. Алексий согласился задержаться здесь ради измученных спутников и обезножевших коней. И сейчас сидел в верхней горнице, подписывая грамоты, которые передавал ему Станята.

Свет, падавший из небольшого, затянутого пузырем окна на лицо Алексия, подчеркивал обострившиеся морщины чела, опущенные плечи, легкое дрожание руки, когда он, держа ее на весу, читал грамоту. Тут только и увидел Станята, как безмерно устал Алексий в Орде. Он и сам не мог избавиться о сю пору от ужаса, хотя и не видел зарезанных царевичей своими глазами.

Алексий явно сейчас не читал, глаза его были устремлены куда-то мимо строк, и потому Станята решился высказать вслух то, что думал:

— Нажили мы себе нового хана! Поди, станет пострашнее Узбека!

Алексий вздохнул, опустил грамоту, ответил устало:

— Бердибек долго не просидит!

Станята подумал (разговоры на ордынском базаре пришли ему в ум) и понял, что владыка прав.

— Кто же будет заместо ево? — вопросил.

— Не ведаю, Леонтий! — отозвался Алексий, кладя ладони на стол и глядя прямо перед собою. — Не ведаю!

— Може... и вовсе... — начал было Станята, но Алексий понял его до слов, покачал головою:

— Русь еще не готова к взлету! Нам доселева надобна Орда! Посему и жаль, что Джанибек убит! — Он расправил плечи, твердо взглянул на Станяту.

И тот, хоть и нелюбо было выслушивать, что Орда нужна для Руси, опять в душе согласился с наставником. Нету на Руси покамест сильной единой власти, нету даже князя, способного стать новым Михайлой Тверским или Калитой. И сколько-то лет, лет пять-шесть, просидит в Орде этот... — даже мысленно не хотелось называть Бердибека по имени.

Впрочем, ошибались оба. Новый хан не просидел на престоле и двух лет. А там пошла чехарда убийств и смены властителей, все передрались со всеми, и возникло то самое, что современники называли великою замятней, когда на Руси порою уже и не ведали, какой нынче хан сидит на престоле в Сарае...

И все это предстояло увидеть и во всем этом участвовать, не выпуская из рук кормила русского корабля, смертно усталому человеку, сидящему теперь за простым дубовым столом в припутной рязанской хоромине хлебосольного русского боярина, даже и имени которого не запомнит никто через несколько недолгих лет. Все это увидеть, и устоять, и выстоять, и вывести судно своей страны из бурных узкостей мелких усобиц на широкий простор грядущего государственного величия.

— Мне сказывали бесермены-купцы, единый из них, из далекой какой-то страны — не из Египта ли часом? — про ихнего книгочея одного. Ибн-Халдуном зовут. Так вот он как толкует? Один, вишь, строит государство, создает, другой заканчивает, а третий разрушает. Ежели с Узбека начать, дак Бердибек и должен все ихнее царство изничтожить! И в кажном дели так: подъем, после упрочение вроде, а после того — упадок. Дак вот, владыко, чего у татар ноне: упадок уже подошел?

— Думаю, нет еще. Да и начинать ежели, дак не с Узбека, а с Чингисхана! А впрочем, как знать! Много намешано в Орде разного народу! Ослабнет власть, и учнут они друг друга резать тогда.

— А мы, русичи?

— А мы еще не перестали друг друга резать! — с просквозившею горечью отмолвил Алексий. — Доколе поймем... Я, Леонтий, весь труд свой прилагаю к тому, дабы люди нащи почуяли себя братьями во Христе, и совокупить их под единою властью! И чтобы такого вот... — добавил он с легкою заминкой, — не было на Руси. Никогда!

Оба подумали про убийство Хвоста, и оба ничего не сказали вслух. Только Алексий вымолвил погодя:

— Не хуже они нас и не лучше! Нет в мире плохих и хороших! Только с одними нам можно жить, а с другими — нельзя.

— С латинами нельзя? — подсказывает Станята.

— И с мусульманами не станет льзя, — возражает Алексий, — ежели они захотят изничтожить всех христиан!

— Сами себя уничтожат! — произносит Станята, еще и не ведая, насколько он прав.

— Не себя, Орду! — поправляет Алексий. — Уничтожат мунгальскую власть, а без единого стержня, без власти единой, все и распадет на улусы и начнется война. Бают, в Хорезме уже началась, в Катае тоже, а там и до Сарая дойдет.

— А нам с има как же тогда? — вопрошает Станята.

— Не с ними и не с католиками надо быть, а с самими собой! И ежели сего не поймем — погибнем!

— Верно, владыко! — вздыхает Станька, поглядывая на Алексия, который уже преодолел силою воли краткий миг усталости и вновь окреп и статью и голосом.

— Ну их всех в ведьмин мох! Я поездил с тобою, поглядел на греков и на фрягов, и в Новом Городи у нас с жиру лопаются, а чуть что, Литву зовут на помочь! И Орда... Тоже и у их теперь замятня настает... Должно нам, русичам, быти с самими собой! Выстанем? — вопрошает он с надеждою, заглядывая в лицо наставнику.

— Выстанем, Леонтий! — твердо отвечает митрополит. — Молюсь и верую! Аще Господь за нас, кто на ны?

Алексий недаром рассылал грамоты с пути. Филипповым постом, когда землю скрепило морозом, а рождественские снега еще не содеяли непроходными пути, рати из Волока Ламского и Можая вместе с тверской помочью, посланной Василием Кашинским, вышли в поход. Под Ржевою всем полкам приказано было быть в один и тот же день.

Вразумленные Алексием бояре уже не медлили и не ссылались один на другого. По стылым дорогам со звонко лопающимся ледком над пустыми, вымороженными до дна лужами пошли на рысях конные рати.

Никита, едва успевший окончить свои хоромы, отправлялся тоже на войну.

Сруб поставили еще весной, но из-за легких работ — пахоты, покоса и жатвы — со всем прочим сильно задержали и уже осенью крыли свежею соломою кровлю по жердяным обрешетинам, настилали полы из целых, обтесанных только с одной стороны полубревен (главное отличие господского дома от крестьянских, в коих тут почасту полы в избе оставляли попросту земляные), мастерили сени, клали обширную русскую печь и устраивали светелку для боярыни.

Уже и пара коров стояла рядом с конем и купленным на днях стригуном-жеребенком во дворе, и овцы грудились в загоне, и Наталья со вздернутым животом (вот-вот родить) сама мутовкою сбивала масло, поглядывая на мужа, который вместе с плотниками довершал хоромину, в то время как девка то мыла полы, то моталась из горницы в хлев, и уже яснело, что без холопа, хоть какого, им не обойтись.

Кормы из деревни теперь частью возили митрополичьему ключнику, и мужики, которые, в общем, выиграли от последних перемен, ибо под митрополичьим крылом избавились от многих княжеских повинностей, были довольны. На Никиту поглядывали с прищуром, догадывая, что дело не так-то чисто и в чем-то их барин крупно проворовался, раз под митрополита забрали, но в глаза Никите не говорили ничего.

Приказ Никите прибыть в Москву привез послушник, посланный селецким волостелем, и ехать надо было, не стряпая, вместе с ним.

Когда подъезжали к Москве, у Никиты невесть с чего сильно забилось сердце. Снова возник дорогой Кремник на горе, где столько было пережито и прожито, столько вложено сил и труда, что уже, почитай, приросло к самому сердцу. Захотелось переведать друзей, поклонить матери, зайти по-старому на вельяминовский двор... Плохо знал еще Никита деловую хватку и строгость своего нового хозяина. Им удалось лишь мельком увидать Алексия, получить грамоты, поесть, пока готовили сменных коней, и, никого не видавши и нигде не застревая, скакать в Можай. Живо уразумев, какова тут служба, Никита не стал ни к брату заезжать дорогою, ни нежиться в постелях, а в тот же день, почти загнав коня, доскакал до Звенигорода, где коротко передохнули в монастырских стенах, и еще до света, пересевши с седла на седло, скакали в Рузу.

Над темною дорогой постепенно яснела, разгораясь, желтая зимняя заря, клубились тучи, не желая пропускать скудный солнечный свет, изредка шел снег да глухо гудела под коваными копытами твердая дорога, по которой, судя по следам, уже прошла вчера на Можай не одна сотня всадников.

За Рузою начали нагонять обозы, отдельных неудалых комонных, повредивших ноги коню и потому ехавших шагом. Солнце раза два косо выглядывало из-за поспешных волокнистых облаков и пряталось вновь. Птицы подымались стаями с теплого конского помета, с криком и карканьем кружили над головою. Шли, переходя с рыси на скок, и владычный послушник, не сказавший и двух слов дорогою, все так же скакал, не отставая от Никиты ни на шаг. К вечеру, не умеряя сумасшедшей конской прыти, они ворвались в Можай, людный, переполненный ратными.

Никита хотел было озреться, поспрошать, но послушник так же молча повел его за собой, и скоро они вручали владычные грамоты воеводе, и тот читал, зорко взглядывая на вестоношей и шевеля губами, а после, загибая толстые пальцы, молча высчитывал что-то и, окончательно решив и кивнув головой, почти что рысью убежал раздавать приказания.

Ели они в каком-то поповском доме строго постное (спутник Никиты наотрез отказался от предложенного было им как кметям, находящимся в дороге, куска холодной телятины, и Никита последовал его примеру), спали тут же, на сеновале, под попонами, встали опять чуть свет и тут только разделились, ибо послушник скакал назад, в Москву, а Никите, как явствовало из митрополичьей грамоты, следовало присоединиться к войску и скакать всугон полку, выступившему в путь еще вчера вечером.

Никита, ошибясь раз-другой и приставая не к тем, к кому надобно, все же догнал свой полк под самою уже Ржевой, представился воеводе, и тот, покивав и расспросив ратника о прежней службе, поставил Никиту старшим над десятком кметей, с коими Никита и перезнакомился тотчас и переночевал вместях в припутной избе, и уже, хоть народ был незнакомый, не свой, стало привычней и способнее сразу.

Ржева показалась из утра, на втором часу пути, и, оглядывая со взлобка из-под ладони, Никита узрел вдали выкатывающую из леса иную рать — это подходили не то волочане, не то тверичи. И уже когда был отдан приказ рассыпаться широкою лавой и вдали запоказывались литовские редкие разъезды, Никита, кучнее собравши своих, указал вперед и с облегчающей радостью освобождения от всей той липкой паутины, что оплела и держала его со дня убийства Хвоста, вырвал из ножен саблю и, завопивши: «А-а-а-а! Хур-ра-а-а!» — ринул вперед.

Холодный чистый морозный ветер, в котором витал еще незримо призвук осени, бил ему в лицо; конь, понуждаемый стременами со шпорами, шел наметом, и ширила радость в груди, и близили литовские всадники, которые начали загодя, не принявши боя, заворачивать своих коней.

В крепости заполошно вызванивали набат, над стенами посверкивало. Свистнув и рукой поманив своих, Никита в опор помчал к воротам, около которых суетилась, закрывая их, небольшая ватага вражеских воинов. Он оглянул назад: растягиваясь по полю, за ним скакали всего шесть воинов, остальные заворотили к главному войску. Там вспыхивали начищенные зерцала воевод, шевелились стяги.

— Дурни! — выругался Никита, проскакивая крайние избы посада. Нежданно перед ним вынырнул из проулка и тотчас поворотил к воротам вражеский всадник. Наддав, Никита нагнал его и, изогнувшись кошкою на седле, с потягом рубанул — литвина ли, русича — вкось по незащищенной спине. Тот вздернул поводьями коня почти на дыбы и начал заваливать вбок. Никита промчал мимо и вновь оглянул. В улице за ним скакали четверо ратников с бледными от страха лицами. Ежели и эти повернут — беда!

Он, не доскакивая ворот — дуром соваться одному против двадцати, тридцати ли! — ринул вбок, высматривая в сплошной городне хоть какой прогал, и высмотрел-таки не то калитку, не то лаз, куда не проехать с конем, и, дождав своих, кинул, определив на глаз, самому непровороому:

— Держи коней, разява, остальные — за мной!

Тут уж оглядывать не стоило. Скативши с седла, он взбежал по угору и сунулся в низкую отверстую дверцу, откуда ему навстречу тотчас выскочило копье, мало не задев Никиту по носу. Он схватил рукою за древко и дернул к себе изо всех сил. Воин, не сожидавший такого, упал на колени и выронил копье. Никита ткнул саблей под горло, почуявши хруст плоти, понял, что угадал, и, перескочив через поверженного, оказался внутри крепости. Трое ратных очутились почти одновременно рядом с ним. На бледных лицах горел восторг нежданной удачи.

— Не робеть! — строго бросил Никита и, озрясь, кинулся по лесенке вверх. Грудью сшиб второго, даже не разобравши лица, плашью оглоушив саблею, как ослопом, отбил в сторону третьего и оказался на заборолах. Трое лезли за ним, сопя, уставя рогатины, готовые теперь уже резать и драться.

Никита мгновенно оценил сметку ребят, подобравших брошенное врагами оружие, но раздумывать было некогда — жизнь решилась в секунды, потому что на заборолах тотчас на них накинулись и началась свалка. Воин в броне, боярин, видно, высокий и широкий в плечах, медведем пошел на Никиту, уставя широкое лезвие рогатины. Никита, отскакивая, рвал лук со спины и в отчаянии швырнул саблю в ноги противнику. Тот споткнулся, и это решило дело. Никита успел вырвать лук, наложить стрелу и, почти касаясь уже брюхом лезвия рогатины, натянувши тетиву по-татарски до уха, выстрелил в литвина. Пущенная почти в упор стрела пробила броню. Литвин тяжело рухнул на колени, а рогатина его, проскрежетав по Никитиной броне, порвала ему порты и оцарапала ногу. Безоружный Никита, чуя свалку за своею спиной, с отчаянной удалью ринул вперед, и слуги литвина вспятили, утерявши с господином уверенность свою. Никита, изогнувшись, подхватил саблю и пошел, крестя ею, вперед, а холопы — один сиганул вниз со стены и побежал кудато, прикрывая голову, другой же рухнул на колени и поднял руки, сдаваясь.

— Сиди! — страшно крикнул ему Никита и оборотил назад, где двое его ратников — третий уже был убит — пятили, отбиваясь от десятка вражеских кметей, которые только потому еще не расправились с ними и с Никитою, что отчаянно мешали друг другу в узости стены.

Мельком увидав сквозь заборола, что свои уже подступают к стенам, Никита подхватил булаву поверженного им воина и, раскрутив ее, ринул в кучу нападающих. Кмети прянули назад, и Никита, воспользовавшись этим, высунулся в отверстие заборола, рискуя погибнуть от своих же стрел, и заорал, срывая голос и размахивая сорванным с литвина корзном:

— Сюда! Дружья-товарищи! Выручай! Ко мне!

В это время был убит второй Никитин ратник, а оставший в живых бешено отбивался обломком рогатины. По-видимому, его услыхали или увидели лошадей невдали от вала. Несколько воинов устремились к оставшейся открытою калитке, и скоро лестница загудела под многими ногами. Никита со вторым ратником, оба раненные, чудом оставшиеся в живых и притиснутые к стене, разом прянули на врагов, а те начали прыгать с заборол внутрь крепости, уже не помышляя о сражении.

Никита едва успел ухватить за шиворот своего пленного: «К-куда, паскуда?!» Тот трясся весь, ожидая удара саблей. Но Никита твердо знал, что нужно ему: когда-то из той же Ржевы его отец привел домой двух полоняников, и потому никак не хотел убивать сдавшегося кметя.

Запаренный, в клокастой развихренной бороде, явился полковой боярин. В открытую калитку внизу уже валом валили воины. Крикнул: «Хвалю!» — и, вполглаза оглядевши пленника, кивнул головою, мол, веди в кучу. Никита свел брови, шагнул вперед. Кровь текла у него по платью, толчками выходя из пропоротого плеча.

— Дозволь, боярин! Ворота захватил, удержал! Дозволь! Добыча моя! Митрополич я ключник! (Приврал для острастки боярина.)

— Ну... — Тот глянул смуро, но, подумав миг, рукою махнул: — «Бери, жалую!» — и побежал по стене.

Уже открывали ворота. Никита, ругаясь, тянул с себя броню. Пленнику велел порвать рубаху и перетянуть рану. В голове звенело от потери крови. «Только бы не упасть!» — подумал. С трудом вновь натянул кольчугу. Перевязали раненого кметя, сняли броню и оружие с убитого литвина. Втроем, держась друг за друга, сползли со стены.

Тот ратник, которому были поручены кони, так и стоял в поле и обрадовал живому Никите изо всех сил. Никита вскарабкался на коня, полонянику велел сесть на поводного, подсадили раненого. Кметю, что сторожил коней, Никита велел теперь вынести мертвых товарищей и привязать к седлам. Ратник робел, но беспрекословно пошел исполнять приказание. Подъехали, низя глаза, двое отставших. Те четверо, что кинули Никиту в самом начале, так и не явились к нему. Принесли своих мертвецов. Теперь Никита оставил в поле прежнего ратника вместе с раненым и своим холопом — стеречь добро и трупы, — а с двумя отставшими устремил сквозь отверстые ворота в город.

Бой кончался. Литвы была горсть. Ратники, большею частью русичи из Полесья, бросали оружие. Пленных литвинов, отобрав брони, согласно приказу освободили и выслали вон. Холопов-полоняников разобрали воеводы, и Никите много стоило отбить своего пленника, спасти захваченную броню и увести коня с пораненною спиною, почему на него не очень обзаривались полковые воеводы.

Три дня укрепляли город. Никита все три дня провалялся на соломе, борясь с подступающею горячкою. Ратники, спаянные стыдом и ратным делом, охраняли своего старшого. Холоп поил его водой, ухаживал. (Потеряв одного господина и получив другого, он, в сущности, ничего не проиграл, тем паче и сам был не литвином, а русичем.)

Наконец, утвердив город, тронули в обратный путь. Боярин велел было ему бросить трупы ратников, от которых уже нехорошо попахивало, но Никита угрюмо ответил, что довезет до дому, и боярин махнул рукой. Мертвецов увязали в попоны, приторочили к коням, благо стоял холод. Так и везли. В полубреду проходила дорога, в полубреду явилась Москва, где он распростился с ратными, расцеловавшись крест-накрест с раненым товарищем, с которым стояли насмерть на заборолах.

Еще он явился на митрополичий двор, по дороге встретив Матвея Дыхно и попросив того постеречь коня и полоняника, и уже на митрополичьем дворе, сказывая ключнику, какое сотворилось дело, потерял сознание.

Никите сильно повезло, ибо лечил его сам Алексий. От раны воина шел уже трупный дух, загнивало мясо, и жар с бредом трепал Никиту несколько дней.

Очнулся он в монастырской больнице. У постели его сидел старый монах и шептал молитвы, перебирая четки.

— Оклемал, брат? — участливо спросил он Никиту, видя, что тот моргает, щурясь на огонь свечи, и глядит осмысленным взглядом.

Оказалось, что, пока он лежал, многое совершилось на Москве. Князь Иван Иваныч поехал в Орду за ярлыком к новому хану. Туда же поехали и иные князья. Туда же устремил и Василий Кашинский, и туда же поскакал Всеволод, вновь кровно изобиженный дядей. Всеволода, слышно, задержали по приказу митрополита на Переяславле, и он теперь уехал в Сарай через Литву. А на Москве ныне сидит ордынский посол Иткара, собирающий серебро для нового хана — «запрос царев».

Никита покивал. Голову кружило от слабости. Теперь, вспоминая Ржеву, он уже не понимал, как мог выдержать, раненный, несколько дней да еще добраться до Москвы.

— Матка твоя приходила! Да в монастырь не пустили ее! — сообщил монах.

— А Матвей? — вопросил Никита.

— Приятель твой? Из княжьих ратных? Был, как же! Сидел у тебя, да ты, паря, не узнавал никого. Сам владыка изволил к тебе быть, гордись! По ево указу и я здесь... Ну-ко, пошевели рукою, работает?

Никита с трудом, вызвавши боль во всем плече и предплечье, чуть-чуть свел и развел пальцы.

— Ну! — удоволенно произнес монах. — Счастлив ты, я гляжу, парень!

Еще через неделю Никита сумел встать на ноги и, шатаясь, как осина от ветра, выйти во двор. Силы начинали возвращаться к нему. В ближайшие дни он побывал у матери, у Матвея Дыхно, поглядел, как добытый им холоп колет дрова, покивал, услышав, что добытая броня, конь и оружие целы.

Приезжал Услюм, вызвался отвезти Никиту домой на санях. Никита, подумав, отверг. Не хотелось тревожить Наталью прежде времени. (Он не знал, что ей уже сообщено и теперь она ждет не дождется его к дому.)

Единожды его вызвали к митрополиту. Алексий, одержимый многими заботами, а главным образом теперь поведением князя Всеволода (он изо всех сил сдерживал возрождение Твери и дома Александра Тверского, преступая уже давно многие моральные нормы, что было порою тяжко ему самому), все-таки нашел время поговорить с Никитою.

Оглядев исхудалого, обросшего и даже чуточку поседевшего ратника, он предложил ему сесть, выслушал, кивая, рассказ о взятии Ржевы, о чем ведал много лучше самого Никиты, остро глянул в глаза кметя, вопросил вдруг:

— Ну вот, ни Алексея Петровича, ни Василия Василича нет на Москве. Ржеву взяли? Ну, а были бы они оба — взяли бы? — Никита потерянно кивнул. — Понял теперь, что неправо сотворил и господней кары достоин? Понял? Ступай! Жена ждет тебя, не медли в Москве. И ведай: еще не выкупил ты долга своего перед Господом и совестью своею!

Они ехали вдвоем с холопом, коего звали Сенька Влазень. У Никиты кружилась голова и болели глаза от отвычной сияющей белизны снегов. Рождество уже минуло, пока он лежал без памяти, окончились Святки, и теперь стояла вокруг уютная пушистая зима, в которую, будь он здоров, весело думать о санках, катулях, снежных городках, о бешеной конской гоньбе, о свадьбах на Масляной...

Курились розовыми дымками деревни. Неразличимая пелена снегов одела, сровняв, озера, луга и поля. И небосвод был лилово-сер и мягок, как бывает только зимой. Ночевали в дороге, спали вместе под одним рядном.

К своему дому Никита подъезжал невестимо. Не брехнул пес, не замычала корова. Кинув поводья холопу и указав на ворота хлева: «Заводи!» — Никита отворил двери, другие и ступил за порог. Наталья встала ему навстречу и заплакала. Потом обняла, привалясь к нему мягкою большою грудью, принялась целовать. В люльке лежал ребенок.

— Сын! — сказала она и заплакала вновь.

— А я холопа привез! — ответил Никита, чтобы что-нито сказать, и, робея, подошел к колыбели.

Девка засунула нос в горницу, суетясь и расплываясь в улыбке.

— Сенькой его зовут! — бросил Никита, понявши сразу, чем так озабочена она, что даже не поздоровалась с хозяином. — Коней уберет, созови ко столу! — И уселся на лавку.

Наталья вытерла глаза, бережно подняла малыша, поднесла Никите. Сказала с мягкою любовною укоризной:

— Да ты хоть посмотри на него погоднее, дурной!

Подняться с места непросто и крестьянину. Да! Никто не держит! Не вправе держать. И подумать, помыслить о том, чтобы вправе, чтобы с насилием держать человека, ежели он захочет уехать в иную волость, — даже и помыслить о том не могли в четырнадцатом столетии на Руси (и в пятнадцатом столетии, и в шестнадцатом... До Юрьева дня и до его

отмены еще ой-ей-ей как далеко!). Но порушить жизнь, бросить какие ни на есть хоромы, знакомую землю, пашню, взоранную трудами собственных рук, речку, рощу, те вон перелески, где по осени ночуют твои коровы, этот вот камень, на котором куешь, когда придет нужда, и тот вон рябиновый куст, и те березы, и этот озор вдоль реки на дальние дали, которые, и очи смежив, все одно представляешь себе. А соседи, а ближники? Ну, положим, когда уходят, стало — плохо и с соседями, и ближние вроде не свои, и боярин, а пуще ключник его новый плохи совсем, али татары зорят, али иное что... Но рябиновый куст, по осени увешанный яркими гроздьями! Но это вот сиреневое небо в прогале лесов! И кажет мгновением, что иного такого и нету уже на земле...

Непросто подыматься с места даже и мужику!

Куда как сложнее — боярину. Хоть и есть у боярина — как у мужика воля — право отъезда от князя своего. Право есть! Тоже еще, почитай, век-полтора права того не порушит никто из князей. Держат, конечно, всяко держат! И опаляются, и гонят, и друг с другом ряд заключат, дабы убеглых бояринов не принимать... И все же на само право отъезда покамест руки никто из князей не подымал.

Но и как отъехать? Те же пашни и пожни у боярина, и он рос здесь и здесь играл с парнями и девками в горелки и лапту, здесь удил рыбу, разорял вороньи гнезда и охотился. И ему неотрывно от сердца все сие, и он человек!

Но и боле того! Боярин служит по роду, по дедам-прадедам. По ним, по чести родовой, ему и место в думе княжой, и кормы, и звания, и почет от иных надлежат. И твердо знает, выше кого сидит и ниже кого и на что имеет право и он и сыны его в свой черед, аще не прекратится род, пресекшись по умертвии мужеского потомства, ну и другое — ежели опалится князь, отберет волости... Да и то! Отберет, допустим, дак свои дружья, родичи-ближники умолят, упросят, не самого, дак княгиню, а она в постели мужу напомнит, жить не дадут, и, глядишь, помилует князь, возвернет и волости, и место в думе родовое, дедово, и честь. Так то дома! А в отъезд? Примут ли тебя? За кем и перед кем посадят? Наделят ли землею, и как, и какой? И сохранишь ли ты среди иных думцев, иных бояр и иных честей свою прежнюю честь и власть и волости свои? Тут-то как бы и не пришло, по старой говорке, переобуться из сапогов в лапти!

И вот почему, невзирая на право отъезда, служили отец, сын, внук, правнук — ежели не вмешивалась лихая судьба — все одному и тому же роду княжому, все в том же княжестве и на тех же прадедам жалованных волостях.

Пока Василий Вельяминов тайно, в ночь, выезжал из Москвы, берегучись в пути, вел свой обоз по весенним талым дорогам к рязанскому рубежу, плутал в болотах, морил коней, выбиваясь на кручи окского обережья, рискуя жизнью, переводил возы с добром и лопотью, скот, ратных, детей и женщин через синюю, готовую тронуться Оку, пока все это творилось и неясно было, останут ли и в живых, доберутся ли целыми до Переяславля-Рязанского, ни о чем ином, кроме как о спасении, не мыслил и не загадывал себе великий боярин московский.

Иное началось после, когда, смертно усталый, оглядывал он спавших с лица сыновей, Ивана с Микулою, когда доставал из саней простуженного дорогою тестя Михайлу Лексаныча, когда ждали, когда представлялись молодому, задиристому даже и на вид князю Олегу Иванычу и тот, вздергивая едва опушенный юношеский подбородок, оглядывал и выслушивал московских бояринов, не скрывая спесивого удовольствия своего, — тут же Василь Василичу стало тоскливо, и даже так тоскливо — садись на коня и возвращайся назад. Тем паче, что и не в службу просились убеглые московские бояре, а просили права убежища, причем ни сел жалованных, ни мест в думе им и вовсе не полагалось никаких.

Почуялось, конечно, говоркою, что, попросись московский тысяцкий (почти тысяцкий!) в службу к Олегу, рязане то за честь себе почтут, и за немалую честь, но тогда и сел и вотчин придет лишити ся на Москве и уже не мыслить более о родовом, наследственном...

Детинец Переяславля-Рязанского стоял на круглом мысу, обведенном рекою так, что только узенький перешеек, перекопанный рвом, и соединял крепость с посадом. Держаться тут возможно было с сотнею лучников против тысячи. А дубовые рубленые городни по самому краю обрыва делали невозможным приступ к твердыне ниоткуда более, кроме главных ворот.

Кормили приезжих на дворе рязанского тысяцкого. Слуги и холопы ужинали на поварне. Рязанский великий боярин все приглядывался да присматривался к Василь Василичу, и не понять было, от себя али по указу князя Олега. Михал Лексаныча тут знали с егового нятья хорошо.

Рухнула весна, содеявши непроходными пути, а едва сошел снег, Василь Василич, коему выделили пустопорожнюю хоромину на посаде, которую холопам и послужильцам пришлось долго-таки мыть, чистить и приводить в божеский вид, послал сыновей с дружиною в помочь рязанским полкам за Проню отбивать очередной набег татарский. (Татары тут, мелкие беки ордынские, пакостничали кажен год, и на неясной, никем точно не проведенной границе великого княжества Рязанского творилась, почитай, рать без перерыву, утихшая было только во время Джанибекова правления, но с его смертью тотчас восставшая вновь.)

Теперь он ездил, как на службу, на княжой двор, а дома встречал отревоженные глаза супруги своей, Марьи Михайловны, которая все молилась и плакала, сожидая гибели сыновей или иной подобной беды; хмуро встречал неуверенно-угодливые взгляды прислуги, в коих читалось: рабы мы твои верные, конечно, а дале-то как? Гневал, отводил взор, каясь в душе, что сам не уехал на войну, легче было бы переживать свое бегство из Москвы и добровольный

илен рязанский, — сам ждал, волнуясь, возвращения сыновей...

Землю пахали взгоном, бросив на то всех лошадей и всю оставшую с ним мужскую силу. Махнув рукою на честь, боярин и сам пахал, показывая пример холопам, пахал остервенело, ворочаясь вечером с черным от устали лицом, и уже нравилось, и земля — земля была добра на Рязани! Начинал понимать, почто держатся так за нее, зубами, внадрыв, отбиваясь от татар и Москвы, теряя людей, отступая и вновь восставая упрямо. И ширь была — в полях, в широкошумных дубравах, в близком дыхании степи, чужой, враждебной, бескрайней, куда сильные поколениями уходили отсюда, слагая в степной непрестанной борьбе буйные головы свои.

Олег весною присматривался к нему. Раза два проблеснул греческим речением, нежданным среди грубых мордатых ратников, среди подбористых драчунов рязанских, обыкших скакать с утра до вечера и на всю жизнь, казалось, пропахших конским потом и запахом трав.

Олег, присматриваясь, явно звал его к себе и дал бы, быть может, и место в думе немалое, и села, и волости. И в мыслях о том скучнел Василь Василич, уже и на тестя поглядывал хмуро порой. Все то, что с трудами и болью десятилетиями заводилось и было завожено на Москве, здесь словно бы еще и не существовало (в Солотче он так и не побывал и с тамошними книгочеями не поимел дела). И казалось Вельяминову: перебраться сюда — и снова Русь зачинать придет от первых времен, от землянок Киевщины и шатров половецких! И — падала бы Москва, творился бы там разор и погибель, как в древнем Ростове, ветшало бы там и исшаивало, — и кинул, и перебрался, возможно, к этому молодому князю с соколиным взглядом умных глаз, к этим рязанским «удальцам и резвецам», как они сами себя называли, к этой щедрой земле, и полям, и дубравам... Кабы падала, кабы клонилась долу Москва! Но Москва, куда вложен был без остатка труд отца и деда, труд его молодости и зрелых лет, Москва звала, ждала, снилась ему ночами и никак не хотела отпускать от себя. Потому Вельяминов и замучивал себя работою, потому и пахал, и рубил хоромы, и чуял, что со всем этим в него вливает нечто такое, чего он не ведал допрежь и понимания чего ему очень и очень недоставало в его предыдущей жизни...

Дети воротились, уже когда была взорана и засеяна пашня. Обдутые ветром, загорелые. Микула был легко ранен в бедро, Ивана татарская стрела задела по лицу, оставя след на скуле. И оба без конца рассказывали о лихих сшибках со степняками, об удали рязанских воев, о каком-то Тюлюке, которого рязане разбили и даже взяли в полон. Перечисляли своих убитых ратников. Мать тихо крестилась, вечером плакала украдкою — не чаяла встретить сыновей живых.

И обидно было, что кмети гибнут и сражаются сыновья не за свое, московское, а за рязанское дело, хоть и против татар, к которым тут вовсе не скрывали вражды, но которые и сами зато вели себя на Рязанщине, словно в только что завоеванной волости.

Цвели травы, текли облака, колосились хлеба под солнцем. Замучивая себя бешеной конской скачью, Василий Василич думал и думал. Слухачи его уже не раз наведывались в Москву, передавали, что шум и смуты утихли, что Вельяминова жалеют теперь, а город живет без тысяцкого и что многие уже толкуют по теремам и в торгу, что, мол, Василию Вельяминову надлежало бы не сидеть на Рязани, а вослед отцу и деду началовать городом.

До осени сыновья еще дважды отъезжали отражать татар. Бердибек никак не мог наладить мира в своем улусе, слушались его плохо, кровь убитых отца и братьев слишком тяготела на нем.

Сверх того, наместников Бердибековых, уж неясно, за какие грехи, скоро погнали из Аррана и из Азербайджана. Сил у нового хана воротить захваченные земли не было, и так этот богатый, людный, торговый и всем изобильный край был вновь и уже навсегда потерян для золотоордынского престола.

К осени, прослышав, что русские князья и Иван Иваныч с ними собираются в Орду, к новому хану, подтверждать ярлыки, Василь Василич решился. Он уже не бегал, как зверь, по горнице, сидел, думал. И в лице его сквозь всегдашнюю ярость взора, сведенных скул и жестокого трепета крыльев вырезного носа проступало нежданное для него и неведомое ему доднесь смятение чувств, родственное духовному просветлению.

Он оглядывал низкий жердевой накат потолка, покрытый лохматою сажею, груботесаные стены до полиц-отсыпок; выше хоромина была сложена из круглого, на абы как; вспоминая эти их легкие, словно сараи, избы, плетни и плетневые стаи, тонущие в бело-розовой кипени садов, эти ходкие телеги с высокими краями, в которые, едва беда, покидавши детей и скудные пожитки и гоня перед собою приученную к тому скотину, смерды устремляли в бег под спасительную сень лесов, забиваясь в осек, в чащобу, куда не пробиться и с конем, заваливая дорогу за собою подрубленными деревьями и там пережидая ратную беду, весь этот по необходимости грубый быт, по горькой необходимости кочевой и военной жизни излиха податливых баб и девок, с дитями, прижитыми зачастую от проезжего ратника, эту быструю ярость сшибок и уличных драк и лихую — лихую прежде всего, — отчаянную удаль рязанских ратников, вспоминая все это и сравнивая со своим, московским, Василь Василич качал головою, со стыдом уже понимая, сколь прав был владыка Алексий и не прав он и как он не может, не должен допустить себя до того, чтобы остаться здесь и так же, как и они, огрубеть и видеть, как грубеют сыны, как забывается грамота, уходит книжная мудрость, как остается одно лишь — конные схватки, да гульба, да вечное кочевье, вечное, потому что конца татарским наездам и погромам было еще и вовсе не видать...

Он вставал, тяжелыми шагами проходил в холодную клеть, где встречал своего попа, с подручным разбирающего намокшие еще по весне, во время пути, тяжелые книги. И поп подымал на Вельяминова

обрезанный взор, молча казал страницу с расплывшейся от воды киноварною заставкою, показывал пятна плесени на обрезах книг и волнисто вспухшие, обтянутые кожею «доски» переплетов, и в молчаливой укоризне священнослужителя было то же самое, что и у него самого в душе. Проходил в челядню, где девки и сама боярыня ткали холст. Дружина обтрепалась, и куда уж было тут воздуха вышивать иноземными шелками да золотом! Впору успеть изготовить портна на обиходную одежу для ратных и челяди. Щелкали набилки, стояла деловая суета, и не было уже, как в старой вельяминовской девичьей, где за неслышным вышиванием читали вслух старинные повести «Акира», «Девгениевы деяния», «Александрию» или Жития святых.

Василь Василич выходил на двор, глядел подолгу то туда, вдоль улиц, где над кровлями высили церковные верха княжого детинца и шатры рубленой дубовой стены, то взглядывал, оборачиваясь, назад, где за невысокою насыпью, за тыном из заостренных бревен уходили вдаль поля и леса... Острог явно не мыслили долго защищать от неприятеля, только на то и годилась городовая стена, чтобы дать время посадским со скарбом и детьми перебежать в детинец, разрушив за собою мосты, и уже там отсиживаться или же бежать через реку в заокские боры и непроходимые мхи Мещеры. «Ежели которого сына и убьют тут, на Рязани, — думал он, — то будет мне наказание от Господа!»

Осенью сжали хлеб, нежданно густой и обильный. Перекрыли новою соломою кровли в боярских хоромах, молодечной и челядне. И как только с полевыми работами было покончено, заслышав, что владимирские князья уже выехали на Низ, Василь Василич, сложив все дела на жену и ключника, со старшим сыном Иваном устремил в Орду.

Преступление совершить гораздо легче, чем измерить его реальные последствия. И ежели бы каждый преступник заранее ведал о том, что произойдет, то число преступлений убавилось бы очень значительно.

Степь уже не подчинялась Бердибеку. Собрать войско, дабы вернуть Арран, об этом он и подумать уже не смел. Не смел подумать теперь даже о том, чтобы покинуть Сарай хотя на какое малое время.

Да, его провозгласили ханом. Да, он судил и правил, казнил непокорных, и текло вино, и рабыни ложились у ног, и был обманчивый блеск, и вот теперь потянулись к нему наконец за ярлыками урусутские князья, еще не очень веря, что можно безопасно проехать в Сарай мимо едва укрощенных степных эмиров. И все равно это была уже не власть. Призрак власти. Ее тень, навычай, оставший пока со времен Джанибековых, но готовый сломаться враз, как тонкий весенний лед от первого движения вод, от первого дуновения ветра.

За протекшие месяцы Бердибек растерял всю свою спесь, и урусутские князья с их устойчивою серебряной данью были ему теперь яко спасители.

Он принял Ивана Иваныча, согласился на все, чего хотели и требовали его бояре, подписал ярлыки, принял Василия Кашинского и его обласкал, по подсказке тех же москвичей. Принял веское тверское серебро и без суда, без разбора дела, безо всякого заведенного при отце и уже ставшего привычным законоговорения и порядка приказал схватить князя Всеволода с его боярами, когда тот кружным путем, через Литву, прибыл наконец в Сарай, и, подержавши некое время для острастки, выдал головой дяде, Василию Кашинскому.

Летом Всеволод был приведен в Тверь, подвергнут «томлению многому» и сам, и бояре его, и даже смерды, ставшие за Александрова сына... И все это творилось, когда уже и Бердибек, коему оставалось править меньше году, потерял власть, как потом и жизнь, уступив их самозванцу Кульпе, которому только и стоило назваться сыном Джанибековым, чтобы сокрушить непрочный трон отцеубийцы, воздвигнутый на братней крови. И хотя понималось при этом, что Джанибеку отмстилось давнее преступление братоубийства, но отмщение одному никак не обеляет еще преступника-отмстителя.

Все это было еще впереди, но всем этим уже веяло в Орде, уже витала над кирпичными, в седом зимнем инее дворцами Сарая грядущая злая судьба, и потому был так резок и жгуч морозный ветер, осторожны и уклончивы беки, тревожны купцы, потому и трупы замерзнувших нищих не убирались вовремя с долгих улиц, из которых, казалось, само время, превращенное в ветер, выдувало былую гордую уверенность ханской столицы.

Иван Иваныч ежился, отогреваясь у печки после изнурительных ханских приемов в плохо отапливаемых кирпичных палатах, отходил телом и душой. Нынешнее путешествие в Орду, и зимнюю дорогу, и обжигающий степной ветер, и этого нового хана, жестокого убийцу своего отца, выносил он без возмущения и гнева, как то, что надобно обязательно претерпеть, дабы воротиться домой, к уютным хоромам в Кремнике, к изразчатой печке, к Шуре, что и поругает, и успокоит, и приголубит и с которой так уютно и хорошо!

Без него там, дома, отбивали Ржеву, и Алексий доносил, что все хорошо, что Ржева отобрана, а литва выслана вон. И оттого, что война совершилась без него и без его участия благополучно окончена, Иван Иваныч был паки и паки благодарен своему печальнику, молитвеннику и — что скрывать! — правителю княжества, владыке Алексию. И то, что они, князь и митрополит, как бы поменялись местами, очень и очень устраивало Ивана Иваныча.

Он сидел на краю невысокой русской печки на своем подворье, свесив ноги в вязаных носках и упершись руками в горячие кирпичи. Спину приятно обдавало волною печного жара. Сидел, полузакрывши глаза, чуть поникнув плечами, сидел, наслаждаясь теплом и страшась всего: голосистых молодых бояр, что сейчас взойдут, румяные с мороза, и учнут его теребить и куда-нито снова потащат; страшась жестокого хана, который в борьбе за власть решился на то, на что он, Иван Иваныч, не решился бы никогда,

даже и понуждаемый всеми боярами (не дай бог в самом деле когда-нито на Москве увидеть такое!); страшась этого чужого ханского города и страшась долгой и трудной дороги домой... В нем что-то надламывалось, почти надломилось уже, почему он и скоро умер от пустячной болести, от коей в его годы и умирать-то иному было бы в стыд! А попросту — видно, больше не мог. Не мог быть не на своем месте, не мог выносить стремительного хода эпохи, взлета страны к деянию и деяния самого — самой грядущей судьбы, — страшился и не мог вынести он, жестоко заброшенный правом престолонаследия на место, непосильное ему до того, что когда-то стало лучше уже умереть, дабы не продолжать и не тянуть этот груз дальше и дальше.

Он сидел и грелся на печке в вязаных носках и без ферязи, когда вошедший боярин объявил о приезде Вельяминовых, отца с сыном.

Иван Иваныч не понял сперва, переспросил. И тут теплое чувство поднялось у него в груди. Подумалось: «Верно, Шура обрадуется!»

Он сполз с печки, холопы натянули ему на ноги зеленые тимовые сапоги, накинули ферязь на плечи.

Вельяминов вступил в горницу, большой, промороженный всеми ордынскими ветрами, с мокрыми усами и бородою. Взошел и, оставя рослого сына при дверях, сделал к нему несколько неверных шагов.

Иван Вельяминов издали отдал поклон и после поглядывал на князя молодым соколом, вроде бы даже гордо, смахивая капли снежной влаги с долгих ресниц, и молчал, не шевелился, пока рек и кланял князю отец.

Василь Василич, меж тем приблизясь, словно бы споткнулся, глядючи в очи князю, и вдруг, точно подрубленный, рухнул на колени и поник головою в пол.

В горницу заходили бояре, переглядываясь, садились по лавкам. Феофан с Матвеем красноречиво перемигнулись между собой: владыка Алексий намекал им на таковую возможность и что в сем случае не должно им мешать князю Ивану проявить милость ко грешнику. Намекал! И как в воду глядел, как провидел события старший брат!

Федор Кошка, молодой, востроглазый, улыбчивый, прикусывая белыми зубами алую губу под мягкими усами, жмурясь даже, словно и вправду молодой кот-игрун, влез, присел с краю на лавку, тоже ждал, поглядывая, что же будет теперь. Заходили иные бояре, обширная горница наполнялась.

Младший Вельяминов (дорогою заговаривал с отцом не раз, даже и то предлагал: не остаться ли навсегда на Рязани? — по молодости, по глупости полюби пришла боевая, тревожная рязанская жизнь) тут глядел, как заходят, минуя его и едва взглядывая, знакомые на Москве бояре, и у самого невестимо падало сердце: а ну как откажут?! Стыд-то! И — куда же после тогда?

А бояре все входили и входили, рассаживаясь по лавкам, и Иван Иваныч смотрел на лежащего перед ним на полу Вельяминова, и теплое ощущение радостного покоя разливалось у его в груди. Вот и окончено! Вот, слава богу, и прокатило, и минуло! И не будет этих досадливых Шуриных умолчаний, тяжелого безмолвия, укоризн... Алексей Петровича, верно, не воскресишь уже! И по-христиански ежели... Мысль об Алексее Петровиче облаком прошла по сознанию, но ведь и владыка Алексий свидетельствовал, что Василий Василич не виноват в убийстве Хвоста! И бояре молчат, ждут. Все пришли! Двоих нет, так те в разгоне, сейчас, объезжают вельмож ордынских. И Вельяминов молчит, лежит на полу, а что говорить, все и сказано уже!

Иван Иваныч обвел глазами лица своих старших бояринов, прочел немое: «Как решишь, княже!» Вздохнул, подумал, произнес негромко:

— Встань, Василий! Прощаю тебя и тестя твоего! Ворочайтесь оба на Москву!

Ольгерд еще раз выслушал, запоминая, кто убит из бояр, озрел своих, лишенных чести ратников, высланных изо Ржевы. Кивнул головой, отпуская. Поднялся к себе.

Скрученное, сжатое, как стальная пружина, бешенство переполняло его. Он даже не заглянул к Ульянии. О религии, о русских попах с нею было лучше не говорить. Прошел по крутой каменной лестнице в толще стены на самый верх, в ту укромную сводчатую комнату, где хранились грамоты. Сел за стол. Налил воды из узкогорлого кувшина в немецкий серебряный кубок, выпил и забыл кубок в руке. Его светлые голубые глаза в этот миг, ежели кто-нибудь решился бы взглянуть князю в лицо, были совсем черными и недвижный, остекленевший взор страшен. Когда он, вспомнив про кубок, отставил его в сторону, на смятом серебре остались следы пальцев.

Печатник, сунувшийся было сюда, увидавши только лишь спину князя, вспятил и, плотно притиснув дверное полотно, на цыпочках сполз вниз по лестнице.

Ольгерд думал. Единожды он прошептал, и шепот был страшен, как и взор князя:

— Его надо убрать!

Еще через час Ольгерд, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по лицу, вызвал писца, печатника и начал диктовать грамоты. Первую — в Константинополь с жалобою на митрополита Алексия, который позабыл западные епархии, небрежет ими, не посещает никогда, занимаясь только своею Владимирскою Русью. А потому он, Ольгерд, просит, буде так станет продолжаться и впредь, передать киевский митрополичий престол под руку волынского митрополита Романа.

Вторая грамота отсылалась к Роману на Волынь с требованием прибыть в Вильну к нему, Ольгерду, для важного разговора.

Третья, секретная, уходила в Киев, к тамошнему князьку Федору, подручнику Литвы (тому самому, что когда-то имал по приказу Гедимина новгородского архиепископа Василия Калику).

Четвертая, тоже секретная, отправлялась в Полоцк, к старшему сыну Андрею, с приказом готовить полки, чтобы, когда придет нужный час, вести их на Ржеву, вновь отбивать город у москвичей.

Грамоты уходили также братьям — Кейстуту в Троки и Любарту на Волынь, в Луцк.

Только окончив труды, запечатав и отослав послания, Ольгерд, посидев еще с минуту со смеженными веждами, разрешил себе встать, опираясь на молчаливого слугу, и спуститься в спальный покой, к супруге.

Как следствие этих посланий и последующей за ними пересылки тайных гонцов, укромных встреч и негласных переговоров митрополит Роман ближе к осени выехал с причтом в Киев и начал там служить, приводя и склоняя под руку свою духовенство южной Руси, до сих пор обязанное подчинением и церковною пошлиной владимирскому митрополиту, что вопиюще противоречило всем установлениям константинопольской патриархии и неизбежно должно было вызвать вмешательство Алексия.

Ольгерд ждал.

Василий Вельяминов наконец-то стал тысяцким, вослед отцу и деду. Иван Вельяминов, переживший с отцом ордынский поход, перезнакомившийся в Сарае с местною знатью, ходил, задирая нос: без нас-де не обошлись на Москве! Отец окорочивал, ежели слышал иные высказывания старшего своего, ну а в душу не влезешь... Микула, так тот был откровенно и неложно рад своему возвращению.

Налаживали порушенное хозяйство, вновь заводили конинные и скотинные стада. Вновь во дворе высокого вельяминовского терема толпились купцы, ремесленная старшина, послужильцы, посельские, волостели.

Старший Вельяминов, сильно-таки изменившийся за время рязанского беганья, принимал купцов, разбирал жалобы, судил и правил, налаживал мытные дворы и молодечную, подтягивал вирников, строжил ратных. Сил хватало на все; хоть и недосыпал, и недоедал порою, а проснулось родовое, вельяминовское — не поддаться, не уступить! Жена Марья тоже словно воскресла, бегала по терему — светились глаза. Позднего сына своего, который родился у них год спустя, назвали Полиевктом, «многожеланным» по-гречески.

Осенью, однако, пришлось все бросить и выехать на рязанский рубеж.

Татарский царевич Мамат-Хожа, разоривший Рязань, подступил к пределам Московской волости.

Покрытый пылью ордынский гонец примчал в Кремник. С ордынского подворья грамота легла на стол великого князя. «Дай путь чист!» — требовал Мамат-Хожа.

Речь шла о разъезде (межевании) земель Москвы и Рязани.

Собралась дума. Иван Иваныч ежился, поглядывая на своих бояр и на татарина, что сидел недвижимо, сожидая ответа московитов. Алексий тоже ждал у себя на владычном дворе. «Посол» досыти напакостничал и ополонился в Рязани, пускать татар на земли Москвы нельзя было ни в коем случае. Но Мамат-Хожа настаивал, угрожая ратью. Гонец, подомчавший из Коломны, доносил, что татары уже переплавляются на левый берег Оки ниже города. Василь Василич своею волею послал еще до заседания думы на устье Москвы-реки кованую конную рать во главе с Микулой и теперь ждал, что решит дума, поглядывая то на татарина, то на князя.

Взоры бояр и Ивана Иваныча оборотились к Вельяминову, и Василь Василич понял. Звание тысяцкого, врученное ему весной, требовалось теперь заслужить. Взяв слово, он ответил послу строго, но спокойно, что с рязанским князем у московского порубежных споров никаких нет и потому ордынскому послу в волости Московской быть не надобе. А впрочем, для говорки с Мамат-Хожой будут высланы в Коломну княжеские бояре.

Гонцы к коломенскому воеводе и к иным с приказом собирать ратников были посланы тотчас после заседания думы, а в ночь покинула город вторая московская рать, ведомая самим Васильем Вельяминовым.

Сам по себе Мамат-Хожа был не страшен, но за ним стояла Орда. И потому тайные гонцы понеслись, загоняя коней, в Сарай, а из Сарая уже скакал им навстречу владычный послух, посланный сарским епископом, с зашитою в подрясник грамотою, и грамота эта поспела на Москву вскоре после приезда ордынского посла. В ней говорилось, что Мамат-Хожа убил в Орде возлюбленника Бердибекова и теперь грабит Русь почти что по своему собственному изволенью, надеясь откупиться от Бердибека захваченным серебром.

У Алексия в эту пору на сенях сидел Никита, присланный селецким волостелем с отчетами по хозяйству (только что сжали хлеб), и Алексий, подумав, вызвал его к себе.

Никита вошел, отдал поклон, остоялся, ожидаючи приказаний.

— Слыхал про Мамат-Хожу? — вопросил его Алексий, зорко взглядывая на ратника. Тот кивнул почти безразлично. Его дело было хлеб, обозы, владычный корм.

— Поскачешь с грамотою к Василию Вельяминову! Грамоты той боле ведать не должен никто, понял? — И увидя, как радостно вспыхнули у Никиты глаза, Алексий удоволенно склонил голову. — Ступай! Поводного коня и справу получишь у отца эконома.

Меньше часу понадобилось Никите, чтобы срядиться и одвуконь, со снедью и оружием в тороках, с дорогою грамотою за пазухой в опор вымчать через Коломенские ворота. Вслед за Никитою впотемнях из города выступила третья московская рать, которую вели молодые воеводы Семен Жеребец, сын Андрея Кобылы, и Иван Зернов. В осенних сумерках в густом вечернем тумане глохнул топот коней.

Никита скакал всю ночь, пересаживаясь с коня на конь, во владычном селе получил свежих лоша-

дей и на рассвете, измученный, уже начал встречать отдельных отставших от полка ратных, со слов которых и разыскал Василь Василича.

Воевода сидел в походном шатре на раскладном стульце, когда, пригнувшись на входе, в шатер вступил пропыленный гонец и, значительно поглядев в очи боярину, молвил задышливо и негромко:

— От владыки. Тебе!

Василь Василич, понявши враз, что лишних глаз и ушей не надобе, махнул воеводам и стремянному выйти и тут только, поднявши глаза, узнал Никиту.

— Здравствуй! — сказал растерянно. Но Никита молча и требовательно протягивал ему свиток.

Василь Василич глянул еще раз, смолчал, порвал снурок. Прочел, перечел, обмыслил и, просветлев ликом, бережно свертывая грамоту, воззрился на Никиту, яро и весело выговорив:

— Наше дело теперь!

Он подумал, твердо протянул руку к аналою со свечой и, пока не дотлела, удушливо навоняв, тайная грамота, стоял и смотрел на огонь. Потом шагнул, обнял Никиту, сказал в ухо своему бывшему старшому:

— Прости в прежней вины! — И тотчас хлопнул в ладоши, вызывая стремянного и воевод.

Пока Никита глотал горячую кашу, обжигаясь и крупно запивая еду холодным медовым квасом, уже зашевелился весь стан. До сей поры у Вельяминова были словно бы связаны руки, он медленно отступал перед татарами, не вводя в дело ратных, а тут, проведав подноготную ордынских нелюбий, порешил тотчас и немедленно теснить Мамат-Хожу, доколе не уберется к себе.

Зазевавшийся татарский разъезд (разохотившиеся на Рязани ордынцы вовсе не ожидали сопротивления) был весь вырублен Микулой с ратными. И Никита, в десятый раз пересевший с седла на седло, даже не поспел к делу.

По всему полю ревели трубы, ржали кони. Третья рать, подошедшая ополден, была брошена в дело прямо с пути, и Мамат-Хожа, видя себя обойденным вдвое, ежели не втрое превосходящею силою, вспятил и начал отходить на рысях, не принимая боя. Тяжело ополонившиеся татарские ратники отступали в беспорядке, теряя полон и скот, поводных коней, груженных добром, а Вельяминов, не слушая никаких татарских вестоношей, теснил и теснил Мамат-Хожу, пока не сбросил на самый берег Оки, к воде, заняв береговые обрывы уже, почитай, на рязанской земле, и тут только принял гонца татарского, коему сурово объявил, что дает татарам два часа, дабы переправиться на правый берег Оки, и ни о чем больше с Мамат-Хожой разговаривать не станет и не уполномочен князем своим. А через два часа даст приказ о приступе, и пусть Мамат-Хожа ведает, что на одного татарина приходит шестеро вооруженных московитов и еще на подходе иная такая же рать.

Неважно, что Вельяминов приврал вдвое, а то и втрое. Сбросить Мамат-Хожу в реку он все равно бы смог, и татары, покричав, погрозив и постреляв из луков (с кручи им живо отвечали, и далеко не безвредно для татар), начали в конце концов переплавлять свою рать на бурдюках, лодках и кое-как связанных плотах назад, на рязанскую землю.

— Уходят! — выговорил Никита (у него все плыло в глазах, дорожная усталь теперь, как схлынуло напряжение боя, начинала наваливать волнами), подъезжая к Василь Василичу. Старые ратники, узнавая своего старшого, издали кивали Никите.

— Уходят! — отмолвил Василь Василич, щурясь, безотрывно глядючи на серую осеннюю Оку, по которой косо, уносимые и разносимые течением, плыли татарские кмети. — Твоя помочь, старшой! Не привез бы владычной грамоты, разве решились бы мы ханского посла таково-то, с соромом, от себя выпроваживать?!

Негромко, помолчав, вопросил:

— Не тяжко в новой службе?

— Мне ить на Москву не можно теперь, — отмолвил Никита, щурясь и сплевывая.

Вельяминов обмыслил, склонил голову.

— Наталья как?

— Сын у нас растет! — отозвался Никита с оттенком гордости.

— Михайло Лексаныч прошал! — возразил Вельяминов. — Привез бы когда ее на семейный погляд!

— Пущай говорка утихнет! — вымолвил Никита, с невольным сожалением озирая ряды воинов, готовых к бою. Да, впрочем, боя уже и не предвиделось. На плоту, составленном из нескольких бурдюков и досок, от берега отплывал уже сам незадачливый посол Мамат-Хожа.

— Ударить бы на их! — проговорил, подъезжая, Семен Жеребец. — Ух, и полону бы набрали!

Вельяминов, отрицая, повел головой:

— Не можно! И вели кметям, без пакости чтоб!

— И полон ворочать? — разочарованно протянул кто-то из младших воевод.

— А вот етова делать не будем! — рассмеявшись, ответил ему Вельяминов. — Не ратились, дак... а уж што с возу упало, то и пропало!

Кто-то из татар снизу, с берега, кричал, грозя плетью. Ратные с кручи дружно и весело отвечали ему, показывая татарские луки: не вздумай, мол, собака, стрелять, мы и сами тому нынче не хуже вашего выучились!

Месяц спустя дошло известие, что Мамат-Хожа бежал от Бердибека в Орнач, где был настигнут ханскими гонцами, схвачен и тут же убит. Убит не за то, разумеется, что разорял Рязань и пытался разорить Московскую волость, не за десятки погубленных русичей и татар, не за сожженные деревни, угнанный скот, понасиленных жонок, а за убийство единого Бердибекова возлюбленника, за смерть которого Мамат-Хожа так и не сумел расплатиться с ханом.

После того как Всеволод был в железах доставлен из Орды дяде Василию, тот, решивши наконец, что настал его черед, занял Холм, родовой удел племянника, и начал самоуправствовать, разорив и

попродав Всеволодовых бояр, послужильцев и кметей.

Епископ Федор пробовал вмешаться, совестил Василия и наконец, не возмогши терпеть, сам побежал из Твери.

Алексию как раз дошли вести о том, что Роман отбирает у него киевскую митрополию (а из Царе-града — письменные увещания патриарха, нудящие его сугубо обратить взор к покинутым им в небрежении южным епископиям), и потому он неволею сряжался к выезду в Киев.

Задерживали неспокойные события на рубежах, угроза от Мамат-Хожи, счастливо, впрочем, остановленная московскими воеводами, задерживали святительские дела, споры с Новгородом Великим, и потому выехать в Киев — торжественно с клиром, церковными сосудами и святынею, с избранными из владычных послужильцев — ему удалось только после Рождества[1].

Филипповым постом к нему на Переяславль как раз и прибежал, отрекаясь престола, тверской владыка Федор.

Алексий меж тем сожидал Сергия из монастыря, досадуя в душе, что так и не сумел сам побывать в Троицкой обители.

До него дошли уже вести о тамошних нестроениях. Суровый общежительный устав, вводимый Сергием, был радостно принят братией лишь на первых порах. Лишение вечерних трапез в своей келье, лишение уютного домовитого одиночества, вместо коего предлагались неусыпные монашеские подвиги, молитвенное бдение и труд, далеко не всем оказались по плечу. Возникло и иное, о чем Алексию не думалось доднесь, но что грозно восстало ныне, почему он и вызвал к себе обоих братьев, Сергия и Стефана. В общежительском монастыре безмерно возрастала власть игумена, и вот сего последнего, а прежде прочего борьбы за эту власть и не предвидел Алексий. (Сергий — предвидел, почему и был так труден для него выбор пути.)

Братья должны были прибыть к нему вместе, но первым явился Стефан, что было уже дурным знаком. Путного разговора со Стефаном, однако, не получилось. Занятый грядущею пастырскою поездкой в Киев и теми заботами и преткновениями, которые сожидал Алексий встретить там, грядущею новою борьбой с Романом, он так и не сумел уяснить смутной тревоги своей, не смог понять Стефана на этот раз, ибо помнил его раздавленным и униженным, жаждущим отречься от власти и мирских треволнений.

Сергия же Алексий ждал даже с неким трепетом, гадая: не ослаб, не смутился ли духом молодой игумен? Не надо ли и его поддержать, наставить, быть может, остеречь или ободрить?

Вот тут и явился тверской епископ. Минуя придверников, взошел, как был с дороги, вылезши из возка, сбросивши в сенях один лишь хорьковый опашень. Взошел и рухнул в ноги: «Ослобони, владыко! Боле не могу, недостоин престола сего!»

Алексий поднял на ноги ветхого деньми и плотию старца. Усадил, успокоил, как мог. Выслал служку. Но прежде чем Алексий распорядил трапезою, епископ Федор заговорил, горько и злобно, с отчаянием человека, решившегося на все и ото всего отрекшегося.

Он кричал о совести, о поношениях, «якоже Христос претерпел от иудеев и законников», о том, что московляне сами подговорили хана и преже утесняли сыновей страстотерпца князя Александра, погинувшего в Орде по навету москвичей, яко и брат его Дмитрий, яко же и отец, святой благоверный князь Михаил, что Алексий более всех виновен в безлепой которе тверской и что митрополиту не должно, и не можно, и неприлепо, и непристойно мирская творити, ибо на то есть боярин и князь, что Всеволод в отчаянии и скоро изверится не токмо в духовном главе Руси Владимирской, но и в самом Господе и его благостыне, что он, епископ Федор, не в силах зрети, яко же своя домочадая губят один другого, и вина в том пусть падет на Алексия, а не на него, Федора, и потому он слагает с себя сан и уходит в затвор, в лес, в потаенную пустынь, но не может и не должен более взирать на сей срам и позорище и всяческое попрание заветов Господа нашего Иисуса Христа, заповедавшего мир в человецех и любовь к братии своей.

Федора трясло. Он уже не был совсем тем строгим и властительным епископом великого града Твери, с коим Алексий так и не сумел урядить два года тому назад. Обострились черты, жалко и гневно вздыбились седые клокастые волосы, запали и воспалились глаза. Он, видимо, не спал дорогою, воспаляя себя ко грядущему разговору с Алексием.

Старцу надобен был прежде всего покой и отдохновение. И потому Алексий, ничего не ответивши Федору на все его хулы и нарекания, вызвал через придверника горицкого игумена и велел принять тверского епископа, как должно и надлежит согласно высокому сану гостя, накормить и упокоить, а беседу, твердым непререкаемым голосом, отложил до другого дня, егда Федор отдохнет и придет в себя.

— Ты ныне устал, злобен и голоден. А немощь телесная плохой поводырь для разума. Прости, брат, но я не стану ныне говорить с тобою, доднеже отдохнешь с пути и возможешь глаголати, яко и надлежит по сану твоему.

Горицкий игумен, проводивши Федора, потом осторожно вопросил Алексия: ежели тверской епископ отречется сана, кто возможет заступити место его? И в осторожном голосе, и в островатом, излиха внимательном взгляде игумена было невысказанное вопрошание — мол, чего же лучше: ныне поставить в Тверь своего, угодного владыке епископа — и все прежние которы с тверичами разом отпадут сами собой! Алексий ответил ему строгим воспрещающим взглядом, и игумен, не посмев изречь ничего более, исчез.

---

[1] После 7 января 1359 г. по современному счету.

Да, конечно, думал меж тем Алексий, откинувши голову к спинке высокого монастырского кресла и смежив очи. Да, конечно! Многие, ежели не все, возмогут ему посоветовать так именно и поступить в сей час святительской трудноты!

Хулы и упреки Федора, ранившие его в первый миг, он отмел сейчас, справясь с собою усилием воли. Даже и врага поверженного зряща у ног своих, недостоит радовати тому, но скорее напротив — скорбеть об унижении человеческом!

Да, просто! Снять Федора, тем паче — по его собственному прошению, и заменить другим...

Просто — и потому ложно, уже по самой соблазнительной простоте деяния сего!

Не должен он, не вправе, в самом деле, поступить, как земная, мирская власть! (Хотя и поступает, вынуждаемый к тому слабостью князя своего!) И то, что Федор сам просит освободить его от сана, не должно соблазнить митрополита всея Руси, ибо, по слову Христа, камень, отвергнутый строителями, ложится в основание угла. Да, вот так! Вот, кажется, найденное слово! И его долг ныне, успокоив и ободрив Федора, принудить его остаться на месте своем.

Колико проще сокрушить, уничтожить, снять сан, заменить одного боярина, попа, даже епископа на другого, но колико труднее заставить покаяти, передумать! Колико труднее убеждать, чем карать, и колико нужнее принятое убеждение, чем кара, которая токмо лишь озлобляет, загоняя болесть внутрь, но не излечивая ее.

С тем Алексий уснул, почти решив, как ему говорить с тверским епископом. А утром служка сообщил, что к нему явился Сергий.

На утреннем правиле Алексий с трудом заставил себя сосредоточить ум на молитве, ибо все мысли его были заняты тем, как согласить жданное появление Сергия с нужною беседой с тверским епископом. И в конце концов решил свести всех воедино. Так за столом владычного покоя оказались сотрапезующими русский митрополит, тверской епископ и игумен молодой лесной обители с братом — бывшим игуменом Святого Богоявления.

Была уха из дорогой рыбы, вареные овощи, хлеб и малиновый квас. Была переяславская ряпушка и любимая Алексием моченая брусника. Епископ Федор, видимо, несколько успокоился, но во взгляде, самоуглубленном, замкнутом, в скупых и скованных движениях рук были продуманное упорство и выстраданная решимость не уступать Алексию.

Алексий подумал вдруг, что приход Сергия ко благу, и решил вести разговор прилюдно, ибо оба, Сергий со Стефаном, одинаково ведали вся тайная московской политики.

Федор, настороженный, колючий, присматривался к Сергию. (Стефана ему доводилось встречать, еще когда тот был богоявленским игуменом.)

Сергий, одетый с подчеркнутою своею и обычной для него простотой, был в сероваленом зипуне и лаптях. (Стефан, тот, явившись из обители, так же, как и Сергий, в лаптях и на лыжах, тут переобулся в захваченные с собою тонкие кожаные поршни и зипун имел на плечах из дорогого иноземного сукна.) Будничные облачения митрополита и епископа казались — по сравнению — дорогою, едва ли не праздничною срядой. Но Сергий как-то умел не замечать несходствия одежд и обуви, и, посидевши с ним, всякий в конце концов тоже переставал замечать простоту одеяния подвижника, даже когда он, как теперь, и вовсе молчал, лишь внимательно взглядывая на озабоченного митрополита и нахохлившегося епископа.

Алексий молчал тоже, давая сотрапезующим насытить голод и немного привыкнуть друг ко другу.

Федор спросил о чем-то Сергия — из вежливости, дабы не молчать за столом. Сергий отмолвил кратко, но с потребною обстоятельностью. И — странным образом — и вопрос и ответ тотчас были забыты всеми председящими.

Наконец Алексий положил вилку, отер уста полотняным платом и, откидываясь к спинке кресла, строго вопросил:

— Должен ли младший в роде своем слушать старшего и подчиняться ему?

— Да! — вздрогнув, епископ Федор не сразу нашелся с ответом. — Но князь Василий Михалыч чинит безлепое насилие над сыновцем своим Всеволодом и людьми его, несообразное ни с какими законами естества!

— Да! — властно прервал Алексий. — Но должны ли, вновь реку, младшие уважать старших по роду всегда или токмо по рассмотрении, достоин ли уважения старший родич? Должен ли, вопрошу, сын уважать недостойного родителя своего?!

Стефан и Федор оба склонили головы.

— Должен! — подумав, и хмуро, с видимым затруднением произнес Федор.

— Должен! — повторил, утверждая, Алексий. — Не можно разрешить сыну, подобно Хаму, насмеявшемуся над Ноем, отцом своим, позорить родителя своего! Не можно разрешить сие и разрушать тем самым весь строй жизни человеческой, ибо в поколениях, в веках токмо уважением к родителю, деду, прадеду, предку своему стоит и зиждит жизнь народа! Всякий язык, покусившийся на уважение к старшим своим, как и забывший славу предков и их заветы, распадает и гибнет невестимо в пучине времен!

— Брат мой! — горячо воззвал Алексий, обращаясь теперь уже к одному Федору. — Помысли, все ли содеял ты, дабы утишить гибельную прю сию, прежде чем прибежать сюда, пытаясь отринуть сан? Веси ли ты всю прежнюю котору меж дядею и сыновцем — грабительства, походы ратные, погром в Бездеже, его же Всеволод учинил, и то, как в тоя же Орде добыл он ярлык под дядею своим на тверской стол, и многое иное, стыдное и неподобное? — Да! — вскричал Алексий, останавливая мановением руки попытавшегося было возразить тверского епископа. — Да! Всеволод более прав, чем его дядя Василий, первым начавший нелюбие сие! И паки реку: более прав, и честнее, и прямее, и бесхитростнее князя Василия! И мы, московиты, виновны в том, что

князь Василий ныне безлепо вершит неправду в тверской земле, угнетая и расточая продажами волость Всеволодову!

— Василий Михалыч — последний сын Михайлы Святого! — осторожно вмешался Стефан, с беспокойством взглядывая то на Алексия, то на Федора.

— Да! — отмахнулся Алексий от непрошеной помощи и продолжал с напором и страстью: — И более скажу тебе, Федор! Вправе был бы ты овиноватить нас всех в сугубом попущении князю Василию и был бы прав! Да, неправо творили, и я тоже, Федор, и я тоже! И удерживали сына Александрова, и мирволили Василию Кашинскому. И ежели противополагать две правды — правду Твери и правду Москвы, то Тверь более права и изобижена Москвою! Да, да, да! — Он рукою отвел, воспрещая, готового уже вмешаться в спор Стефана и продолжал: — И ты прав, брате, ибо ты — епископ града Твери! Но не забыл ли ты, Федор, что я митрополит всея Руси и о всей Руси должен, обязан мыслить в свой черед? Должен, обязан заботить себя и тем, что ежели добрый, справедливый и пылкий князь Всеволод пригласит Ольгерда на Русь и силами литвы разгромит дядю, а затем и Московскую волость, а затем и само княжение владимирское, тогда вся Русь, а не токмо Москва или Тверь погибнет из-за наших безлепых раздоров! Да, Федор! Ты скажешь, конечно, почему тогда не Тверь должна стать во главе Руси Владимирской? Потому, что не Тверь! Потому, что при Михаиле Святом могла быть Тверь, а стала Москва, потому, что столицы не избираются ничьей волею, они делаются, возникают! Возможно — татары причина сему, возможно — духовная власть или иное что... Но уже святой Петр предрек величие в веках граду Московскому! И мы, духовная власть, должны мыслить о дальнем, о судьбе всей земли через века и века! Не о том, на чьей стороне днешняя суетная правда и преходящая власть того или иного князя. Например, помысли, что возмогло бы произойти от брака Симеона и Марии, ежели бы дети их и сам Симеон остались бы в живых, а чума унесла, напротив, всех мужей тверского княжеского дома? Возможно, что оба сии княжества уже теперь слились бы под единою властью и Русь, русская земля, и язык русский усилились бы во много раз!

— Но тогда, — возразил Федор, — и Ольгерд мог бы, поворотись судьба, стати великим князем всея Руси?

— Да! — живо возразил Алексий. — Ежели бы принял крещение и ежели с крещением Русь стала бы ему родиною! Да, тогда — но именно лишь тогда — он мог бы, ежели похотел, стать русским и православным князем. Пусть и не сам еще, но хоть в детях, внуках, в правнуках своих! Но сие невозможно, отмолвишь ты, и я реку: да, сие невозможно! И вот почему я ратовал в Цареграде, устрояя митрополичь престол во Владимире, вот почему борюсь с Романом, коего вы, тверяне, поддерживаете, вот почему ныне еду с пастырским наставлением в Киев!

Сергий, доныне молчавший, столь красноречиво в сей миг взглянул на митрополита, что Алексий, неволею почуявши его взор, оборотил чело и прихмурил брови, отвечая на не заданный троицким игуменом вопрос:

— Ехать надобно!

Он встряхнул головой и вновь оборотился к уже почти поверженному Федору:

— И наша задача в этом вот текучем и разноликом бытии, в этом потоке времен и лет — воспитывать свой язык, умеряя животное, похотное в человецех, и князей своих наставлять в строгих истинах веры Христовой, в любви и дружестве, паче всего в любви к земле языка своего, навычаям и преданьям народа! Как бы ни стало тяжко, даже и до невозможности, вынести ношу сию! И потому я, русский митрополит, волею своею, и разумом, и сердцем, и именем горнего Учителя нашего прошу тебя, и заклинаю, и настаиваю владычною волею: да останешь и впредь на престоле своем!

Алексий примолк, слегка понурив плечи, взглянул светло и примолвил, указывая на Сергия:

— А княжеские которы, сколь бы ни гибельны казались они... Вот он в обители своей содеивает важнейшее, премного важнейшее всех княжеских усобиц в совокупном их множестве! Ибо жизнь духа есть истинная жизнь, и от нее гибнет или же восстает все иное, сущее окрест. И печалуюсь, — тут же Алексий оборотил чело к троицкому игумену, решив, что настал час и ему сказать слово ободрения и укоризны, — и скорблю, будучи извещен о нестроениях в обители Святой Троицы!

Сергий медленно улыбнулся в ответ. Помедлил.

— Владыко Алексию! — выговорил негромко. — Скажи, сколь времени надобно, дабы выстроить город, в пожаре выгоревший дотла? Ежели судить по Москве и градам иным — единою осенью возможно восстановить все порушенное! А населить град созванным отовсюду народом? Единым летом возможно и сие совершить! А завоевать царство? Сгубить, разорить, разрушить, испустошить землю, даже и поворотить реки или вырубить леса?! И сколь надобно сил, времени и терпения, дабы воспитать, создать, вырастить единого смысленного мужа? Побороть в нем похоть и гнев, злобу и трусость, леность и стяжание? Воспитать сдержанность, храбрость без ярости, честность и доброту? Научить его ежечасно обарывать собственную плоть и многоразличные похоти плоти? Уйдут на то многие годы и труды! Но без оного мужа, воспитанного и многоумного, более скажу — без многих подобных мужей не станет прочен ни град, ни волость, ни княжество! Без сего ничто иное не станет прочным, ибо, — тут Сергий едва-едва, чуть приметно улыбнулся, почти повторив слова Алексия, — без духовного, в себе самом, воспитания людей все прочее суета сует и всяческая суета!

Сергий замолк, и епископ Федор, сейчас впервые услышавший речь троицкого игумена, поник головою и, воздохнув, подтвердил:

— Да, без сего непрочно все иное!

И Алексий, понявши скрытый упрек Сергия, тоже склонил чело, повторив:

— Без сего непрочно!

И лишь Стефан смолчал, голову склонив и осмурев взглядом, который он в этот миг побоялся показать сотрапезникам.

Когда выходили из покоя, Алексий придержал Сергия за рукав и с глазу на глаз вопросил негромко:

— Сыне! Не молчи о труднотах своих! Где не возможет игумен, там возможет порою митрополит, могущий приказать, заставить, усовестить!

— Отче! — отозвался Сергий со вздохом, покачавши головою. — Я уже все сказал тебе! Долог и притужен путь духовного покаяния! Но не можно тут свыше велеть ничему! Росток не станешь тянуть из земли, дабы скорее вырос, так и мужа, не созревшего разумом или неготового душою, кто повелением своим возможет содеять духовным и смысленным? Об едином скорблю, владыко! Не в пору, мнится мне, уезжаешь ты в Киев! Именно теперь надобен ты в русской земле!

Заметивши тень, пробежавшую по лицу Алексия («Сам не хочу, но должен!» — сказал его взгляд.), Сергий примолвил просительно:

— Егда не возможешь отменити сего, возьми себе спутников верных, исхитренных не токмо в духовных трудах, но и в жизненных невзгодах и бедствиях! Способных, ежели надобно, даже и к деянию бранному!

Алексий вздрогнул, внимательно и долго поглядел в очи Сергию. Потом обнял и трижды молча поцеловал.

О Стефане и о делах обители иного разговора меж ними в этот раз не было.

Сергий, через ночь воротившись к себе, только лишь отдал распоряжения новоназначенным келарю и эконому, кратко повестив, что должен на несколько дней отлучиться из обители. И, никому ничего более не сказав и не взявши никого в провожатые, в тот же день вышел на лыжах за ворота обители и утонул в рождественском серебряном снегу.

Путь его был долог и лежал в обратную сторону от Москвы. Делая по шестьдесят верст в сутки, имея пищею только ржаные сухари, которые он сосал дорогою, и нигде не задерживаясь в пути, Сергий скоро миновал Мохрищенский монастырь на Киржаче, где игуменом был его знакомец Стефан, но и тут только лишь обогрелся, выхлебал мису ухи и тотчас устремил далее в путь по лесным зимникам, пока не вышел на Владимирскую дорогу, и уже утром третьего дня миновал Владимир, не заходя в город и не останавливая, а на шестой — подходил к Нижнему.

Тут и выяснилось, что шел он к игумену Дионисию, дабы понудить того тотчас и немедленно послать скорого гонца в Печерскую лавру, в Киев, упредив, ежели мочно, приезд Алексия и известив тамошнюю братию, что митрополиту угрожает беда и надобно спасать его от возможной гибели. И по сомкнутым устам, по устремленному упорному взгляду Сергия было внятно, что Дионисий непременно послушает его, и гонца пошлет, и содеет все, что мочно содеять ему, выученику лавры Печерской, дабы отвратить нависшую над митрополитом беду.

Епископ Федор провожал Алексия до Коломны. Тут, еще раз наставив и ободрив своего вчерашнего недруга, Алексий с любовью отпустил Федора в Тверь.

Внутреннее чувство говорило ему, что поступил он на этот раз правильно и ежели и не содеял вполне из недруга друга, то, по крайней мере, может быть уверен теперь, что Федор не станет строить ковы противу него, пока он пребывает в далеком и враждебном Киеве.

В Коломне еще раз проверяли весь обоз, грузили остатние возы, торочили коней. Среди многочисленной свиты митрополита был в этот раз и Станята, верный спутник его предыдущих странствий, и Никита Федоров, которого Алексий взял с собою впервые, едва ли не по косвенному совету игумена Сергия. Да, кроме того, Алексий опасался немного, что в пору его отсутствия помилованного им кметя очень возмогут иные — дабы уже похерить и все последние концы дела хвостовского — попросту потихоньку убить.

VI
ОТЧАЯНИЕ

Днепр переезжали много выше Киева (под Киевом, сказывали, перевоз был только в лодьях), и — к счастью. Разминулись с дружиною, посланной князем Федором впереймы. Владычный обоз остановили уже под самым городом. Началась долгая пря, ругань, скакали комонные, звякало оружие. Наконец явился сам князь, прославивший себя неудачною поимкою тридцать лет тому назад новгородского архиепископа Калики.

Старика князя, спесивого, издерганного, жалкого (вот-вот литовские рати займут Киев, покончив с ним и с его призрачною властью), понять было мочно. Однако Федор содеял промашку, подскакав самолично к митрополичьему возку. Алексий, не выходя из возка, отворил дверцу и требовательно, молча воззрился на него, пропустив мимо ушей и даже вовсе не услышав все то, что кричал, ярясь, с пеною на губах киевский держатель.

Никита решительно подъехал, оттирая конем и плечом князя Федора от его ратных, и кмети, предупрежденные владычным боярином, один по одному так же решительно и молча начали въезжать в строй киевской княжой дружины, неволею вспятившей коней. Углядев краем глаза, что князь Федор достаточно окружен, Никита проговорил негромко, но твердо:

— Митрополит всея Руси пред тобою, княже! Слезь, поприветствуй! Сором!

Князь Федор дернул морщинистой шеей, углядел насупленный лик Никиты, его твердо сведенные скулы, островатый взгляд, руку, забытую на рукояти сабли, увидал и московитов вокруг себя и своих

вспятивших ратников и, поняв по движению Никиты, что, повороти он назад, тот тотчас схватит за повод его коня и выхватит саблю, смолк, посопел и вдруг покорился: неловко поерзав в седле, слез в снег, постоял, шагнул к возку, далее уж само собою пришлось снять шапку и подойти, сложив руки лодочкой, под благословение Алексия. А тут уж — какое нятье! Московский митрополит, улыбнувшись едва-едва, краем глаза, пригласил Федора в свой возок, и князь, привыкший к подчинению (Гедимину, Ольгерду, татарам — все равно кому!), безвольно шагнул, шагнул еще раз, а там уж полез и в возок, и только усевшись на кожаное, застланное мехом сиденье, понял, что вместо того, чтобы полонить митрополита московского, сам почти что угодил в нятье.

Обоз тронул. Киевские ратные, бестолково вытягиваясь в две долгие вереницы, поскакали обочь возов, сталкиваясь стременами, боками коней с владычною сторожей. Так и скакали, теснясь, перебрасываясь то шутками, то угрозами, вплоть до городских ворот бедной, едва восстановленной крепостной стены, которую, видно, со времен Батыевых ни разу и не чинили путем, поставя на место сгоревших рубленых дубовых городень легкий частокол по осевшему насыпу.

Город, летом утопавший в кипени яблоневых и вишневых садов, сейчас выглядел большою деревнею. Величавые сооружения золотой киевской поры высились среди мазанок окаменелыми осколками прежнего величия. Десятинная, с провалившимися сводами, заросшая поверху кустами и травой, ныне едва выглядывающими из-под шапок снега, была особенно страшна и пугающе прекрасна, как и полуобрушенные золотые ворота, как и все прочее, устоявшее в сплошном пожаре сто двадцать годов тому назад.

У ворот, к вящей неприятности князя Федора, митрополичий возок ожидала довольно густая толпа глядельщиков, впереди которой стояли старцы лавры Печерской, с поклонами кинувшиеся приветствовать митрополита русского. И как-то так получилось, что весь обоз вскоре, пересекая город, направился прямиком в лавру, причем умножившаяся княжеская русско-литовско-татарская дружина, поскольку князь Федор по-прежнему сидел с митрополитом в возке, только лишь приставала к обозу со сторон, тянулась в хвосте, не вынимая оружия и не ведая, что делать теперь, когда, по-видимому, прежний приказ — остановить, разоружить и полонить московитов — потерял силу.

Князь Федор не догадывал, разумеется, что далекая миссия Сергия Радонежского возымела успех, а задержки владычного обоза в пути помогли посланцам Дионисия примчать в Киев, в лавру, загодя, обогнав на несколько дней владычный поезд, и уже позапрошлою ночью на бурном совещании лаврских старцев постановлено было принять и всячески поддержать митрополита владимирского вопреки Ольгердову ставленнику Роману, ибо тут, в Киеве, латинская опасность и чуялась и была много явственнее, чем на Москве и даже Цареграде греческом.

Князь Федор был выпущен только когда весь обоз затянулся на двор лавры, за ограду, а княжеские кмети вытеснены из ворот. Алексий, успевший в пути заронить в трусливую душу князя изрядного червя сомнения, благословив еще раз, выпустил наконец Федора из возка, и тут уж ни нятья, ни драки не получилось. Князь со своими кметями отбыл, и стало мочно распрячь коней, разоставить возы и накормить усталых клирошан и ратников.

От старцев лавры уведал Алексий доподлинно, что его хотели имать и даже не пропустить в город митрополичий обоз по приказу великого князя литовского Ольгерда. Ясно было теперь, что, пожелай Алексий тотчас уехать назад, его переймут на Днепре, по дороге, и ежели не убьют, то уж, верно, посадят в железа. И совсем неясно было никому, ниже и самому Алексию, что же делать в толикой трудноте.

Ночь навалилась на город, на собор, выстоявший татарское разорение, на бревенчатые кельи, хоромы игумена, стоячую городню, ночь скрыла ряды возов, только кони под жердевым навесом, невидимые во тьме, переминались и жевали скудное сено. (Чем кормить коней завтра, было уже неведомо!)

Никита вышел во тьму. Ноги сводило, все тело гудело от целодневной скачки верхом, от многочасового напряжения возможной сшибки, свалки, сечи и резни, которых ожидали от первой встречи с киевлянами и до последнего часа, когда Федор с дружиной покинул пределы лавры. Никита справил малую нужду, вздохнул, окликнул ратных, что были в стороже. Ему торопко отозвались из тьмы. Постоял, глядя в черно-синюю даль заднепровья, вдруг впервые постигнув простор и ширь этой незнакомой земли, русской стороны (когда-то ихнее Залесье и Русью не называли — укра́иной). Оттуда, из тьмы, являлись торки, печенеги, половцы, с ними ратились великие киевские князья. На кручах тогда, верно, высили терема под золотыми крышами, внизу шумел торг. Никита силился представить себе все это — и не мог, не умел. Мало знал, видел того менее и только теперь, ныне, понял, что знанья его малы и скудны. Не удивясь, по кашлю учуял Станяту, вышедшего, как и он, в темноту. Подошел.

— А пещеры где? — вопросил Никита.

Станька постукал ногой, показал, примолвил погодя:

— В горе, под нами! Там, ежели корм какой иметь да воду, так и татары не найдут!

— Мнихи рыли? — уточнил Никита.

— Ага!

— А Царьград поболе Киева? — полюбопытничал Никита, торопливо примолвив: — Того, прежнего!

— Больше! — кратко отмолвил Станята.

— Много больше?

— Как сказать-то тебе? Сравнить не можно! — всерьез, без улыбки отмолвил тот. — Палаты каменны, и София... Да много всего! А тоже дворечь ихний в развалинах весь... Умирает город!

— А мы?

Станята помолчал, подумал, глядя в глухую ночь.

— А мы живем! Растем, пожалуй! Устоим, дак и Москва... — хотел примолвить: «с Царьград станет», да придержал себя за язык, живо вспомнив гордую греческую столицу, великолепную и в разрушении своем.

— Выберемся отселе? — перевел на другое Никита. — Попали, стойно кур в ощип! Ежели ить князь Федор взаболь на приступ пойдет, мы тута и часу не устоим!

Станята ничего не ответил. Сам думал о том же. И как помочь владыке Алексию — не знал.

И Алексий, смертно усталый, не спал, ворочался в постели, в уступленном ему покое игумена, гадал так и эдак, но понимал одно: бежать было и недостойно, и нельзя. А то, что их не схватили и не перебили враз, уже клонило к добру. Завтра он, как бы тяжко то ни было, постарается затеять прю с Романом. А в Константинополь, патриарху, из утра пошлет скорых послов. С тем он наконец и уснул.

В храм Божией Премудрости — Софии Алексий порешил направиться после заутрени, которую он отслужил в лавре, дабы там, в главной святыне киевской, совершить литургию вместо самозванца Романа.

Был ясный морозный день. Искрились и переливались снега. Цвели пестроцветьем яркие наряды горожанок и набежавших из загородья сельских жонок. И княжеская дружина, остановившая митрополичий возок, поначалу показалась не страшна. Но вот полетели стрелы, два-три копья пронеслись в воздухе, одно из них оцарапало круп коренника, кони шарахнули, едва не опрокинув возок. Началось смятение, заголосили жонки.

Алексий, бледнея и каменея ликом, вышел из возка и, высоко подняв золотой крест, пошел прямо на ратников. Несколько стрел пропели у него над головою. Алексий не оборачивался, не ведал, идут ли за ним клирошане. Он шел, и ярость кипела в нем, и уже толпа комонных объяла его, теснились, отступая, храпящие конские морды, кидались в очи белые лица ратников. Он запел, и клир подхватил вслед за ним гордые слова второго псалма:

— Вскую шаташася языки и людие поучишася тщетным! Предсташа царие земстии, и князи собрашася вкупе на Господа и на Христа его! Расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их! Живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им!

Раздался вскрик. Метко пущенная стрела поразила дьякона Иону. Умирающий пал на руки клирошан. Но песня уже окрепла, уже ободрились духом и шли, как идут на смерть. Умирающего подняли на плечи и понесли с собою.

— Работайте Господевы со страхом и радуйтеся ему с трепетом! — гремел хор. И уже подхватывали со сторон, и уже валились на колени. — Примите наказание, да не когда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость его!

Киевские ратники расступались, стягивали шапки, иные слезали с коней, падали в снег.

Так, крестным ходом, как древле, как встарь, во времена гонителей веры Христовой, дошли до Софии.

Дьякон умер, когда его поднесли к алтарю. Народ валом валил вслед Алексию. Тело дьякона, облачив в погребальные ризы, поставили на правой стороне, близ алтарной преграды.

Алексий совершил проскомидию, отслужил литургию и сразу же вослед за нею отпел мученика за веру, тело коего было так же торжественно пронесено по городу и похоронено в пещерах лавры.

Роман, трусливо отступивший перед Алексием, правил службу в церкви Михаила Архангела. В тот же день Алексий послал к нему и ко князю, требуя церковных пошлин, даней и кормов.

Князь Федор, коему пришлось пригрозить отлучением, прислал уже поздним вечером возы с немолотою пшеницей, овсом и сеном для лошадей.

Между тем целые корзины яиц, мороженой рыбы, битой птицы, сыра, масло в кадушках, бесчисленные кринки топленого молока, варенца, ряженки натащили в монастырь киевляне, главным образом бабы, сбежавшиеся с Подола и пригородов, и всем надо было получить благословение, приложиться к руке и хотя бы сзади потрогать ризы Алексия. К позднему вечеру от всей этой толпы любопытствующих прихожан Алексий устал паче, чем от службы.

Так, хотя бы и частичною победой над противником, завершился первый день его пребывания в Киеве.

От частых посещений Софии Алексию все же позднее отказаться пришлось. Многоразличные пакости, еще два трупа невинно убиенных, дороги, перегороженные дрекольем, дабы не пройти и не проехать конем, — все было пущено в ход трусливым и пакостным киевским князем, который наружно лебезил и юлил, принимал московских бояр, уверяя их, что безлепое творят вопреки его княжескому приказу сами жители. Клир роптал. Приходило ограничивать свое пастырское служение пределами лавры. Кормы поступали плохо. Князь Федор то доставлял зерно и сено коням, то не доставлял опять. Дани не поступали, дружина жила больше даяниями киевлян, которые суетились, ахали и охали, несли и несли, крестились, молились, падали на колени в снег прямо перед Алексием, но ни на какую прю с властью предержащею не отваживались отнюдь, ограничиваясь слезами и сожалениями.

Посольство, усланное в Константинополь к патриарху, как в воду кануло. А тут рухнула весна и стали враз непроходны пути, и уже когда сбежали снега и обнажились сады и пашни и умеряла в оврагах свой бешеный бег вода, приехавший с обозом обрусевший торочин повестил страшную правду, враз изменившую многие намерения Алексия.

Торчин сидел в гостевой избе, когда Алексий, извещенный киновиархом, скорым шагом вступил в покой, и по тому, как не пошевелились, не взглянули на него слушатели, понял жестокую суть известия.

На столе лежал грязный комок опрелой сморщенной кожи и шерсти, в коем только очень присмотрясь

можно было признать бывший головной убор, и почерневший от приставшей липкой грязи, дурно пахнущий крест на развернутой грязной тряпице.

— Там волки все выели, — сказывал торчин, разводя руками и взглядывая испуганно в насупленный лик митрополита. — И знатья того нет! Вот крест с шеи снял да шапку, може, по шапке признают, думаю...

Он глядел, искал глазами с надеждою ошибиться. Самому непереносно было сказывать такое.

— Всех шестерых! — тяжело выговорил отец Амвросий и вдруг по-мирски всхлипнул, уронив голову, пробормотал потерянно: — Прохора жаль!

Алексий сидел, слушал и чуял наступающее головное кружение. Все шестеро, все его посольство в Константинополь, порубанное неизвестными злодеями, было найдено в снежном овраге в двадцати, тридцати ли поприщах от города...

Он сам явился в этот день ко князю. Потребовал расследования. Тот, конечно, ссылался на татар, на татей, что, по его словам, свирепствовали под Киевом, вилял, низил глаза.

Обглоданные гнилые трупы уложили в колоды, привезли в лавру, дабы пристойно отпеть и похоронить.

Ночью Алексий услышал тихий стук в дверь. Вошли Станята с Никитою.

— Вота что, владыко! — начал Станята решительно. — Нать ехать в Царьград мне! И с им вот!

Алексий помолчал, подумал, глянул, велел негромко:

— Прикройте дверь!

Станята живо понял, отокрыл, обозрел — не подслушивает ли кто?

— Тебя одного пошлю, с отцом Никодимом! — сказал ему Алексий. — Никита Федоров тут нужнее. Да и греческой молви не разумеет, коли что. — И не поспевшим возразить приятелям прибавил: — А проводить — пусть проводит тебя мимо Федоровых застав. И мне весть принесет!

Никита не спорил. Понял сам, что владыку оставлять нынче не след, хоть и чаялось, и жаль было в душе, что не поглядит далекого Царьграда.

Перемолвив с боярином, отобрав четверых толковых ратников (все делали отай, невестимо от прочих, ибо неясно было и тут, в лавре, кто доносит кому), выехали одвуконь в ночь. Молодой монашек вел берегом, потом пробирались какими-то оврагами, выехали в поле. Копыта почти неслышно топотали по мягкой весенней земле.

Миновали несколько темных, прижавшихся к земле деревень. Наученные горьким опытом давешних мертвецов, уходили в ночь от сторожких окликов скачью. Сторожа князем Федором была, видно, разоставлена всюду. Никита молчал, стискивая зубы, весь сжимался в седле.

Три дня спали днем в одиноких хатах, а пробирались ночью. Без монаха-проводника, понял Никита, их поимали бы в первый же день.

Неделю потом ехали необозримыми полями, степью, теперь уже хоронясь татарских разъездов, хоть и была у Станяты выданная Алексием проездная ордынская грамота. Да что грамота в тутошних степях! Из-за одного зипуна прирежут, и концов не найдешь!

Расставались на берегу Днестра. Тут Станята с Никодимом нашли торговую лодью и купца-влаха, обещавшего довезти спутников до Царьграда, а Никита с ратными и лаврским мнихом отправлялись назад.

Снова потянулись враждебные, густо зазеленевшие, испестренные цветами степи. Заливисто пели птицы в вышине. Струился нагретый воздух, и было весело ехать так по простору полей. Не бывал доселе Никита в широкой степи. Промаячит ли татарский разъезд, покажется дым над юртами, вынырнут из-за бугра две-три обмазанные белою глиной мазанки под соломенными бурыми крышами — и опять до окоема степь да колышутся травы, уже поднявшиеся, почитай, по грудь коню.

От татар бог помиловал. А с княжеским разъездом столкнулись под самым уже Киевом. Кметей всего было шестеро, двое — татары. Шесть на шесть, но монашек был вовсе не в счет. Ихний старшой, скверновато улыбаясь, шагом подъехал к Никите. Остальные стояли поодаль, и Никита краем сознания одобрил княжого холуя: ежели что — помогут! Сам он стоял, сожидая, держа руку на рукояти сабли.

Татарин достал лук, наложил стрелу. Киевский старшой кивнул Никите, приказал:

— Саблю!

Никита вытащил саблю из ножен, словно бы собираясь отдать, и, чуть тронув коня, загородился от татарина с луком телом вражеского старшого.

— Вы, што ль, наших порешили? — спросил хрипловато, с придыхом, сузив глаза. Тот презрительно усмехнул, верно, ежели и не сам кончал, дак ведал о деле, что и решило окончательно его участь. Вражий кметь так и погиб с улыбочкой на губах. Никите самому люб показался удар, враз перерезавший киевлянину горло. Татарская стрела, опоздав на четверть мгновения, скользнула вдоль лица, оцарапав висок и сорвав шапку с головы. Никита вонзил коню в бока острия шпор. Вторая стрела, порвав платье, скользнула по кольчуге.

Пять сабель встретили Никиту просверком смертной стали, но уже мчали вослед образованные (струхнули было, как вражеский старшой подъехал к ихнему!) Никитины дружинники. Мчали, окружая, — и те, лишенные старшого, вспятили, стеснились в кучу и потеряли свободу действования. Заскрежетала сталь. Второй татарин издал горловой хищный вопль, рубанул вкось одного из московских ратных, но Никита, углядев вовремя, поднял скакуна на дыбы и обрушил удар на татарскую подставленную шею. Счет сравняло вновь, и тут споткнулся конь у одного из киевских ратных, это и решило сшибку. В короткой замятне московиты срубили еще одного, второй татарин ударил в бег, за ним поскакал Никита; сбитый на землю киевский ратник уронил оружие и поднял руки, сдаваясь, а второй, оставшись один против троих, тоже начал, отмахиваясь саблей, заворачивать коня.

Татарин уходил с каждым скоком дальше и даль-

ше. И Никита тогда сорвал лук и, помянув всех богов, скатился с седла, припал на одно колено и, ощутив твердоту, отмеря ветер, плавно поднял лук. Татарин не сообразил оглянуть, так и скакал по прямой, чая уйти, и потому рассчитанная стрела вонзилась ему точно между лопаток. Не зря Никита учился стрелять из татарского лука, не зря и хвастал своим умением на Москве! Он обернулся. Один из его ратных качался в седле, держась за руку, другие двое вязали арканами последнего княжеского кметя.

Он свистнул, подзывая коня, шагом подъехал к подстреленному татарину, соскочил, держа повод в руке, потыкал носком сапога — татарин был вроде мертв. Он вырвал свою стрелу, для верности вонзил в труп острие сабли. Конь храпел, отступая от запаха крови, не сразу дал подняться в седло. С сожалением глянул на отбежавшего в сторону коня татарского: брать тут нельзя ничего было, а жаль! Подъехал к пленным, повелел:

— Развязать!

Первого рубанул вкось, тот даже и не охнул. Второго, враз побледневшего, повелел кметям положить и крепко держать за руки. Сказал уже без гнева (гнев истратил в бою):

— Наших шестеро было.

Отрубленную напрочь голову откатил в сторону носком сапога, так и так замаранного в крови. Приказал:

— Ничего не брать!

Поняли. Осерьезнев лицами, подняли своего убитого, приторочили к седлу, раненому перевязали руку.

Монашек молча подъехал к мертвецам, спешился, сложил им руки, прочел молитву, пугливо взглядывая на Никиту, сожидавшего его с нетерпением: ну как иной вражеский разъезд нагрянет? Тута уж и ног не унести!

Скакали потом, не останавливая, до кустов, до первого днепровского оврага. Тут только Никита смыл загустевшую кровь с платья, сапог и оружия.

На ночлеге, последнем, тайном, уже под самым городом почти, ночью, заслышав, что монашек молится вполголоса за убиенных, проговорил сквозь зубы в темноте:

— Их и оставлять-то в живых нельзя было! Всех бы нас и тебя, отче, прирезали потом! А теперь — тати ли, татарва... хто знат? Спи!

Сам про себя подумал в сей миг, что монашку все же свои киевляне ближе, чем далекие московиты, нагрянувшие вместе с митрополитом им на голову, и для него, мниха, военная нужа, совершенная на его глазах, не что иное, пожалуй, как простое убийство.

Все же до города он их довел и передал с рук на руки Алексию.

Ратника похоронили скрытно, уже не как героя и мученика и не в пещерах уже, а на мирском кладбище, и стали ждать вестей.

Вестей ждал, видимо, и князь Федор. Во всяком случае, о гибели своего разъезда он Алексию так и не повестил. Впрочем, о том, что подозревает князь все-таки русичей, стало ясно из того, что в ближайшие дни невестимо пропали двое вышедших на рынок московских ратных да так и не сыскались потом, даже и трупов ихних не нашли.

И дивно было глядеть при этом при всем на красоту земную, распростертую окрест, на голубые дали заднепровья, поросшие бором, с дымами далеких деревень, на торговые лодьи внизу, на воде, на расцветающие сады, на пригожих селянок в цветастых плахтах, толпящихся во дворе лавры, на всю эту мирную жизнь, в которой и за которой стояла ежечасная подстерегающая их жестокая гибель.

Ночами Никита, осуровев ликом, обходил сторожу. Ратные, уведав от троих вернувшихся об удальстве Никиты, слушали его беспрекословно, взглядывали с опасливым обожанием. Ведал, видел: поведи на смерть — пойдут! Но — против кого вести? И где тот бой, в коем можно умереть со славою? Не схватят ли тут всех и перережут, как кур, когда придет Ольгердово повеление? А что оно придет, не может не прийти, все, и Никита в том числе, понимали слишком хорошо.

На Москву вести о злоключениях Алексия, посланные украдом, отай, и прошедшие через многие руки, дошли далеко не сразу.

Сейчас даже трудно понять, как могло совершиться такое. Алексий уехал в Киев после Крещения, и до трагических событий, совершившихся на Москве в конце года, прошло не менее семи месяцев его пленения в Киеве, о коем, повторим, в русских летописях нет ни слова, и знаем мы об этом лишь из соборных уложений константинопольской патриархии. Но и более того! Осенью, в сентябре, новгородцы посылали в Киев, к митрополиту, ставиться своего нового архиепископа, словно бы еще не зная, в каком тягостном положении находится Алексий. Меж тем попросту не знать о пленении своего владыки москвичи не могли никак. Даже и простая задержка известий должна была вызвать тревогу князя и совета бояр, тем более, что Алексия впоследствии прочили не больше не меньше — на место блюстителя престола при малолетнем Дмитрии. Объяснить все это возможно лишь намерениями и планами самого Алексия, быть может, какими-то тайными переговорами, которые он вел (с кем? и о чем?), не посвящая в то никого более и надеясь на конечный благополучный исход своей миссии.

Алексию самому не хотелось преждевременно извещать боярскую думу и Ивана Иваныча о том тягостном и стыдном положении, в которое он попал. Кроме того, он еще надеялся, что князь Федор одумается или же струсит и уступит ему. Надеялся даже какое-то время одолеть Романа, надеялся на помощь волынских епископов; наконец, верил во вмешательство патриарха, не ведая о гибели своего первого посольства... Коротко говоря, тайная грамота с просьбою о помочи ушла на Москву только в конце апреля. Причем, по мысли Алексия, помочь должна была быть оказана ему чисто дипломатическая. Дело в том, что Федор с его волостью до сих пор подчинялся Орде и ордынскому хану. (Хоть и был, хоть и числил себя на деле киевский князь скорее подручником Литвы!)

И потому, стоило лишь прийти из Орды властному приказу, все и волшебно должно было измениться в городе Киеве.

Алексий связывался уже и с киевским баскаком, и от себя посылал весть Тайдуле, но тут должен был быть ханский указ, ежели надо, подкрепленный военною силою, а основанием указа могла служить жалоба великого князя владимирского. Излечивши Тайдулу от слепоты, Алексий теперь твердо рассчитывал на помощь царицы и ее эмира Муалбуги, которые вдвоем должны были воздействовать на хана Бердибека и иных золотоордынских властителей.

Не стоит рассказывать, через сколькие руки прошла грамота, направленная в Москву, и как долго она добиралась до места. Но, во всяком случае, москвичи не были виноваты ни в какой волоките на этот раз. Дума собралась в тот же день. Мятая, сто раз подмоченная грамота переходила из рук в руки. Бояре супились. Был бы Киев, как говорится, под боком, и сами бы, почитай, пошли отбивать своего владыку у князя Федора. Иван Иваныч, испуганный положением своего заступника, и сам отчаянно торопил с решением, и уже наутро скорые гонцы с избранными из бояр помчались в Орду, загоняя коней...

Да нет! Даже и ратной силы не надобно было! Один лишь строгий фирман, привезенный каким-нибудь вельможным татарином! И то только потому, что у татар днепровских, бывших половцев, были и свои счеты с Ордою, когда-то взорвавшиеся грандиозной войной, затеянною темником Нохоем, а ныне подготовлялось то же самое, и во главе недовольных кипчаков — скоро, очень скоро! — должен был стать темник Мамай, будущий враг Руси... Но до того пока — годы! А днесь, нынче — окрика бы хватило ханского из Сарая и князю Федору и киевскому баскаку!

Бешеной скачью от яма к яму, меняя коней на подставах, забывши всяческие возки, мчали молодые бояре московские, грядущая поросль хозяев страны, те, что поведут, возмужав, русские полки на Куликово поле. Скакали, делая по полтораста, по двести верст в сутки, но даже и при такой бешеной гоньбе неделя, почитай, надобилась, чтобы доскакать до Сарая.

Татар увидали нежданно, с вершины холма. Пока совещались, бежать или нет (запаленные кони тяжело поводили боками), стало поздно. К ним подскакивали с перекошенными лицами, на ходу сматывая арканы на руки, что-то вопя.

— Война у их, что ли? — тревожно спросил младший Зернов, названный в отца Дмитрием.

— Кабыть... — нерешительно протянул Семен Жеребец, кладя руку на рукоять сабли. Но Федор Кошка решительно отстранил старшего брата. Выехал вперед, требовательно крикнул по-татарски:

— Ханский фирман!

К ним уже подскакивали, окружая со всех сторон. Кошка подъехал к сотнику, признавши того по платью, и по какому-то наитию, спасшему всю дружину русичей от гибели, возгласил:

— К Тайдуле едем!

Сотник поскучнел, воровато оглядывая русичей. Федор Кошка и тут нашелся — начал совать серебряные монетки каждому из татар. Среди воинов, сбившихся разом в кучу, едва не началась свалка. Какому-то зазевавшемуся зеленому еще татарчонку сунул диргем в рот. Тот от неожиданности выплюнул было серебро, но опомнился, соскочил с коня, начал искать в траве.

Первый приступ сбили, а там уже и говорка пошла. Кошка потребовал у сотника проводить русских гонцов к набольшему. Ехали кучно, теперь уже совокупною дружиной. (На Москве позже, отчаянно привирая, Федор Кошка будет хвастать, что клал серебро в рот подряд всем татаринам и те, спрятав монету за щеку, переставали кричать...)

Их все-таки пропустили. Хоть и почванился было эмир, но Кошка, бегло говоривший по-татарски, скоро нашел общих знакомцев, улестил, уговорил, пригрозил даже, словом — выпутались. Уже когда отмотались от последнего татарина, в виду самого Сарая, сказал Федор спутникам:

— А, видать, против Бердибека они! Ишь, галдят!

На большой, разлатой лодье с низкими, только-только достать воды, набоями, заведя сторожко фыркающих коней, переплавились в город.

Сарай тоже шумел. Там и тут вскипали крики, ругань, кого-то били плетью, кто-то, вырываясь, кричал. Кучки ратных на рысях разъезжали по улицам. Покамест добрались до подворья, их останавливали, осматривая, раз шесть.

К Тайдуле попали поздно вечером. Царица принимала Кошку и Митю Зернова у себя во дворце. Долго слушала. Пергаментное лицо с потухшими глазами было недвижно, как маска. Сказала:

— Отец Алексий пусть молит о нас! — Замолкла.

Рабыни ставили перед русичами ненужные кушанья. Зернов ел, не чуя вкуса пищи, из одного уважения к царице.

Кошка долго, быстро и горячо говорил по-татарски, прикладывая руки к груди. Дмитрий не все понимал в речи друга.

Скудно чадили светильники. В колеблемой их тени резче прорезывались отвисшие подглазья на лице Тайдулы. Наконец царица сказала громко:

— Я спасу главного русского попа! Сделаю все, что могу! Ступай! Получи фирман!

Обманывала она или, скорее, сама обманывалась, не понимая (или не желая понимать?), что уже ничего не может, кроме как на краткий срок сохранить свою жизнь?

Назавтра они представлялись хану. Бердибек сидел, вцепившись в золотой трон. Несколько раз, произнеся: «Да, да!», как кукла склонил голову.

Вечером того же дня все трое были у Товлубия. Толстый старый убийца долго молчал, слушал. Вдруг, вздохнув жирною грудью, посетовал, что нет на свете коназа Семена. Кошка, поглядев внимательно в глаза властному старику, понял вдруг по недвижности взора, что тот трусит, и трусит так, что уже и плохо понимает, что ему говорят русичи. И Федору стало жутко. Здесь, у Товлубия, яснее всего понял он, что происходит в Орде.

Назавтра Кошка с Зерновым побывал у суздальского князя Андрея, прибывшего в Сарай по своим делам, потолковал и со многими эмирами. Вечером сказывал, крутя головою:

— Похоже, други, неважные настали для Бердибека дела! И сразу-то... отца задавить да братьев! Чать, и у их, бусурман, совесть есть! А нынче, сказывают, начал убивать то того, то другого, дак уже и все эмиры, почитай, отшатнули от ево! Не ведаю, сумеет ли и царица помочь нашему батьке! — присовокупил он со вздохом. — Просидел бы хотя полгода на престоле еще!

Сарай шумел и ночью, не засыпая. Русичи хлебали стерляжью уху, невольно теснее придвигаясь плечами один к другому. Чуялось, что ночь вот-вот может взорваться сабельным звоном, ратными кликами и бешеным топотом коней...

Уезжали назавтра. А суздальский князь, застрявший еще на два дня, попал в самую круговерть. Передавали — еле живым выбрался.

Весть о том, что Бердибек убит, в Сарае резня и на троне сидит теперь самозванец, назвавшийся сыном Джанибековым, Кульпа, Кульна ли, нагнала русичей за Воронежем. Ничего не стоил теперь фирман покойного хана!

В Киев, похоронив надежды на помощь Орды, весть о гибели Бердибека и о том, что зарезан Товлубий и прочие возлюбленники хана-отцеубийцы и что в степи — война, дошла еще только месяц спустя. Теперь у Алексия оставалась одна надежда, и, кажется, последняя, — на вмешательство Константинополя.

Князь Федор был глуп и труслив. Ольгерд в бешенстве мерил шагами спальный покой своего каменного замка. Вместо того, чтобы сразу захватить и уничтожить Алексия (а он бы, Ольгерд, свалил все на Федора, сам вышел сух из воды и на престол митрополитов всея Руси посадил Романа), вместо того, чтобы хоть... отравить, что ли, — кормы ему шлет! Гонцов не пускает! Да уж сотня гонцов прошла, поди, все заставы Федоровы! И не вступиться сейчас, иначе откачнет Константинополь. Изберут иного митрополита на Русь, поди, сместят и Романа! Слухи о безлепом киевском плене митрополита уже поползли по всей Волыни, Белой и Черной Руси. В Вильне на рынках толкуют об этом! Ульяния счас придет и будет страдать и умолять его помиловать Алексия. Ну, ее-то он улестит, обманет, а других? А православных епископов? А Константинополь? Патриархат?! Мерзавец, негодяй, слизняк!

Весной его задержала и отвлекла война со Смоленском. Старый князь Иван Александрович умер в конце марта. Сел на престол его сын, Святослав, который тотчас пошел походом на Белую. Пришлось рати бросить опять против смольнян. Приступом взяли Мстиславль. (И отдавать не буду! — мстительно подумал Ольгерд.) Он остановился, прислушался. Кажется, Ульяния прибыла из церкви и с сыном подымалась сюда. Скрипнув зубами, Ольгерд взял себя в руки.

Ульяна вошла в легком шелковом летнике, протягивая к нему руки, остановилась, узрела тотчас заботный хмурый лик супруга. Он вздохнул, расправил морщины чела, поцеловал ее розовые небольшие руки. (Лишь бы не завела речи об Алексии!) Она все же не удержалась. (Как из церкви — так сразу про митрополита владимирского, иной заботы нет! Роман — родственник, тоже митрополит, муж всяческих добродетелей и великой учености, почто ж об этом-то московите заботить себя?!) Церковь православная... католики... Завела опять! Закрыть бы все церкви в Вильне да и костел в придачу! Нельзя. Попробовал один раз. Невозможно. Скороговоркою отмолвил жене:

— Посылаю в Царьград! Князя Федора накажет Орда!

— А ты? — поглядела светло, вся к нему потянувшись.

— Он не мой подручник! Я еще не вступил в Киев! — почти выкрикнул. — Я еще не могу ратиться с ханами Золотой Орды!

Ульяна смолчала, опустила взор. Он огладил ее плечи, сказал негромко:

— Всеволоду надо помочь! Не ведаю чем... Василий Кашинский с московскою помочью скоро всех твоих родных выгонит из Твери!

Она прильнула к его груди, вздрагивая: вот-вот заплачет. Тихо, чтобы не спугнуть, произнес:

— Пусть Алексий подольше посидит в Киеве! Я хотя бы сумею поддержать братьев твоих!

Она кивала головою, веря и не веря, силилась улыбнуться, гневала на себя за невольные слезы. Наконец успокоилась. Нянька как раз вовремя внесла последнего сына, и Ольгерд, подержав малыша, бережно положил его на руки матери:

— Вот наше грядущее, жена!

Вечером в Константинополь уходила новая грамота с жалобами на Алексия и тайная — князю Федору, в которой ни о чем не было сказано прямо, но угроза сместить князя со стола и заменить кем-нито другим была достаточно ясна. Впрочем, князю Федору Ольгерд уже переставал верить. Надобно было слать своих, решительно кончать дело. Но — когда? И как?

До Троицкой обители, в радонежские, благоухающие всеми ароматами весенней хвои леса вести издалека доходили протяжно и скупо. Здесь были свои заботы, печали и радости, и всего, плохого и доброго, с устроением общего жития умножилось втрое.

Сергий знал, что владыка Алексий в Киеве, чуял, догадывал, что задержан он там не добром, и посему паки посылал с грамотою к Дионисию, а в храме установил особую вседневную молитву о сохранении митрополита от напастей. Стефан выведал на Москве, видимо, какие-то иные известия, но — не сказывал, и Сергий не расспрашивал Стефана, понимая его борения и тайную обиду. Молчаливо поручал, вернее — дозволял Стефану вершить то и иное по делам обители, в Переяславль с труднотами посылал всегда именно его и, вопреки всему, видел усиливающееся день

ото дня отчуждение от себя старшего брата, коего он теперь иногда ощущал как бы уже и молодшим себя и жалел, но не мог ничем помочь борению Стефанова духа с демоном гордыни.

В эту первую зиму общежительного жития Сергий передумал множество дум. Видел, как трудно даются инокам и строгость устава, и лишение имущества, и общие трапезы. Видел, и думал, и передумывал вновь и вновь. Все было верно!

Да, конечно, для мужиков, для семьи, где дети, плотская жизнь, земные заботы о скоте, хлебе и лопоти, где дани, и кормы, и городовое дело, где власть, которую надобно кормить, где, наконец, всегда отыщется тунеядец, коего грех и держать в деревне, да, там общее житие было бы и невозможно и губительно, ибо за трудом всех скрывались бы те, иные, кто не восхощет труда и будет жить яко трутень (но ведь и трутней пчелы убивают или изгоняют в свой час!). И, помыслив о сем, видел Сергий, что ничего лучше, вернее, достойнее той жизни, которая установлена крестьянами за века и века, измыслить не можно.

Каждый живет в своем дому. Тут и изба, клеть, житница, конюшня, сенник. Каждый работает на своей земле и знает свой труд и плоды своего труда. И ведает, что кроме него и за него труд сей никто не свершит. И ведает, что все огрехи и леность, допущенные по весне, осенью явят себя в урожае. И ведает, что землю, погоду и непогодь, дождь или вёдро — не обмануть. Что летом надо встать до света и уже быть в поле. Что за скотиною нужен уход паче, чем за детьми, а дети в уходе том за скотиною, огородом, в страде полевой как раз и вырастают людьми, тружениками, продолжателями дела отцов с самых младых ногтей. Все это ведает мужик, и все это свято. И свят хлеб.

Иное дело — помочи. Погорельцу миром ставят дом. Девки вместе треплют лен, прядут, рубят капусту. Помочью молотят, помочью возят лес. Сироту не бросит мир, кормит, растит, помогает стать на ноги. Девку, принесшую в подоле дитя, от которой отрекутся родичи, и ту не бросит мир — даст избу и корову и велит растить дитя до возрастия. Мир строг, но мир и держит, и только тунеядцу, вору, пакостнику не место в миру. Таких изгоняют, а коневого вора, покусившегося на самое главное достояние пахаря — лошадь, того и убьют миром. Страшно убьют. И в этом тоже прав мир. А то, что пашня своя, и огород, и хмельник свой, и свои пожни, и свои сена — то и соревнуют друг перед другом: у кого лучше конь, сытее скотина, справнее изба, нарядней баба на праздниках. И ценят человека по роду, внука — по деду. То все понуждает к труду, к деянию, к тому, чтобы быть не хуже иных на миру. И всё тут — и посиделки, и свадьбы, и похороны. На миру и смерть красна!

И кабы все было так и только так... Но не только так! И среди крестьян бывают и злоба, и колдовство, и суеверия, с которыми борется церковь, ненависть и право силы, разъедающие деревенский мир. И тут все усилия церкви, духа, разума, наконец, тут-то и надобен и необходим первее всего монашеский подвиг!

Когда вокруг новой обители начали возникать первые починки, это еще мало заботило троицких старцев. Но с каждым годом являлись новые росчисти, и уже не только с тем, дабы отпеть покойника или перевенчать молодых, являться стали в монастырь мужики. Начали приходить искать защиты от неправедного соседа, от насилия владельца-боярина. И Сергий, коему крестьянский труд был так привычен уже, что он порою сам забывал о боярском происхождении своем, узрел, почуял вновь всю трудноту, сугубую трудноту, когда надобно убедить в чем-то простого крестьянина. Боярина, купца, посадского, — с теми со всеми было много легче. Мужики слушали, вздыхали, низили глаза, винились и — поступали опять попрежнему.

Знал Сергий эту лукавинку селянина. Знал и с горем убеждался, что ему, именно ему, потому что работал сам, как и они, и не величался ничем, было с мужиками особенно тяжко.

И этот случай нынешнею зимой с тем богатым селянином, Шибайлою, врезавшийся ему в память, не мог Сергий, положа руку на сердце, зачислить в удачи свои, как о том твердит вся братия, нет, не мог! И было это его поражением, не победою.

Шибайло наповадил ходить в монастырь, как на посидки. Станет, разгладит холеную бороду свою, выстоит истово всю службу, поклоны кладет в пояс и, разогнувшись, опять глядит, слегка улыбаясь, любовно озирает Сергия, словно дорогую покупку свою: вот, мол, наш-то! Каков! И на лапти Сергиевы глянет и тоже словно ободрит с прищуром: мол, знай наших! Словно бы и в лапти нарочито обулся Сергий для виду казового, для пущей, нарочитой простоты.

И вот этот-то мужик-богомолец и отобрал у соседа, у отрока-сироты, полутарагодовалого борова, вскормленного тем для себя с трудами великими. (А что значило для ребенка выкормить свинью, ведал Сергий слишком хорошо!) Мальчонка, Некрас, прибежал в обитель, пал в ноги Сергию.

Сергий повелел позвать Шибайло к себе на говорку. Выдержал на литургии, заставил и еще пождать. Завел в келью. Строго молвил, отметая сразу хитрые отмолвки и отвертки крестьянина:

— Чадо! Аще веруешь —ееть Бог, судия праведным и грешным, отец же сирым и вдовицам?! Ведаешь ли, что отмщение в руце его и страшен господень гнев?! Ведаешь, — повысил голос Сергий, и кривая усмешечка начала сползать с холеного лица крестьянина, — что и божьему долготерпению есть предел? Бог дал тебе сторицею, ты богатее других! Ужли и того не довольно? Ужли тебе, богатому и сытому, будет чем оправдати себя на Страшном суде? Убогого грабишь! Вопль его — ко Господу! Тебе ли указать таковых сильных, неправду деющих, коих домы опустели, и сами они нищими бродят между двор, а в оном веце их сожидает мучение бесконечное? Того хощеши?!

Шибайло взмок, уже стоял на коленях, божился, клялся, а в глазах плавала ложь, хоть и валялся в ногах и уверял, что заплатит сироте за вепря того. И была во всем — в слезах, уверениях, даже в струях пота на челе — та же крестьянская мужицкая хит-

рость: костьми лечь, а не дать, откупиться поклонами, клятьбою, божбой...

Все же струхнул малость. Придя в дом свой, освежеванную тушу укрыл в дальний угол клети, завалил рогожами. Парное мясо задохнулось, видимо, от тепла, и сонные зимние мухи ожили, заползли внутрь. Когда Шибайло глянул (так и не давши цену сироте!), мясо кипело червями, хоть и была пора зимняя. И тут по крестьянской, по той же осторожной сметке своей, где и баенник-овинник, и шишига-пустельга, и сосед-колдун, и всего иного намешано, чего и не измыслить враз, догадал, поверил, что и мясо то погибло не от чего иного, а от его, Сергиева, проклятия. И еще помыслил разом, что и весь двор его падет по проклятью старца (запомнил-таки слова Сергиева поучения!), и побежал к сироте с деньгами, долго кланял, винился. Краденого вепря выкинул в овраг, но и псы, бают, не ели уже той тухлятины. И позже, потом, срама того ради не смел являться более к Сергию на очи, в монастырь...

С таковыми вот богомольцами было особенно, излиха тяжело! И единое понял, утвердил Сергий для себя раз и навсегда, что тут надобны не уговоры, а гнев и страх господень, узда закона, ибо еще далеко оным до благодати и благодатного восприятия горней любви! И надобны строгость и неукоснение в трудах молитвенных. Никогда и ни с кем не позволял он сократить час службы или иное совершить послабление в делах молитвенных. «Ограда закона» была надобна. Кольми легче было бы ему в ризах украшенных с высоты амвона глаголати с ними! Нет, Господи! Прав ты, Учитель, и праведны слова твои пред искушавшим тебя: «Отойди от меня, сатана!»

Но это — мужики. Ихняя, мужицкая жизнь. Ихние беды. Его же задача и задача обители всей, каждого из братий и всех вкупе, — нести свет, пасти, и спасать, и укреплять духовное начало, вести борьбу с плотию и с гласами ее: болью, страхом, гневом, властолюбием, сребролюбием, леностию, похотью и иными многими каждый день, каждый час!

И эта нравственная, духовная сила важнее храбрости воина и мужества воевод. И борьба за нее безмерно сложна. Биться насмерть с врагом способны и звери, но токмо человек способен бороться с самим собой!

И ежели так смотреть на дело старцев (а токмо так и можно, и должно смотреть, ибо иначе — ни к чему и сами обители!), то тогда у мнихов, в киновии, все должно быть наоборот крестьянскому обиходу: никакой мужицкой собины, никакого имущества, ничего мирского. Ибо монастырь — меньше всего тихая пристань для устарелых и усталых от жизни, а больше всего — сама жизнь, жизнь высокая, и только высокая! Жизнь борьбы с тварным, животным, низменным ради величия человека, осиянного светом, явленным на горе Фавор!

Думал ли Сергий в сей миг о грядущем поле Куликовом, куда должна была выйти совокупная рать русичей, поверивших наконец, что они — одно! Дионисий, его знакомец нижегородский, думал и торопил тот героический миг по нетерпению своему. Сергий видел и знал — не скоро! И не о том надлежит пещись ему, а о том, чтобы пусть крохотный, но вырастить здоровый росток, росток грядущего. И потому так тревожно было видеть ему то, что происходит с братом Стефаном и с иными многими, возжелавшими греться в лучах славы нового игумена, но отнюдь не ревнующими разделить с ним полную меру сурового монашеского труда.

Стефан не грешил телесною слабостью. Но дух в нем пребывал в затмении гордыни. И Сергий видел это и не мог поделать с братом ничего. И ждал. И вот теперь Стефан не сказал ему, каковы дела у владыки Алексия в Киеве.

Весна согнала последние снега. Отцветали подснежники. На росчистях высунули свои сморщенные головы сморчки.

Вновь застучали топоры в обители. Достраивали, чинили, перерубали заново. Ставили сень над источником, ставили житницу, больницу, перерубали ветхие кельи.

Все имущество обители теперь было общим, и им ведали келарь и эконом. Общими стали по устроении книжницы и книги, чьи ни буди. С книги и началось.

Одно дело — взять книгу с полки в келье своей, другое — просить у еклисиарха самого, когда при том книга та досталась тебе по наследству от родителей или принесена тобою в обитель из Москвы.

Сергий, только что закончивший службу и еще не снявший священнического облачения, был в алтаре, а те, по-видимому, думали, что он уже покинул церковь.

Стефан стоял на левом клиросе и спросил канонарха (и в голосе, грубом, твердом, прозвучал давно сдерживаемый и ныне прорвавшийся гнев):

— Кто дал тебе книгу сию?

— Игумен! — послышался недоуменный и слегка неуверенный, судя по звучанию высокого красивого голоса, ответ канонарха.

В церкви было пусто, и потому голос Стефана, словно хлыст, взметнувши к высокому тесовому потолку, громом отразился в алтаре:

— Кто здесь игумен?! Не аз ли прежде седох на месте сем?! Кто избрал гору сию? Рубил храм? Известил владыку Алексия? Князя? Бояр?! У вашего Сергия един был тут ближник — медведь! Да и тот пропал невестимо! Ну и сидели бы... Да что! Никто бы из вас без меня и не явил себя тут! И игуменом был я! И поставил брата я! И ныне, когда... неведомо...

Стефан захлебывался словами, говорил уже то, чего слышать было не можно и не должно ему, Сергию... И выйти было уже нельзя. Он стоял недвижимо и об одном молил: да не зашел бы Стефан в алтарь!

Тот, выговорившись, затих, скорым неровным шагом исшед из церкви. Канонарх, посовавшись по углам, покинул храм тоже.

Сергий, дождав, когда оба отойдут и не возмогут узрети его, тихо вышел из церкви боковыми дверьми, медленно соступил по ступеням на теплую, уже прогретую солнцем упругую под ногою землю. Как был, в ризе и с омофорием на плечах, еще ни о чем не думая даже (в душе и в уме был только вихрь, проно-

сящийся сквозь гулкую тишину), пошел к воротам обители. Шаги его, неверные поначалу, становились все тверже и тверже, и — тут не скажешь инако, ибо, и верно, сами ноги, отдельно от головы, понесли его безотчетно знакомым путем куда-то к лесу и в лес, и только уже топча ногою прошлогодний черничник и отводя руками от лица ветви елей, понял он, и то какою-то самою незначительною частью сознания, куда идет. Ноги вынесли его к дороге на Кинелу. А в голове все творилась гулкая, громоподобная тишина. Текла, струилась, разламывая нечто и тотчас воздвигая вновь и опять перемешивая все в призрачные, голубо-серые груды.

Только когда меж ним и обителью пролегло несколько верст и ходьба немного успокоила Сергия, он начал думать, во-первых и сразу поспешив оправдать Стефана и овиноватить себя. Да, в чем-то, пусть и в самом малом, неважном, брат был прав. Он — старший, и у него просил некогда Сергий благословения, и с ним разыскивал место сие, и с ним вместе возводили они тот первый ихний малый храм. И с Алексием познакомил Сергия Стефан, и, явившись из Москвы к Троице, мог Стефан рассчитывать, что братия именно его изберет игуменом Троицкой обители. Все это было внешнее, неважное для жизни духа, и все-таки это было, и он, Сергий, невестимо сам для себя все это перечеркнул. И дать место жалости, любви к месту сему, памяти лесного одиночества, трудного строительства монастыря, вернуться воевать, спорить он тоже не может. Не должен, не волен даже! Ставший иноком да отвержется земного бытия!

Наверно, Дионисий не ушел бы так, как уходит он (а с каждым шагом вперед Сергий все более понимал, что уходит, ушел и уже не воротит назад).

Осыпалась земля, обнажились корни, и повял и отвалился не успевший укорениться росток.

Виновен ли он в том, что произошло? Нет. Потерял ли он все, что приобрел в эти трудные годы? Нет. Опыт, знание, мудрость и даже боль сердца — с ним. А значит, и не потеряно ничего!

Он шел, такой, верно, как пишут праведников на иконах: в полном священническом облачении и в легких липовых лаптях, пробираясь почти неслышно своим разгонистым ходким шагом по лесной тропинке, когда впереди глухо рявкнуло, мало не испугав, и мишка, стоя на задних лапах, оборотил к нему мохнатую морду свою. Слова брата о медведе пришли в ум, и на миг подумалось о том давнем приятеле своем. Сергий тихо позвал, ступил раз, другой, приближаясь к медведю. Но тот почти по-человечьи отмотнул головой: не я, мол! — опустился на четвереньки и пошел в сторону. Остановился на миг на пронизанной солнцем полянке, еще раз поглядел на Сергия, глухо рыкнул и исчез в кустах.

Садилось солнце. Уже покраснели его прощальные низкие лучи. Сергий наклонился, собрал горсть тающей во рту ароматной лесной земляники, неторопливо съел. Подумав, решился и заночевать в лесу. Не хотелось сейчас, в днешнем состоянии духа, искать какого-нито жилья. С последними каплями багреца, прорвавшимися сквозь заплот стволов, он нашел старую ель, нижние ветви которой утонули во мху, образовавши почти целиком закрытый шатер, нашел отверстие и заполз туда, на сухую горку колкой прошлогодней хвои. Здесь было тепло от нагретого за день воздуха, тепло, темно и тихо. Он еще подумал о давешнем звере: не пришел бы к нему сюда ночевать невзначай! Улыбнулся и уснул, положив под голову край омофория.

Спал Сергий не более двух часов, но выспался хорошо и, помолясь, выполз опять из приютившего его лесного шатра в туман, белым молоком налитый среди елей и берез, умылся росой, слегка издрогнув от утреннего холода, и, глянув на бледнеющее передрассветное небо, легким шагом устремил дальше.

Знакомый игумен монастыря на Махрище, Стефан, после сказывал, смеясь, что некто из братии, углядев Сергия в ризах, выходящего на заре из лесу, причем сияние солнечных лучей окружило его словно бы световым облаком, ринул со страху в обитель, невесть о чем подумавши тою порой. Верно, принял Сергия за какого-то сошедшего с небес угодника божия.

И вот они сидят со Стефаном Махрищенским друг против друга, и Сергий ест и, ничего не объясняя, просит проводника, дабы отыскать место для новой обители. Стефан глядит внимательно ему в лицо, понятливо склоняет голову и не выспрашивает ничего больше.

— Отдохни, брат! — говорит махрищенский игумен Сергию. — Побудь мал час со мною и братией, а заутра двинешься в путь.

Он очень долго молился в этот вечер, отгоняя от себя нахлынувшие видения прошлого. И лег спать только тогда, когда почуял в душе мир и спокойную, благостную тишину.

Нет, он ничего не потерял! А приобрел — многое. У него есть друг (и не один!), что поможет ему, ни о чем лишнем не вопросив, у него есть память, есть вера и есть знание того, что надобно делать теперь на новом месте и как надобно делать, дабы общее житие было с самого первого дня, чтобы шли — те, кто придет не к иному чему, а к предуказанному иноческому подвигу, чтобы киновия, для которой он еще даже не нашел места, стала подлинным вместилищем духа и ничем иным!

Ведал ли Алексий вдали, в невольном заточении своем, что его детище, обитель Святой Троицы, извергла создателя своего и Сергий ищет место для новой обители, чтобы начать наново, от истока, всю свою жизнь, и подвиг, и труд? Алексию было не до того теперь. Он только что получил весть о гибели Бердибека и понял, что Орда ему не поможет, и ждал теперь вестей из Константинополя.

Сергий искал место для новой обители несколько дней. Брат, посланный с ним игуменом Махрищенского монастыря, порядком-таки уходился в путях и уже про себя, отчаявшись обрести отдых, начинал недовольничать, с недоумением взглядывая на двужильного радонежанина, когда наконец место нашлось.

Что ищет русский человек, какое место избирает для поселения своего на великой русской равнине, полого всхолмленной и пересеченной струями рек?

Горных вершин, в том понимании, в каком они привычны нам, знающим Кавказ, Урал и Карпаты, тут нет, и само слово «гора» означало в древнем языке русичей попросту всякую сушу, берег, землю, в отличие от воды, а совсем не гору в том каноническом, нынешнем понимании этого слова.

И при всем том ищет русский человек всегда — высоты и выходит на высоту, место «красное», то есть высокое и красивое, откуда и видать далеко. Так, древние киевляне, получив под Выдубицким монастырем образованную подпорною стеною площадку для гуляния, вознесенную над обрывом Днепра, любовались видом оттуда, говоря: «Яко аэра достигше!»

И для языческих треб своих славяне-солнцепоклонники избирали всегда холмы и подсыпали, насыпали даже «Велесовы горки». И места, где водили хороводы в деревнях, звались горками и устраивались обычно на открытых взору высоких обрывах.

Память далекого, исчезающего во мгле времен прошлого, память пращуров, живших когда-то в подкове Карпатских гор и спустившихся оттоле на равнины Приднепровья? Возможно! Так ли, иначе, но в отличие от рыбаков-чудинов, селившихся у воды, в низинах, русский человек избирал всегда высокие красные места, а были такими на великой русской равнине главным образом высокие берега рек, крутояры (от слова *яр, ярило,* солнце, коему поклонялись славяне на высотах своих). И там же, на крутоярах, ставили позже церкви, чтобы далеко видать было — шатер ли вознесенный, главу ли церковную или гроздь круглящихся в аэре луковичных глав.

И Сергий безотчетно искал для себя места красного, высокого, открытого взору, и вот наконец нашел.

Они были верстах в пятнадцати от Махрищенской обители и шли по берегу Киржача, огибая широкую речную пойму, по весне, видно, всю заливаемую водой. Бор на далеком изгибе берега подымался высокою гривой, и по бору скорее, чем по чему другому, почуялась высота. Пока пробирались частолесьем, лесная грива ушла из виду, удалилась куда-то вбок, а полого восходящий, заросший красным сосновым лесом берег почти не давал ощущения подъема. Но вот в прорыве сосен вновь открылась взору прежняя пойма, но уже глубоко внизу, и река, выбегающая из-за невысокого мыса, неслась прямо на них, ударяясь в изножие обрыва, и по бегучей силе воды казалось, что сам берег плывет, наплывает на эти бурлящие струи.

Река уходила налево, а за нею, на запад, лежала, точно в чаше широкой, лесная долина, и зубчатые на самом краю небесной тверди синие языки далекого леса наползали на нее с двух сторон, не смыкаясь, а между ними висела, таяла в золотистой рассеянной дымке вечереющего солнца распахнутая до самого окоема легчающая воздушная голубизна, словно ворота, отверстые в вечерний несказанный свет.

Сергий до того шел скорым шагом своим, скользя между стволов, и вдруг его словно что-то толкнуло. Он прошел еще, остоялся, повелел спутнику молчать, стоял и смотрел. Медленно побрел назад, остановился, поворотил, пошел словно бы ощупью, глядючи и не видя. Искал тот тайный позыв и — нашел. Опять словно толкнуло в грудь и лицо. Струилась река. Место было красно и прилепо, но и не то было самое важное. Красивых мест они навидались за эти дни. Было в окоеме, распростертом окрест, некое напоминание. Словно видел давным-давно, в детстве глубоком или еще до рождения. Видел и позабыл и днесь, душою, вспомнил.

Он стоял, забыв о махрищенском брате, стоял и думал, даже не думал, а впитывал в себя то, что пришло к нему невестимо, и уже понимал, угадывал, сведал — здесь!

Тогда Сергий подошел к обрыву, опустился на землю. Сидел, впитывая в себя тайную весть, и прилеплялся к ней, оттаивая сердцем. И когда уже позабытый брат намерил разбудить, окликнуть Сергия, встал, оглянул прояснившим взором махрищенского инока, боровой лес, далекие облака над дальнею волнистою чередою окоема и, протянув руку, попросил секиру, заткнутую иноком сзади за ременной кушак.

Звонкие удары топора и гул очередного рухнувшего дерева встретили гаснущую над дальними лесами вечернюю зарю. Сергий рубил себе келью. Потрескивал костер. Ободрившийся махрищенский инок, приготовив ужин, налаживал нехитрый ночлег. Маленькое храброе пламя изо всех сил боролось с величавым угасанием солнца.

К Ольгерду в Вильну выехал московский посол Дементий Давыдович. Василий Вельяминов распорядил двинуть к Ржеве запасные войска. Чаяли ордынской помочи, но тут погиб Бердибек, старому барсу Товлубию перерезали горло. В Орде творилось несусветимое. От нового хана, Кульпы, который, захватив Сарай, вел безнадежную борьбу со степными эмирами, казнил направо и налево, грабил ордынские города и явно не собирался долго сидеть на престоле, какой-либо помочи получить было не можно. Тайдула только потому осталась в живых, что ордынский самозванец объявил себя Джанибековым сыном. Из-за ордынского размирья даже и посольство в Константинополь не могло выехать. А тут паки утесняемый Василием князь Всеволод побежал в Литву. Дело усложнилось невероятно, и вся надежда теперь была уже только на Царьград.

Алексиевы гонцы, отец Никодим со Станятою, добрались до Константинополя в самый разгар летней жары. Кабы не слабый ветер с Босфора, в городе нечем было бы и дышать. Их не встречал патриарший клирик, их вообще никто не встречал, и затерянные в толпе усталые путники едва сумели раздобыть себе ночлег в Манганском монастыре.

К патриарху Каллисту на прием добивались три дня. Отец Никодим, никогда доднесь не бывший в Константинополе, разевал рот на градскую каменную красоту, дивился Софии. Станяте было не до того. Высчитывая дни и недели долгого путешествия, он со страхом думал: жив ли еще владыка?

Наконец нравный старик принял русичей. Сердито потребовал грамоту. Станяте показалось даже, что

Каллист втайне рад злоключениям русского митрополита.

Вместо энергичного приказа патриархия затеяла уклончивую переписку с Ольгердом, еще более затянувшую Алексиев плен, ибо Ольгерд, окончательно поверивший в свою безнаказанность, начал требовать от патриархии утверждения своего ставленника на всей русской митрополии, ничего взамен не обещая.

В секрете великого хартофилакта русичам посоветовали навестить бывшего патриарха Филофея Коккина, который пребывал на Афоне, руководя лаврой Святого Афанасия, и мог воздействовать на Григория Паламу, а тот — понудить Каллиста к решительным действиям, ибо кто-кто, но отец Палама был для Каллиста, ярого «паламита», безусловным авторитетом.

Станята, оставив отца Никодима в Константинополе, дабы ежеден надоедать патриарху, в тот же день нашел рыбацкое судно, сговорился с кормчим и с полуночным ветром отплыл на Афон.

В бархатной темноте южной ночи утонули башни вечного города. Снова, как когда-то, древняя Пропонтида, со времен аргонавтов не меняющая свой вечный лик, мягко колышет греческую лодью, и тяжко хлопает просмоленный рыжий парус над головою. Станята дремлет, прикорнув среди кулей с товаром и завернувши голову полой зипуна. Утреет. По враз засиявшему небосводу катит золотой шар солнца, и уже жарко среди кулей, и сброшен зипун, и Станька в рубахе одной с распахнутым воротом — ветер приятственно холодит шею и грудь — помогает кормщику и двум пожилым грекам поднимать дополнительный парус.

К самому Афонскому мысу, грозно нависающему над морем, пристать было невозможно. Станята от гавани добирался до лавры святого Афанасия, где на осле, где пешком, целых полтора дня. Дивился висевшим над пропастью, над морем террасам, башням, словно бы парящим в воздухе, путанице неведомых пахучих дерев и кустарников, перевитых плющом и вовсе непроходных. Дуло то с моря, то, обдавая волною запахов, с берега. От нагретого камня, дремлющих листьев лавра, миртовых ветвей и многоразличных неведомых Станяте цветов шел одуряющий аромат. На камнях грелись ящерицы. По скалам рос виноград, подымались смоковницы и оливы. Райская, сказочная земля окружала афонские монастыри!

В лавру, за ограду, сложенную из грубых каменных глыб, Станяту пустили сразу, как только он назвал имена Филофея Коккина и Алексия. И это показалось ему добрым знамением.

Филофей Коккин принял Станяту не стряпая, тотчас узнал, обозрел живыми черными глазами, вопросил об Алексии.

Они сидели в келье игумена, коим был сам Коккин, и бывший патриарх кивал головою, с болью взглядывая иногда на Станяту. Третьим в келье был молодой инок, болгарин родом, как понял Станята по разговору; именем Киприан, и тот тоже внимательно слушал Станяту, то и дело бросая на Филофея красноречивые взгляды.

Филофей страдал, стонал даже, особенно когда уведал про убиенных священнослужителей. Прошептал с мукою:

— Говорил я ему!

Сам про себя, уже невнимательно выслушивая Станяту, Филофей думал, что надо было не спорить, во всяком случае не **т а к** спорить с князем Ольгердом! Потеряна жизнь, быть может, потеряна митрополия... Ах, брате Алексие! Должно иногда и уступать и отступать порою, выжидая нужного часа своего. Как содеял он сам, тотчас же уступивший престол Каллисту, когда Кантакузин передал власть Иоанну Пятому, Палеологу... И вот теперь он, Филофей, — игумен лавры Афанасия, а в будущем — кто знает?! Он уже сейчас готовит себе верных помощников, вот хотя бы и этого болгарина из знатного рода Цамвлаков, посхимившегося ныне и в грядущем способного зело ко многому!

Филофей не додумывал до конца своей мысли, и молодой болгарин при всем своем честолюбии еще и вовсе не мыслил о Руси, а Станята так и предположить бы не смог, что видит перед собою будущего русского митрополита, который победит некогда в сложной борьбе всех русских ставленников и воссядет на престол Алексиев, престол митрополитов всея Руси!

Филофею не надо было много подсказывать, что и как делать. Послание Григорию Паламе в Солунь он изготовил в тот же день и отправил со своим доверенным, а Станята остался ожидать в обители. Спал в низкой каменной келье с двумя молчаливыми иноками, спасаясь прохладою камня от греческой непереносной жары, отстаивал службы, лазал по скалам в свободные часы, продираясь сквозь заросли выше и выше, до самой высоты, откуда ровным, выкованным из расплавленного серебра бескрайним простором открывалось Эгейское море, разрезаемое то островатыми гребнями играющих дельфинов, то далекими черточками проплывающих фряжских и греческих кораблей. Глядел на запад, откудова из Солуни должен был приплыть или прискакать долгожданный гонец с письмом к патриарху, которое сдвинет с безнадежной мели утлый челн отчаянного русского посольства...

Филофей Коккин, выслушав и отослав Станяту и написавши послание Паламе, долго вздыхал, думал, наконец высказал Киприану, подняв на того свой жгучий страдающий взор:

— Алексий — муж высоких добродетелей и научения книжного, многих благ исполнен есть и того, чего не хватает ныне нам, грекам, — энергии действования... Но нетерпелив! Очень нетерпелив и непреклонен зело! Боюсь, он слишком раздражил Каллиста, и опасаюсь, что под его управлением русская митрополия расколется надвое! И с Ольгердом он был излиха непоклонлив и строг... Не ведаю, что ся совершит, и изо всех сил помогу кир Алексию, но... ежели... со временем... Там надобен муж, который возможет вновь связать воедино литовскую и владимирскую половины единой митрополии Руссии! Помни об этом, Киприане!

— Кир Алексий погибнет? — расширив глаза, вопросил молодой болгарин. Филофей покивал как-то

косо, вбок, вытер вдруг явившуюся слезу, пробормотал:

— Да... Нет... Не ведаю! — И, помолчав, свеся голову, тихо признался: — Все зависит теперь только от преподобного отца Григория Паламы! А он болен зело... Одна надежда на Господа!

Дни шли за днями. Плавилось солнце в трепещущей синей воде, реяли с криками морские птицы, а посланцев из Солуни все не было и не было. Филофей надумал уже послать иных, когда наконец гонцы его возвернулись со строгими лицами и без грамоты, повестив, что преподобный епископ фессалоникийский Григорий Палама умер.

Так рухнула последняя надежда спасти Алексия.

Перед отъездом в Константинополь Станяту пожелал узреть бывший василевс Иоанн Кантакузин, ныне — старец Иоасаф.

Величественный, весь не от мира сего, убеленный сединами старец долго разглядывал русича, сказал негромко:

— Передай кир Алексию, что я, смиренный Иоасаф, молюсь за него! Все в воле господней, и жизнь, и смерть!

— А Родина?! — не сдержав себя, воскликнул Станята.

— Родина — это вы сами! — едва заметно усмехнув, отозвался монах. — Землю не можно спасти, ежели она не хочет спасения, и очень трудно погубить, ежели она того не возжелает сама!

Перед Кантакузином на простом, потемневшем столе лежали листы плотной александрийской бумаги. Стояла медная чернильница с воткнутыми в нее несколькими гусиными перьями и глиняный кувшин с водой. Ничто в каменной келье не напоминало, что хозяин ее был еще совсем недавно ромейским императором. Станята не решился более что-нибудь возражать Кантакузину, молча склонился в поклоне и приложился затем к старческой благословляющей руке.

Филофей, провожая Станяту, напутствовал его заверениями, что будет стремиться содеивать и впредь все возможное...

На море стояла тишь, и возвращался назад в Константинополь Станята посуху, минуя одну за другой разоренные, обезлюженные фракийские деревни. Надобно было как можно скорей воротиться в Царьград, как можно скорей добраться с любым торговым судном до Киева и, по крайней мере, ежели совершится такая судьба, принять гибель вместе с владыкою. «Нет! Гибнуть нельзя! — одернул он сам себя. — Надобно спастись и спасти Алексия!»

Приезд Всеволода, коему он обещал помочь, и уклончивое послание из Константинополя развязывали руки Ольгерду.

Тотчас по получении послания от патриарха Каллиста Ольгерд послал в Киев своих бояр с дружиною, приказав заключить Алексия со спутниками под стражу, воспретив ему всяческую переписку с кем бы то ни было. Иные, тайные наказы были переданы воеводам с глазу на глаз.

Август истекал последними днями, кончали убирать хлеб.

В сентябре в Новгороде возвели на престол архиепископа чернеца Алексия, взамен оставившего кафедру Моисея, и тотчас послали его на поставление к Алексию.

В Твери новгородский ставленник был возведен епископом Федором в пресвитеры, но до Киева, до владыки Алексия, новгородское посольство так и не сумело добраться. Ольгерд перекрыл заставами все пути.

Литовско-русская дружина, посланная Ольгердом, въехала в Киев без всяких препон. Замятня в Орде отдавала древний город в руки Ольгерда. Князь Федор встречал насупленных литовских бояр винясь, низя глаза и виляя.

Только-только успел прибежать в лавру послушник со злою вестью, как уже за оградою послышалось ржание боевых коней и в настежь отворенные ворота лавры начали въезжать попарно литовские всадники.

Никита, прежде боярина сообразив дело, ругаясь, поднял всех и с копьями наперевес повел противу конных литовских кметей. Крик, шум, гомон. Лошади, тыкаясь в острия копий, вставали на дыбы. Бабы, роняя корзины с яйцами и прочею снедью, с дурным заполошным визгом, мешая и тем и другим, лезли аж под копыта коней, но поскольку толпа прихожан со страху рванула вон из лавры, то и вынесла, давя и калеча непроворных, вон из двора, с визжащими и причитающими жонками, литовских, потерявших строй и вспятивших кметей. Никита, выгнав последних, а одного, упрямого, подколов рогатиною, с треском захлопнул и заложил засовом монастырские ворота.

С той и другой стороны полетели стрелы, поднялся заполошный бабий вой, кого-то задело в толпе, слепо кинувшейся, словно стадо, прямо на конную литву, звонарь начал заполошно бить в колокол, и пока творилась вся эта неподобь, Никита, вздев броню и оборужив своих ратных, приготовил костры к обороне и загородил ворота телегами.

Опомнившийся владычный боярин, тоже вздевши броню и отчаянно ругаясь, забыв в сей миг, что находится внутри святой обители, грозя шестопером, кричал поносное литовским воеводам, прикрываясь щитом от вражеских злых стрел.

Литва уже соступила с коней, готовясь в приступу, толпа прихожан отхлынула, оставя тела двух изувеченных и растоптанных насмерть жонок. Но в этот миг явился князь Федор, ратники опустили луки, и начались переговоры. Алексий вышел с крестом, приказал отворить ворота и потребовал, чтобы литовские воеводы сошли с коней и объявили, что им нужно в обители.

Силы, впрочем, были слишком неравны. В конце концов, при посредстве князя Федора, постановили на том, что русичи сдадут оружие, но сами останутся в кельях и Алексий — по-прежнему в настоятельском покое. Ему будет разрешено пользоваться церковью, и лишь охрана в лавре станет теперь из литовских ратных.

Пока творился этот стыдный торг, Никита, бросив ратников на боярина, забежал в избу, где была устроена временная молодечная владычной дружины, оглядел стены и потолок, приметив щель между потолочинами и просевшей балкою; подвинув тяжелую лавку, достиг, дотянулся и засунул в щель саблю, оглянув — не видит ли кто? Заложил щель ветошкой, дабы и издали не видать было ножен, соскочил, отдернул, натужась, лавку назад, сорвал шишак, сдернул броню, свернул ее и выбежал за дверь с тяжелым железным свертком. Куда тут? Он сунулся за кельи, узрел яму, вырытую под стеною бродячим псом, шуганул четвероногого хозяина, сунул бронь в самую глубину, оглянув, узрел несколько битых древних плоских кирпичей и их затолкал в нору, дабы проклятый пес не отрыл и не вытащил брони, и рысью, взмокший от усилий, подбежал к молодечной в тот самый миг, когда там с поносною руганью, плачем и криками ратники сдавали брони и оружие литвинам. Никита стремглав нырнул в воющую толпу, начал бестолково соваться туда и сюда (литвины не понимали, а своим не до того было), пока литовский боярин не взял его крепко за шиворот.

— Вота! — Никита подавал ему, намеренно трясясь, колчан с луком.

— Броню, броню давай и саблю! — кричал литвин, коверкая русские слова.

— Сняли, сняли уже! — кричал ему в ответ Никита, готовно заглядывая в глаза и показывая руками, как с него снимают оружие.

Литвин, ругнувшись по-своему, влепил Никите оплеуху и пихнул в толпу разоруженных и враз потишевших ратных.

Лука было жаль. Хороший, татарский был лук! Ну, а отцову броню да саблю — накось, выкуси!

Впрочем, русскую молодечную, где были допрежь русичи, заняла литва, и судьбу своей сабли Никита так и не мог установить, ибо всех их развели по клетям и посадили под замок, а к вечеру принесли только жидкой похлебки да немного ячменного хлеба. Служба кончилась. Начинался стыдный и долгий плен. Даже и того, что сотворилось с владыкою, не ведали русичи, ибо лаврские монахи мало обращали внимания на чуждых им московитов-мирян, и потому, просидевши три месяца на затворе, оборвавшись, обовшивев и отощав, Никита не знал, не ведал ничегошеньки, пока однажды безмолвный печерский инок, принесший им в очередной раз воды и хлеба, не прошептал едва слышно, торопливо отводя взор:

— Князь ваш помер на Москве!

Никита рванул из гущи потерявших надежду жить, упавших духом ратников, но монашек уже притворил двери, клацнул засов, и неведомо было: правду ли баял инок, ложь ли? Но ежели правду, ежели Иван Иваныч уже не жив, всем им и владыке Алексию пришла смерть. А умирать просто так Никите никак не хотелось. Надобно было немедленно что-то думать о спасении и затеивать бегство.

Когда была разоружена дружина, разведены по клетям бояре и чадь, дошла очередь и до клирошан. Литовские воеводы грубо переворошили все имущество московитов, забрали дорогие церковные сосуды, чаши, потиры, серебряный сион, блюда, кресты, облачения. Алексию оставили единого служку, и в церковь он теперь мог выходить токмо в сопровождении литовских ратников. Тут уже возмутилась лаврская братия, и после долгой при порешили, что ратные, приставленные ко владыке, должны быть обязательно христианами, дабы своим присутствием на литургии не оскорблять святыни. Это была хоть и малая, но все же надежда. На православных, хотя бы даже и литвинов, Алексий надеялся повлиять.

Впрочем, литовский воевода тоже понимал дело и выбрал таких верующих литвинов, которые по-русски едва-едва понимали несколько обиходных слов.

Алексий тогда поставил перед собою задачу изучить литовскую молвь и начал использовать своих тюремщиков как учителей. К вечеру второго дня он уже выучил десятка два обиходных литовских слов. Общее знание языков, дисциплина ума и воли позволили ему в течение месяца довести свой словарный запас уже до нескольких сотен слов и научиться составлять вполне грамотно простейшие литовские речения. Приставленные к нему ратники, как тот, так и другой, скоро души не чаяли в Алексии, сказывали ему о доме, о семьях, о бедах и радостях своих, уже и молиться начали вместе с ним, а там и запускать к нему, вопреки запрету, того ли, другого из иноков, благодаря чему Алексий ведал обо всем, что творилось в монастыре и даже за его стенами.

В конце октября в Киев воротились константинопольские посланцы Алексия. Загорелые, обветренные, они у самой пристани едва не угодили в лапы литовской стражи. Слава богу, Станяте хватило ума ушмыгнуть, потянув отца Никодима за собою, когда начался досмотр товаров лодейным мытником.

От случившегося на Подоле лаврского инока они вызнали все невеселые новости и малость растерялись. Инок, опасливо взглядывая на Станяту, предложил скрыть отца Никодима. Путники молча переглянулись, и Станята медленно, поведя бровью, склонил голову.

— А сам ты? — озабоченно вопросил Никодим, когда монашек вышел за дверь, оставя их в маленькой пустой хижине у самого взвоза.

— А я... — Станята подумал. — Пойду прямо в лавру, попрошусь в затвор к Алексию! Коли ему одного служителя оставили, стало, меня пущай и берут! — твердо заключил он. — Как-нито будем сноситься с тобою, а ты... Чаю, наши есть тута! Дак разыщи, выясни, как оно... Надобно владыку спасать!

Поддавшись тревожному чувству разлуки, оба путника обнялись и крепко троекратно поцеловались.

Станька в тот же день был в лавре, где разыграл усердного дурака-холопа сперва перед игуменом, потом перед двумя литовскими бояринами, поднял шум и, рискуя сто раз головою, добился-таки, что его ввергли в узилище к Алексию, к вящей радости и Станьки и самого Алексия. Тут только и смог он рассказать, и то поздно вечером, о всех перипетиях

своего посольства, о смерти Паламы и о невозможности ныне воздействовать на патриарха Каллиста.

Говорить им много не давали. Спал Станята отдельно от Алексия. А в стороже у владычных дверей литвин начал теперь ставить татар-наемников, вовсе не ведавших ни русской, ни литовской речи.

С татарами Станька, впрочем, живо столковался (баять много тоже не приходило, литвин не должен был знать о Станькином умении), да и Алексий мог произнести при нужде несколько слов по-татарски. Те где-то прослышали от своих, что урусутский поп Алексий — кудесник, излечивший Джанибекову царицу Тайдулу, и тут опять приоткрылась возможность ежели не побега, то многоразличных послаблений.

Во всяком случае, о первой попытке отравления Алексия предупредил один из татар, пробормотавший вполголоса: «Не кушай, бачка, каюк!»

С этих пор Алексий проверял украдкою всю приносимую ему еду и держал в келье изрядный запас древесного угля и противоядий, достанных по его просьбе лаврскими иноками.

Отравить Алексия пытались еще дважды. Один раз он даже съел отраву, но вовремя вызвал рвоту и, проглотив изрядное количество угля, остался в живых.

Никогда еще так много и горячо не молился Алексий, как в эти долгие месяцы, никогда не исхитрял столько свой ум в поисках хоть какого выхода. Но выхода не было. И не было вестей из Москвы.

Меж тем проходил октябрь. Холодный ветер сушил землю, рвал листья с дерев. Выходя во двор лавры по пути в церковь, Алексий видел испестренные желтые дали, с болью вдыхал холодный, притекший из далекого далека ветер Родины, следил улетающие на юг птичьи стада. Приближалась зима, осенняя распута уже содеяла непроходными пути. Скоро застынет земля, падет снег. О чем мыслит Иван Иваныч? Бояре? Дума?! Минутами Алексий становился несправедлив, забывал, что все, что могли они содеять, уже содеяно, и что ни князь, ни бояре не виноваты ни в ордынской замятне, ни в смерти Григория Паламы. Но его властно звала Родина и Господь, требующий от христианина дел, а не слов. И тогда Алексий начинал винить уже самого себя, так нелепо угодившего в эту зело нехитрую, расставленную Ольгердом западню.

Меж тем уже первые белые мухи закружились в похолодевшем воздухе, наступил ноябрь.

Смертность в древности была велика во всех классах общества, и умирали не только во младенчестве, умирали во всяком возрасте. Обычный и для наших дней совсем не страшный аппендицит мог свести в могилу молодого, полного сил человека. Поэтому до старости доживали немногие, и в основном те, кому позволяло отменное, данное природою здоровье и, кроме того, правильный образ жизни, почему, например, священнослужители жили, как правило, гораздо дольше князей. Умирали слабые, хилые, неприспособленные к жизни, а рожали много, и потому общество было в целом молодым и здоровым. Высокая смертность средневековья лучше всякой медицины охраняла общество от наследственных болезней и чрезмерного постарения. Немногое количество крепких стариков, всеми уважаемых хранителей народного опыта, и масса полной сил, жизнерадостной и предприимчивой молодежи — вот как выглядело общество в те далекие «средние» века; а ежели говорить о наших XIV—XV столетиях, то скажем и еще точнее: в века подъема, в века молодости нового этноса, Руси Московской, пробивавшего и пробившего себе дорогу сквозь тяжкое наследие поздней, склонившейся к упадку Руси Киевской, Золотой, Великой, но уже и нежизнеспособной Руси!

Мы не знаем, чем болел московский князь Иван Иваныч Красный, умерший удивительно молодым, всего тридцати трех лет от роду. Был ли он болен с молоду? Едва ли! Именно от него родила Шура Вельяминова Митю, Дмитрия, будущего героя сражения на Дону. От больных отцов редко родятся столь здоровые дети!

Но все упорно говорит об ином — об усталости от жизни, о страхе перед своею княжескою судьбой человека, возможно, и мягкого, и нестойкого духом, но безусловно неглупого, сумевшего углядеть государственные таланты Алексия, сумевшего утешить боярскую котору, возникшую после убийства Хвоста, сумевшего удержать великое княжение в своих руках (пусть и с помощью бояр, пусть по благословению Джанибекову и за спиною Алексия, а все же удержать) и держать, сдерживать до конца, до смерти своей, и тверских князей, и чрезмерные притязания Ольгерда...

Но что-то надломилось в нем с последней поездки в Орду, некая болезнь души давно уже мучила молодого красивого («красного» лицом) князя. И теперь от малой причины — малой для иного кого — князь изнемог и почуял начало конца.

Он лежал и глядел в невеликое, забранное слюдою окошко на белый снег, наконец-то одевший Кремник, и думал. Мачеха и жена сидели, не отходя, у постели князя.

— Из Киева нет вестей? — вопросил князь слабым голосом.

Александра помотала головою, сдержанные рыдания не дали ей говорить.

— Позовите бояр... Всех! — попросил Иван. — И духовника моего, и архимандрита... игуменов... Всех.

Он умолк, и Шура, поднявшись на ноги, поняла, что ее Иван, которого и любила она, и жалела, и досадовала на него порою, приблизился к своему исходу.

Дума собралась вечером.

Князь попросил приподнять себя, устроить на возвышении. В тесном спальном покое враз стало жарко от стольких собравшихся людей.

— Детей приведите! — приказал больной.

Девятилетний крупный коренастый мальчик, ведя за руку младшего, Ивана, вступил в покой, подталкиваемый Александрою, подошел к ложу отца.

— Вот ваш наследник! Ваш князь! — поправился Иван, кладя руку на голову Дмитрия.

Мальчик смотрел на него во все глаза, еще ничего-ничего не понимая. Детям, как и животным, недоступна идея смерти.

Завещание уже было написано и утверждено, и не для того собрал сейчас Иван Иваныч боярскую думу.

Он обвел глазами суровые лица собравшихся мужей нарочитых, в дорогом платье, в парче и жемчугах, много старше его, но все еще полных сил, и воли, и желаний, среди коих самым главным у них являлось желание властвования.

У него не было этого желания никогда. Он уступил бы и власть и тихо жил бы еще долго, но некому было уступить, и вот он надорвался и умирает, упав под крестною ношей, доставшейся ему не по его плечам.

— Уведи, Шура! — тихо попросил Иван, кивнув на мальчиков. Пугливо оглядываясь на отца, оба тихо вышли из покоя.

— Дмитрий еще мал зело! — сказал князь, глядючи куда-то мимо лиц и взоров в неведомую никому даль. — Нужен муж достойный, могущий править землею до его возрастия, и я собрал вас всех, дабы утвердить общим приговором великих бояр мужа сего, держателя власти и местоблюстителя стола княжеского!

Каждое слово давалось Ивану с трудом, и потому он говорил медленно, с отдышкою и остановками, но ясным, внятным голосом, так что понятно становилось каждому из бояр, что говорит князь не по наитию и не в бреду, а тщательно обдумав и взвесив свои слова и принявши твердое решение. И тут, когда Иван отдыхал, набираясь сил, взгляды председящих заметались от лица к лицу: Вельяминов? Феофан Бяконтов? Дмитрий Зерно? Семен Михалыч? Быть может, глубокий старик, переживший почти всех сверстников своих, Иван Акинфов? И вновь взгляды устремились к Василию Вельяминову. Неужто он? А почему бы и нет? Тысяцкий, родич по жене! Возьмет, поди, на воспитание княжеских детей, Митю с Иваном?

— Местоблюстителем и воспитателем своего сына... главою княжества... порешили мы оставить ведомого вам всем и всеми уважаемого мужа... — сказал Иван и вновь умолк и договорил наконец: — владыку Олексия!

Ропот прошел по палате, начали отирать лбы, радость неложная явилась на многих лицах.

Василий Вельяминов первый встал, опустился на колени перед ложем князя, приник губами к руке умирающего, изронил глухо, но твердо:

— Выручим, княже! Добудем! Клянемся! И все... как один...

Не было споров, зависти, не было пересудов. Бояре один за другим присягали, торжественно прикладывались ко кресту. Для всех был митрополит Алексий пастырем и главою, и все же предложить такое, даже помыслить о том, чтобы его, владыку Алексия, содеять главою страны на время малолетства Дмитрия, сумел только он один, умирающий князь Иван, быть может, сейчас, в сей миг единый, показавший явственно, что и он тоже, вослед брату, достойный сын своего отца Ивана Данилыча Калиты.

Замкнулся круг. Где-то там, куда уходят не возвращаясь, Калита, ежели он еще следил дела земные, верно, одобрил выбор сына и приговор думы боярской, благословив на стол и труды земные своего крестника... Но Алексий сидел в затворе, в далеком Киеве, и никто не ведал еще, выпустит ли его Ольгерд живым. И судьба Москвы, судьба страны, судьба русской церкви, судьба православия и судьба всего языка русского качалась на страшных весах или — инако сказать — висела на тоненькой нити, которую готовился уже перерезать Ольгерд.

Иван Иваныч скончался, посхимившись и причастившись, через два дня, 13 ноября 1359 года, и был похоронен рядом с отцом в церкви Михаила Архангела.

Ольгерд обнял и расцеловал гонца, велел накормить по-княжески, вручил кметю кошель с серебром и — забыл о нем. Иные гонцы в тот же час поскакали, обгоняя ветер, в Полоцк к старшему сыну Андрею с приказом немедленно подымать полки. Новые тайные гонцы были посланы в Киев, слухачи — в Орду, где творилась новая замятня (уже дошли вести, что хан Кульпа, просидев на престоле шесть месяцев и пять дней, убит другим самозванцем, ханом Наурусом, который сел, кажется, прочно и уже вызывал к себе за ярлыками всех русских князей).

Гонцы уходили в Суздаль, дабы подвигнуть тамошних князей на новую борьбу с Москвою, в Брянск к сыну с приказом держать наготове полки, в Новгород, Псков, Тверь...

«Ежели бы знать, как повернет дело в Орде. Алексия можно бы было убрать немедленно! — думает Ольгерд. — Но в любом случае подвергнуть строжайшему заточению в тесноте, в яме, в каменном мешке... Ежели бы князь Федор был посмелее!»

Василий Вельяминов, спасая от разгрома московскую рать, отвел полки к Можаю. Ржева была взята полоцкою ратью князя Андрея Ольгердовича после короткого, но отчаянного сопротивления. «Теперь, кажется, навсегда!» — думал Ольгерд. Он велел сыну укреплять город, пообещав, что скоро приедет сам осматривать новое приобретение неуклонно, раз за разом растущей Литвы.

До окончательного разгрома Москвы и подчинения всего великого княжения Владимирского, полагал Ольгерд, оставались считанные месяцы, быть может, очень немногие годы, и то только в том случае, ежели его задержит Орда.

Бежать Алексию предлагали еще в сентябре. Но тогда казалось, что он еще может уехать с честью, выручив клир и владычных бояринов. Бежать одному, бросив всех спутников, казалось ему соромно.

— Беги, владыко! — уговаривали его полоненные

бояре и клирики. — Нам как бог даст, а быть может, и смилуют бусурманы над нашею убогостью! Лишь бы ты-то воротил на Москву!

Теперь Алексий и рад был бы уже бежать. Из прежней кельи настоятельской его перевели в каменное узилище под церковью, а затем в земляную тюрьму — яму, накрытую срубом, двери которого днем и ночью охраняла литовская сторожа.

В яму спускали кувшин воды и кидали, как собаке, куски мяса и рыбы. Мясо было отравлено. Литвины не понимали даже того, что Алексий, как лицо духовное, имея на плечах схиму, не будет есть мяса все равно, скорее умрет с голоду. Или не понимали, или же испытывали его? Многие ломались в толикой трудноте!

Для нечистот Алексий вырыл ямку в углу. Воду, когда в ней был подозрительный привкус, он тоже выливал на землю, слизывая капли снега, заносимого сквозь щели внутрь сруба и попадавшего в яму.

О том, что умер Иван Иваныч, ему с торжеством сообщил литовский воевода в тот день, когда Алексия, отобрав теплое платье, посуду и книги, ввергли в узилище.

Теперь надежда оставалась у него одна — на Господа. Долгими ночами в знобкой темноте земляной тюрьмы он молил Учителя укрепить его волю и дух, а между молитв судил себя со всею строгостью и понимал, что был и крут, и нетерпим, и не так вел себя с греками, и не так с Ольгердом... И понимал, что инако не мог и не должен был себя вести, ибо это был его путь, и его крест, и его служение. Он уже как бы и вовсе простился с миром и гадал теперь, что будет с Москвою, с Русью, с землею владимирской. Сумеет ли он оттуда взглянуть еще раз, незримо, на просторы родимой земли, которая не должна, не может, права не имеет погибнуть?!

Полвека он, поверив провидению, работал дому государей московских и совершил многое. Но вот пал небесный огонь, молния ударила в дуб, расщепив ствол, и от мощного древа остались три малые отростка, три мальчика-княжича на Москве — Митя, Ваня и Володя, старшему из коих шел всего лишь десятый год! Казнишь или испытуешь ты, преславный и многомилостивый?

И вновь он молил Господа и думал, гадал: кто? и что? и как и когда поможет земле русичей восстать из праха?

Росла Литва, и в минуты истомы духовной он уже и Ольгерду примеривал принять православие и править землей русичей, прощая томление, прощая смерть свою и спутников своих, и... тут была черта, край, предел гнева, скорби и отчаяния: знал он Ольгерда! Ведал, что католическим патерам, а не православной греческой церкви в конце концов подарит он или потомки его землю русичей. И станет она пограничьем меж Ордою и Западом, и угаснут в ней русская молвь и научение книжное, падут храмы, сгорят лики святых, во прах обрушат дворцы и палаты, и сам язык, расточаемый и угнетаемый, забудет, кто он и откуда, забудет дела отцов и славу предков, обряды и навычаи старины, хороводы и игры, ибо станут гонять их насильно в костелы и там на латинском чужом языке учить подчинению чуждым навычаям и иным обрядам. И великая страна, Святая Русь, станет снедью войны, задворками гордых латинских империй, где каждый немец ли, фрязин будет знатным мужем пред черною костью, пред мужичьем, которое и само начнет простираться во прах и кланять любому гостю заморскому, яко царю земному!

«Нет! Господи! Нет! Не дай! Возложи испытания тяжкие, грозы и муки, дабы очистились от грехов, но не дай тому совершить! Не дай угаснуть свету в родимой земле!

Ты, Сергие! Там, в радонежских лесах, в обители Троицы, моли Господа, да услышит тя, ибо я грешен!

Господи! Вот я, вот моя плоть, вот дух мой! Вот весь я перед тобою! Вонми, Господи! Пусть не узрю того, пусть погибну здесь во смраде и скверне! Иной да заменит меня! Не погуби, Господи, народа, языка русского, ибо о нем и в нем все, чем я жил доднесь на земли!

Пусть даже так, даже с вершины Синая не узрю, не уведаю того, пусть дух мой сойдет в бездну и изгибнет до конечного истления своего, но сохрани и спаси землю прадедов! Господи! Господи! Господи!»

Грязный ком глины тяжело упал в яму, черная головая склонилась над ним.

— Бачка! — сторожко позвал татарин. — Руська побили, твоя побили!

Татарин исчез, и тотчас в яму упало тяжело брошенное с высоты тело, и тихий стон, когда шум наверху утих, показал Алексию, что сброшенный с высоты человек жив. Он подполз к нему, потрогал. Пальцы ощутили кровь. Руки и ноги раненого были спутаны веревками, и только развязавши вервие и кое-как приведя израненного, страшно избитого пленника в чувство, Алексий узнал Станяту.

Станька, приходя в сознание, хрипло попросил пить. Воды не было. Алексий собрал немного снега, полазав по краям ямы, раза два отпихнув от себя нелепый глиняный ком. Согрев снег в ладони, влил в рот Станяте несколько капель влаги.

— Ты, владыко? — вопросил Станята, едва ворочая языком. Все лицо у него представляло собою сплошную кровавую рану. Били сапогами уже связанного, непонятно, как и глаза остались целы.

Станька, немного оклемавши, рассказал Алексию, что произошло. Оказывается, выкрасть митрополита пытались уже дважды. Последний раз дружина московитов подобралась едва не к самому месту заключения, и тут, у стен лавры, была окружена и захвачена литвой. Одиннадцать трупов (живым не сдался никто) лежали в ряд на снегу. Это видел Станька сам, когда его волочили мимо, связав за спиною руки. Станька пытался отай выйти из лавры в город и был схвачен по собственной оплошке. Его били смертным боем и убили бы вовсе, но кто-то распорядил, узнавши в нем Алексиева придверника, бросить избитого в яму к митрополиту — пускай-де там и умрет!

— Не умру! — упрямо мотнул головою Станята. — Теперича не умру, раз с тобою вместе, владыко! А уж коли придет, дак тово, вдвоем...

Он задышал хрипло, начал бредить. Алексий хлопотал над полумертвым как мог. Выдрав у себя часть подрясника, перевязал Станяте кровавые раны. Перед утром по какому-то наитию, вновь наткнувшись на странный глиняный ком, не отбросил его от себя, как прежде, а надавил и, почуяв некую пустоту, разломил подсохшую глиняную корку, обнаружив внутри круглый, недавно испеченный хлеб.

У Станьки шатались все зубы, и Алексий кормил его мякишем, сам доедая душистые, замаранные глиною, но несказанно вкусные корки. Он не видел своих отросших волос, худобы истончившейся плоти, но по тому, как рот и нёбо воспринимали нечаянный хлебный дар, понял, что голодает уже очень и очень давно.

Спали они теперь тесно прижавшись друг к другу, так было теплее, и от касания живого, своего, близкого существа новые надежды пробуждались в ожесточевшем сердце.

Станята рассказал, что знал, про иных. Кто погиб, кого из бояр, чая выкупа, увезли в Литву, кто отчаялся, сидя в затворе. Рассказал и про подавленный бунт ратников, сделавших подкоп, но так и не сумевших вырваться на волю. Трупы беглецов потом приносили и складывали на снегу под стеною собора... Алексий подумал неволею о Никите, вообразив себе мертвого молодца под стеной церкви на снегу. Станята подумал о том же, помянувши с горем приятеля своего. Но ни тот, ни другой ничего не сказали вслух. Было и без того слишком горько.

Татарин еще раза два-три ронял им в яму обмазанные глиной хлебы, но когда Станята попытался заговорить с ним, тотчас испуганно завертел головою, вспятил от ямы и исчез, верно, боялся или не мог умедлить даже и мига под надзором иных ратников.

— Почему нас еще не убили? — как-то вопросил Станята, который начал уже понемногу вставать на трясущихся от слабости ногах.

— Не ведаю сам! — честно отмолвил Алексий. — Возможно, Ольгерд ждет иных вестей из Константинополя или Орды...

Алексий был недалек от истины. Ольгерд сожидал ответа на свое последнее послание патриарху Каллисту и вестей из Сарая, куда нынче уехали к новому хану за ярлыками на свои княжения все владимирские князья.

В Орду московские бояре во главе с самим Вельяминовым повезли девятилетнего княжича Дмитрия. Иного князя не было нынче в Москве.

Приехали суздальские князья, все трое. Прибыл Константин Василич Ростовский, переживший своего шурина. Прибыл Василий Кашинский и князья мелких уделов. Прибыли с жалобами на московское утеснение наследники дмитровского, галицкого и белозерского княжеских родов. Все те, кого обидел, потеснил, лишил удела некогда Иван Калита, теперь дружно вопияли о мести и попранных московитами правах.

Вновь раздавались подарки, рекою текло серебро, творились подкупы. Но не было уже многих эмиров, преданных Москве или же некогда купленных ею. Растерянная Тайдула, ожидающая с часу на час своей гибели, также не могла и даже не пыталась помочь москвичам.

Новый хан, назвавшийся сыном Джанибека, был далекий и чужой владимирскому улусу человек. И когда ему привезли девятилетнего мальчика, претендующего занять престол великокняжеский, даже рассмеялся, качая головой:

— Ай, ай! Как же он будет править и давать дань?!

Были и жалобы, и письма Ольгердовы...

Вечером, после второго ханского приема москвичи сидели у себя на подворье растерянной кучкой, порою взглядывая в угол, где спал, разметав руки, маленький мальчик — их последняя надежда сохранить вышнюю власть за Москвой. Но и эта надежда угасала уже, несмотря на богатые дары и подношения. Василий Вельяминов тяжело опустил длань на столешню и помотал головою, словно от зубной боли.

— Владыки Алексия нет! — выговорил он с болью.

Феофан с Дмитрием Зерном требовательно воззрились на Василия.

— Дважды подсылал выкрасть владыку! — ответил он на немой вопрос сотоварищей. — Перебили наших, и вся недолга!

—Валашскому володетелю достоит написать! — высказал Дмитрий Зерно.

— Писали уже! — отмолвил Феофан Бяконтов. (Многое делали бояре на свой страх и риск, не извещая друг друга.)

— Кабы степью пройти можно было, я бы и рать послал! — тяжело выговорил Вельяминов, сжимая кулак. Бояре замолчали. Чуялось, витало в воздухе уже, что великокняжеского ярлыка им за Москвою нынче не сохранить. И что тогда?

Что же тогда — не ведал никто из председящих. В углу спал закинутый шубным овчинным одеялом, посапывая, девятилетний мальчик, племянник Василия Вельяминова, будущий князь Дмитрий Донской. Только ни про Дон, ни про Непрядву, ни даже про темника Мамая, который уже собирал силы на западе великой степи, не ведали собравшиеся за столом великие бояре московские, а ведали, что все рушит вокруг, потери идут за потерями, и дело Москвы, дело Ивана Данилыча Калиты, грозит обратиться в ничто.

Свеча оплывала и гасла, пламя ее колебали токи воздуха, идущие от плохо заделанных оконниц. Мохнатые увеличенные тени шевелились по стенам. На улице бушевала метель.

Ярлык на великое княжение хан Наурус в конце концов передал суздальскому князю Андрею, заповедав прочим князьям «знати комуждо свое княжение и не преступати». Андрей, вдосталь напуганный ордынским нестроением, сметя к тому же силы Суздаля, Твери и Москвы, тотчас уступил ярлык своему брату Дмитрию.

Так Дмитрий Константинович Суздальский, четвероюродный дядя малолетнего Дмитрия, добился наконец того, за что воевал всю жизнь его покойный отец, став великим князем владимирским.

Перевернулась еще одна страница судьбы, и, быть может, не Москва, а Нижний Новгород станет теперь столицею новой Руси? А Дионисий — ее новым митрополитом?

Или же исполнятся замыслы Ольгерда и вся Русь подчинится Литве?

Тот, от кого зависела теперь судьба московского княжеского дома, сидел в смрадной яме в Киеве и ждал смерти, ибо теперь, после того как великое княжение ушло из московских рук, ничто уже не связывало Ольгерда, жаждавшего расправы со своим упрямым противником. Одно лишь задерживало — что совершить убийство должен был все-таки князь Федор, а не он, Ольгерд. А Федор по-прежнему вертелся, подличал, льстил и лгал, но стать явным убийцею митрополита русского все еще не решался. Меж тем близилось Рождество.

Святками Ольгерд побывал во Ржеве, проехал бок о бок с сыном по улицам захваченного и вновь укрепленного города, невольно любуясь Андреем, его посадкою, статью, княжескою повадкою старшего наследника своего. Князю надобно много сыновей! Ибо только на сыновей можно положиться, захватывая одно за другим чужие княжества. Так поступал Гедимин, так поступает и он, Ольгерд. Пока у детей сохраняется память рода, княжества не распадутся порозь и Литва будет сильна. Помогают же они до сих пор с Любартом и Кейстутом друг другу. Иной, более сильной и продолженной в века связи Ольгерд не видел и потому поневоле строил здание государства своего на песке. Он не понимал этого. Не чуяли и иные, полагающие и до сих пор, что родственные или дружеские — любые личностные человеческие связи (неизбежно кончающиеся со смертью носителей своих!) могут явиться достаточным основанием прочности государств, нуждающейся в наследовании традиций и власти.

Тот, единый, кто умел глядеть далее, прозревая в грядущие века, сидел в яме в Киеве и ждал смерти.

Ратники начали рыть подкоп уже давно, но то обваливалась земля, то распространялся слух, что их выпустят, и только когда в конце ноября дошла весть о смерти князя Ивана, за дело принялись всерьез. Никто из них не ведал, что о подкопе дознались литовские дозорные и теперь ждут только окончания работы, чтобы перехватить и казнить за побег всех русичей.

Вылезать начали ночью, проломив последнюю корку мерзлой земли и снега, и тут-то, на обрыве Днепра, их всех и поимали как куроптей. Отощавшие, ослабелые люди не могли никуда уйти, и к утру все, кто полез из затвора (некоторые, по слабости или осторожности оставшиеся в узилище, уцелели), были переловлены и ежели не зарублены дорогою, то доставлены в сторожевую избу, ту самую, в которой Никита прятал осенью свою саблю. Ратников выводили по одному и за воротами лавры, в овраге, рубили головы.

Двое сторожевых, что сидели в избе, охраняя русский полон, балагурили, на дурном русском языке предлагали русичам на выбор виселицу или плаху. Никита (злость придала ему силы) словно бы взаболь захотел вешаться. Полез на стол, попросил старую веревку, и, сделав петлю, начал пихать ее концом за балку. Вражеские ратники валялись от хохота, подавали ему советы, как ловчее прикрепить веревку. Никита наконец нащупал свою заначку. Сабля была цела. Примерил, как выхватить лезвие из ножен, и с горем понял, что не успеет: его тут же подымут на копья. Прочие русичи, испытавши и радость побега и отчаяние плена, теперь тупо ждали конца, стеснясь в углу хоромины, и крикни Никита им — вряд ли помогут ему, накинувшись, безоружные, на литовских ратников.

Но вот из-за двери прозвучал повелительный зов старшого. Оба ратника оборотились лицами к двери, и тут Никита, накинув себе на шею вместо веревки перевязь сабли и мысленно перекрестясь, вырвал саблю из-за потолочной балки и, обнажив лезвие, ринул прямо на спину ближайшего литовского ратника, доставая другого концом оружия. У него самого на миг замглилось в глазах, словно бы брызнула кровь. Он упал, вскочил и увидел яростную возню. Двое русичей, опомнясь, кинулись к литовской стороже, и сейчас свитый клубок тел бился перед ним на полу. Но сабля была в руках у Никиты! Одного он рубанул сверху по шее, когда тот подмял под себя ослабелого русича, другому погрузил лезвие сабли в бок, под кольчугу. Оба московских кметя вскочили враз и, схватя копья литвинов, ринули вослед Никите в отверстую дверь. Литовский старшой отлетел, пронзенный копьем в глаз, еще кого-то сбили с ног, вырвались. За ними уже топотали прочие опомнившиеся смертники, и все вместе, не разбирая дороги, они покатили под угор, увертываясь от стрел и пущенных всугон метательных копий, сулиц.

Никита первым узрел небольшую калитку в стене, и пока русичи, падая один за другим, отбивались от наседающей литвы, выбил ее плечом и вывалился кубарем в снег. Саблю он сжимал мертвою хваткой.

На обрыве, оборотясь, он увидел за собою лишь одного бегущего русича, прочие погибли, отбиваясь, своею смертью открывая дорогу Никите с напарником.

Они бежали, тяжело дыша, ползли, снова вскакивали. Свистели стрелы, понизу мчались литовские всадники, и беглецы опять карабкались вверх. Ясно было, что днем, на свету, от погони им было не уйти. Ратник остановился, выплюнул с хрипом кровь. «Не могу боле, ты беги!» — и пошел, качаясь, слепо уставя копье, встречу литовских стрел.

Никита вновь рванул в бег, но и у него черные круги плыли перед глазами и уже дыхания не было в груди, когда он вдруг по шею провалился в какую-то яму и, вымолвив: «Конец!», приготовился уже встретить смерть. Но ноги его не обрели твердоты, и

он, вжавшись, унырнул в яму с головою, а снежный пласт, рухнувший сверху, засыпал его совсем, так что Никита сперва едва не задохся, набив снегу в нос и рот, но под ногами все было и продолжалось пустое, и он пополз по-рачьи, задом вперед, и полз, обдирая плечи, пока лаз не расширило настолько, что стало мочно перевернуться и стать на четвереньки...

Где он, что с ним, куда он попал — Никита не думал совершенно. У него одно было: скорее, скорее, скорее туда, во тьму, внутрь, где его не найдут, где могут его не найти безжалостные враги. Тем паче, убив двоих в молодечной, он мог рассчитывать теперь только лишь на самую мучительную смерть.

Сбило литовских преследователей и то, что с обрыва свалились вниз, уходя от погони, еще два русских ратника. Взявши этих двух, позабыли временем про третьего, а потом, и вспомня, напоминать боярину о своей оплошке не стали, понадеявшись, что убеглого русского кметя поймают другие.

Пока собирали трупы, рубили головы, выкладывали мертвых в ряд под стеною храма и уже суетился над ними кто-то из братии, дабы пристойно отпеть мертвецов, Никита, заползая все далее и далее в темноту, оказался наконец в проходе, в коем стало мочно подняться в рост. Он обшарил руками покрытую изморозью стену пещеры и пошел во тьму, тыкая перед собою саблей — не свалиться бы ненароком в какую ямину. Он и теперь еще не понимал толком, куда попал, и толкало его вперед одно лишь — уйти как можно далее от возможной литовской погони.

То, что он находится в пещерах, прорытых в горе иноками лавры, он сообразил уже много спустя, когда под рукою открылась пустота в стене и, протянувши руку, он вдруг ощупал кость с приставшею к ней высохшею плотью; и, ощупывая далее, вдруг понял, что это не что иное, как человеческая нога, нога трупа, положенного здесь, по-видимому, много лет назад. Холодные мурашки поползли у него по коже, и он бы закричал от ужаса, кабы не стояла смерть за спиною, кабы не должно было молчать изо всех сил. Откачнувшись к стене, он долго унимал дрожь в членах, отгоняя нелепую мысль, что он уже давно находится на том свете, среди мертвецов, лишь потом наконец сообразив, что это как раз и есть пещеры с костями древлекиевских иноков и ему теперь надобно обрести тут кого-нибудь из живых. Поэтому, когда вдалеке впереди пробрезжил ему мерцающий огонек светильника, Никита не закричал и не ринулся в бег. Застыв на месте, он ждал приближения огня и все еще не знал, что ему содеять, когда впереди показался древний монах, идущий с глиняным светильником в руке прямо к Никите.

Старец подходил все ближе и ближе и все еще не видел Никиту, вернее, не мог представить себе, что тут есть кто-то еще из живых. Когда он наконец узрел незнакомого кметя, подойдя к нему почти вплоть, то едва не уронил светильник и долго смотрел молча, вопросив погодя глухим настороженным голосом:

— Кто ты?!

Рука старца, державшая светильник, приметно дрожала, в глазах трепетал ужас.

— Русич я! — отмолвил Никита. — Московит! Бежал от погони, в яму упал, заполз...

Старец продолжал разглядывать его всего с ног до головы, водя светильником. Приметил кровавую саблю в руках Никиты, истерзанный вид, исхудалость щек.

— С владыкой Алексием мы! — чтобы только не молчать, пояснил Никита.

— Иди за мной! — вымолвил старец и пошел вперед, вернее — назад, туда, откуда явился, а Никита двигался следом, теперь в колеблемом свете глиняного светильника видя ряды ниш в стенах с мощами угодников и черные отверстия ответвлений пещеры, там и сям попадавшие им по пути. Теперь уже он и сам, захоти того, не сумел бы выйти назад, к той кротовой норе, по которой заполз сюда с воли, и вырытой, верно, прежними иноками попросту для притока свежего воздуха в пещеры.

— Пожди тута! — строго бросил монах. И Никита, остоявшись на месте, остался опять в полной кромешной темноте, гадая, выдаст ли его монах литвинам или спасет.

Он постарался вытереть саблю, вложил ее в чудом уцелевшие ножны и, почуяв дрожь в ногах, уселся на холодный песок. К тому времени, когда вдали вновь замигал огонек и вернулся прежний инок, Никиту всего уже била мелкая дрожь и он с трудом поднялся с земли. Сейчас, исчерпав весь запас сил, он не мог бы уже ни бежать, ни драться.

Монах принес ему хлеб и кувшин с водою. Никита ел стоя, не чувствуя вкуса пищи, одну только смертельную усталь в теле, но все-таки доел, заставил себя доесть хлеб и выпил всю воду. Старец видел, что Никиту колотит дрожь.

— Пожди еще, чадо! — вымолвил он и снова ушел во тьму.

Никите вскоре захотелось по нужде, но он терпел, сжимая зубы и переминаясь, и дотерпел-таки до появления старца. Тот, глянув на Никиту и угадав его трудноту, бросил ему в руки монашескую зимнюю суконную манатью и повелел идти за собою. Пришли наконец в какой-то закут, и скорчившийся Никита, подняв деревянную крышку над яминою, сумел облегчить желудок, после чего старец опять оставил его в одиночестве и темноте, теперь уже очень надолго.

Три дня, растянувшиеся затем на неделю, показались Никите вечностью. Старец являлся к нему единожды в день, принося хлеб и воду, а во все остальное время Никита или дремал, скорчившись под суконною оболочиною, или ходил взад-вперед по короткому отрезку пещеры, изученному им, подобно слепцам, касаньями рук.

Когда монах наконец вывел Никиту на свет, обрядивши его в полную монашескую сряду, Никите не надо было даже прикидываться старцем. Трясущиеся ноги едва держали его, и он немо брел, опираясь на посох, щурясь — отвычный свет и белый снег до боли резал глаза, — и только одно вопросил дорогою: указать ему, где держат владыку Алексия. Поглядел из-

дали, моргая и щурясь, на притиснутую к стенам лавры приземистую избу под четырехскатною кровлей, крытою дранью, и побрел далее, почти ощущая себя иноком, таким же старым, как и его провожатый.

На Подоле, в путанице садов и хат, они постучались в один из запрятанных в глубине домиков и, соступивши по земляным ступеням, спустились в чисто убранную, с белеными стенами землянку, в середине которой стояла сложенная из дикого камня печь, скорее — ограда для костра, а дым подымался вверх — поскольку хата была без потолочного настила, — просачиваясь сквозь черные от сажи стреху и плотные ряды соломы.

Хозяйка хаты, старуха, крепкая еще на вид, вышла, долго о чем-то спорила со старцем. Наконец, видимо, согласилась-таки принять беглеца. Никита в свою очередь попросил инока достать ему спрятанную броню, объяснив, как ее найти, и сообщать на будущее какие ни на есть вести. На том они и расстались. Броню инок притащил в мешке еще через несколько дней.

Старуха уже не косилась на Никиту, который взялся и за вилы, и за топор, приладил одно, починил другое, вычистил стаю, в которой стояла до морозов корова, и, словом, держал себя так, что старуха почувствовала, что получила в дом не хлебоясть, а работника.

Озрясь и окрепнув, Никита начал понемногу выходить из дому, сторожко обходя заставы. Побывал и на торгу, и близ лавры, прикидывая, что можно содеять тут одному... Хотя одному содеять ничего было не можно. Алексиевых бояр, по слухам, развезли кого куда; тех, с которых надеялись получить откуп, увели в Литву; клирошан держали по-прежнему в затворе, в кельях, и выходило, что из всего обширного поезда владыки на воле находится только один он.

На всякий случай Никита начал забредать подале от города, разведывая пути, и тут-то и натолкнулся на своих, едва не поплатясь головою за нежданную встречу.

Кому иному не пришло бы в голову разведывать, что за купцы, чей обоз застрял в крохотной, в два двора, деревеньке в десятке поприщ от города, почти на самом берегу Днепра. Кому иному и не пришло бы... Но у Никиты выработался почти собачий нюх, он за версту чуял литовские разъезды, а тут тем же сверхчувствием травленого волка понял: нет, не литва! И вздумал прогуляться до деревушки вечером.

Его взяли за шиворот, оступив, совсем нежданно для Никиты, никак не приготовившегося к обороне, вырвали саблю из рук.

Задавленное, вполгласа «В овраг!» отрезвило Никиту. Ежели не свои — пропал, а и свои зарежут — не легче!

— Братцы, никак, москва?! — выговорил он возможно более веселым голосом. В ответ ему крепко зажали рот и уже поволокли, когда знакомый голос окликнул:

— Постой! Покажь!

Никита с Матвеем Дыхно с минуту смотрели друг на друга, не узнавая. Наконец Матвей, размахнувши руки, выдохнул:

— Никита, ты?

И Никита, признавший уже Матвея и ужаснувшийся вдруг, что тот не узнает его, пал в объятия друга и зарыдал, трясясь, всхлипывая, вовсе по-детски, отходя наконец от многомесячной жути, в которой пребывал до сих пор. «Свои, свои, московляне!» — повторял он, словно в бреду.

Свои, вельяминовские и феофановские, были здесь! Значит, ничто уже не страшно и надобно как можно скорей спасать теперь владыку Алексия.

На рождественскую службу Алексия все же по неотступной просьбе всей братии достали из ямы и, почистив несколько и переменив платье (от прежнего шел непереносный гнилостный дух), привели под охраною в собор.

Иноки едва не шарахались от него, видя, как страшно изменился лик Алексия, как пожелтел лоб, как обтянуло ему все кости лица, как провалились глаза и истончились персты митрополита.

Здесь, в соборе, узнал Алексий, что великое княжение владимирское отобрано у москвичей и передано князю суздальскому.

«Бежать! Бежать немедленно, нынче же, на Москву!» — мысленно произнес он, прикрывая очи. Он с отчаянием оглядел братию, измерил нутро собора, узрел стражу у всех дверей... И все-таки надобно было бежать! Иначе — теперь это обнажилось со страшною яснотою — Ольгерд его убьет и тотчас начнет забирать московские волости одну за другой. И Каллист отдаст русскую митрополию Роману, и Русь умрет. Не сразу, нет, она еще будет бороться, быть может, еще расцветать, как береза, срубленная в соку, но все это будет смерть, начало смерти. И не состоит в веках величие Русской земли!

Нет, состоит, состоит же!

К нему подошел с поклоном, прося благословения, старый монах. Алексий безотчетно поднял руку и узнал отца Никодима, того самого, что вместе со Станятою был послан им в Константинополь.

Похищение Алексия едва не состоялось в сей самый миг, ибо отец Никодим тихо предложил Алексию в монашеской толпе, у всех на виду, перемениться с ним платьем, после чего владыку должны были увести из монастыря и умчать во влашскую землю.

Все дело порушил литовский боярин, надзиравший за Алексием. Почуяв недоброе, он взошел со стражею внутрь храма и уже не отпускал Алексия от себя ни на шаг до самого конца службы.

Впрочем, иноки надеялись, что они вскоре вновь извлекут митрополита из узилища и тогда уже сумеют его похитить, обменяв во время богослужения на иного, похожего на него мужа.

Две дружины русичей, собиравшиеся похитить митрополита и до поры ничего не ведавшие одна о другой, едва не погубили всего дела, заподозривши в противной стороне Ольгердовых тайных посланцев. Но, к счастью, спознались вовремя и тут же порешили действовать вместях.

Спор вышел нежданно, когда решали, как изымать Алексия. Никита, уведав, что в яме с владыкою сидит и Станята, наотрез отказался от похищения в церкви, поскольку тогда вытащить Станьку из узилища стало бы невозможно совсем. Долго спорили, но Никиту поддержал Матвей Дыхно, а затем городовой боярин, посланный Вельяминовым с очередною дружиной, перешел на их сторону.

Решило дело то, что Никита сумел твердо уверить всех (да, видимо, это было в какой-то мере и правдою), что владыка без Станяты может не захотеть бежать из затвора, а главное — никому из них неизвестно, сумеют ли, и когда, печерские иноки выпросить Алексия вторично в храм. Стоит литвинам воспротивиться тому, и все их хитрые заводы тогда улетят дымом.

Да и сажать кого-то вместо владыки в узилище на верную смерть, как требовал отец Никодим, хоть он и предлагал для этого себя самого, показалось забедно ратникам.

О том же, как высадить Алексия из поруба, спорили до хрипоты еще целую ночь. В составленном наконец дерзком плане похищения должны были принимать участие и те и другие.

Никто не знал и не ведал из москвитов, что к Киеву близит литовский гонец с приказом немедленно прикончить Алексия и что гонцу тому осталось добираться до Киева всего три или четыре часа. Эти часы и должны были стать последними часами жизни владыки.

Поприщ за семь от Киева жеребец литовского гонца попал ногою в занесенную снегом сусличью нору и рухнул, перекинув литвина через голову. Пока подымали, заносили в хату, растирали снегом и пивом, прошло еще часа три. Был уже полный день, время приближалось к пабедью, когда незадачливый вестник смерти на ином коне шагом подъезжал к воротам Киева. У него все еще мутило внутри от удара о землю, и потому добрался он до княжого двора не враз и не вдруг.

Федор, прочтя послание Ольгерда, которое было велено передать литовскому боярину, а после тотчас уничтожить, переменился ликом. Он все надеялся, что Алексий умрет как-нибудь сам, освободив его, Федора, от тяжкой обязанности совершать преступление в угоду великому князю Ольгерду. Тем паче, что за митрополита просили многие и многие, Роман вчистую устранил себя и свое окружение от дел греховных, да и сам Федор получил уже не одно угрожающее послание из Москвы... Но судьба, кажется, так и не смилостивилась над киевским князем. «И удрать этот русич не сумел!» — подосадовал он скользом, вызывая своего ближнего боярина.

Отрава Алексия не брала, пробовали уже, и не раз. Тут надобен был меч или... петля. Лучше петля! Там и задавить его, в яме, решил князь про себя и уже резвее взглянул на литвина. Охрабрел, отважась на кровь.

В это самое время по дороге в лавру ехали возы с сеном и, заезжая на лаврский двор, начинали как-то нелепо сворачивать вбок. Один, растискивая литовскую сторожу, подкатил к самому порубу, накренился, и вдруг в этом самом возу, в сене, вспыхнул огонь. Возчик взревел, круто заворотив коня, и воз, выбросив тучу огненных искр, высыпался — видимо, лопнуло вервие — к самой стене поруба. Тотчас другие возчики начали сворачивать сюда же. Поднялся крик, гам. Уже литовские ратники хлестали ременными плетями по глазам ни в чем не повинных вспятивших крестьянских коняг и по спинам бестолково суетящихся возчиков, и уже опрокинуло второй воз, а там и третий... Невесть отколь нахлынула орущая толпа горожан и лаврских монахов с метлами и ведрами — словно бы тушить огонь. Ратные, что стояли в сторожке, выбежали вон из дверей, у поруба уже загоралась кровля, и от дыму, что ел глаза, стало не продохнуть.

Возчики кинулись вилами откидывать, спасая, незатлевшее сено, бестолково нагружать его вновь на возы, немилосердно тыча остриями вил вправо и влево, так что боярский конь старшого литвина, коему угодили вилами в пах, взвился на дыбы, уронив седока на землю. Брань, вопль, визгливые голоса невесть отколь взявшихся жонок...

В это время Никита, уже опустив в яму веревку с петлей на конце, кричал, неслышный в общем гаме:

— Цепляй, владыко, это я, цепляй скорее!

А Алексий, веря и не веря, все не мог по-годному натянуть на себя петлю, пока опомнившийся Станька не продел его, взявши под мышки, после чего владыка, поднятый в шестеро рук, взмыл вверх, исчезнув в едком дыму за краем ямы.

— Теперь ты! Живее там!

— Никита?! — веря и не веря, весь в радостных слезах, кричал Станька снизу, наконец-то углядев схороненного было приятеля и от радости все не попадая в петлю.

— Я, пес твою, скорей! Эх, разява! — Никита едва сам не спрыгнул в яму, но тут и Станька справился и так же вылетел вон, не успевши прочухаться и понять по-годному, что происходит. На них на обоих напялили возчицкие балахоны, закрывающие человека с головой, и потащили сквозь дым и огонь.

Другие в это же время бросали в телегу соломенную куклу в одежде Алексия и с криком: «Гони!» — вытолкнули ошалелого возницу вон из жарко пылающего костра.

— Владыка, владыка! — поднялся вопль. Вокруг телеги столпились монахи, к ней же рвались вооруженные литовские кмети с саблями наголо, а тем часом двое в балахонах свалились на дно возов, их закидывали сеном и, споро заворачивая коней, отъезжали посторонь.

Литовский гонец, показавшийся вместе с боярами князя Федора, опоздал всего лишь на полчаса.

Уже весело пылала кровля поруба, уже телегу с телом соломенного Алексия подводили к дверям настоятельского покоя, заносили, теснясь, «тело» в церковь. Вездесущие бабы уже взаболь подняли вой по покойнику, и покамест разобрались, поняли, что вместо обреченного смерти митрополита перед ними нечто вроде сжигаемой на Масленице костромы, —

возы с остатками сена с заполошным криком: «Пожар!» — уже миновали городские ворота.

Теперь дело решали минуты и удаль коней. Алексия со Станятой извлекли, посадили верхами, для верности привязав к седлам арканами, возы так и бросили на пути загораживать дорогу комонным. И если бы подумал Алексий еще четыре часа назад, что возможет после истомного заключения в яме проскакать без роздыху, пересаживаясь с седла в седло, с лишком полтораста верст, — никогда бы и сам себе не поверил!

Литовские кмети дважды нагоняли дружину русичей. Дважды Никита с Матвеем с утробным рычанием водили людей в сумасшедшие сабельные сшибки. И поскольку русичи защищали жизнь страны (ибо уступить тут — значило умереть Родине), литва откатывала назад, теряя порубанных людей.

В конце концов им удалось-таки оторваться от погони, запутать следы и тут только вздохнуть, поесть самим и покормить очередных коней. (Подставы были подготовлены московскою дружиною заранее, потому только и ушли от стремительной литовской конницы!)

Алексия, едва не замертво, внесли в хату. Сильно поредевшая в сечах дружина собралась вокруг. Никита сам внес тяжело раненного в последней схватке Матвея. (На лету подхватил падающее тело приятеля и мчал потом, держа перед собою, около тридцати поприщ.)

Митрополит открыл глаза, обозрел мужественные лица своих любимых русичей, горячие со скачки, иные в ссадинах и крови, все одинаково заботные, ибо для него, ради него были и эта кровь, и труд ратный, и потери, и медленно улыбнулся иссохшим, провалившимся ртом.

— Не умру! Выдержу! — выговорил он.

Подводить их теперь, спасших его от плена, своею смертию он не мог, не имел права, и, значит, должен выжить, выдержать, выстать и доскакать. Он оборотил лицо к боярину, вопросил взором: «Куда?» И тот, до слова поняв вопрошание, отозвался кратко:

— В Смоленск! Инако — никак не мочно! Тебя в сани уложим, владыко, и раненых...

Станька с Никитою, только тут наконец сойдясь воедино, стояли, обнявшись, и плакали, не сдерживая и не скрывая слез.

До спасения было еще очень и очень далеко, и далекая им предстояла дорога — с переправами через реки, с погонями, с ночлегами в кустах и снегу, но они знали, верили, что теперь-то уже не подведут, выдержат, не выдадут врагу ни себя, ни владыку Алексия, который всем им был в эти мгновения как сама жизнь.

VII
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПРЕСТОЛА

У смоленского епископа, рукоположенного Алексием, оставили тяжелораненых и больных, отдохнули. И все же поезд митрополита владимирского, добравшийся до Можая, являл вид жалкий. Заморенные, обезножевшие кони, мокрые, в клокастой шерсти, с хрипом выдыхавшие воздух из надорванных легких, были страшны. Не лучше выглядели и люди, у которых на почернелых, с выступающими скулами лицах лихорадочно блестели одни лишь глаза. Оборванные, жалкие, одолевшие свой страшный поход, они шатались теперь, словно тени, и, казалось, едва-едва держались в седлах.

Четверка разномастных коней, запряженных гусем в старинный возок (дар епископа смоленского), натужно и вразнобой дергала упряжь, и возок шел неровными рывками, заваливаясь на протаявшем весеннем пути. Уже не доскакать, а доползти до Москвы чаялось изнемогшим путникам.

Боярин, имени коего не сохранила нам история, рядовой можайский боярин, служивший в городовом полку и ничем боле не примечательный, кроме того, что волость его и господский двор стояли при пути и полумертвый поезд митрополита никак не мог миновать невестимо его двор, — боярин тот любопытства ради посунулся сперва к оконцу, забранному потрескавшей зажелтевшею слюдой, а не разобравши, кто таков на подъезде к терему, вышел, как был, распояской, накинув лишь на плеча опашень, на высокое крыльцо и оттоле узрел подымающееся по угору скорбное шествие. Передовой, шагом подъехав к дому, не слезая с седла, попросил воды.

— Кто таков? — кинул ему с крыльца боярин в те поры, как баба, черпнув ковшом, подавала напиться усталому всмерть, с провалившими щеками ратнику.

— Батьку Алексия везем! — отмолвил тот почти без выражения, севшим от устали голосом. И, обмахнув усы и бороду тыльной стороною руки, тронул было коня.

— Постой, молодец! — крикнул ему вослед боярин и, шатнувшись — не кинуться ли в горницы сперва? — махнул рукою и сбежал с крыльца.

— Кого ни та?! — вытягивая шею, прокричал он в голос, с провизгом, и, суматошно размахивая рукою, в сползающем распахнутом опашне заспешил следом: — Кого ни та? Владыку? Самого?! Из Киева, што ль?! — И такое торопкое отчаяние прозвенело в голосе, отчаяние и испуг, что ратный неволею придержал коня. Раздвинул серые губы почти в улыбке:

— Дак уж не иново ково!

— Постой! Постой! — кричал, косолапо, вперевалку бежа за конем, боярин и, задышливо достигнув, ухватил повод, остановил комонного. — Убегом али как?

— Убегом! — возразил ратник, сожидая, что же воспоследует теперь.

— Дак ты, тово, ко мне, ко мне пожалуй! — торопливо, таща за повод лошадь ратника, поспешал боярин. Уже подскакивали слуги. Один поднял уроненный опашень боярина, накинул тому на плечи. — Сысой! Деряба! Гридя Сапог! — возвысил зык боярин, обретя силу в голосе и господскую стать. — Проводи! Кормить! Живо!

А сам с дворским тем же косолапым медвежьим пробегом порысил встречу владычного поезда.

Уже боярыня, на ходу застегивая коротель, вышла на красное крыльцо, уже выскочили ключник со старостой и огустело народом пустынное досель околодворье, и уже ловили под уздцы, заворачивали на двор боярский заморенных верховых коней. Меж тем как сам, на колени повалясь и шапку сорвавши с головы, лобызал сейчас, весь в радостных слезах, сухую руку Алексия.

Возок митрополита едва не на руках внесли во двор боярина, а самого Алексия уже и точно на руках боярин с дворским заносили едва ли не бегом в хоромы, в чистую гостевую горницу.

И на настойчивые покоры Алексия — ночевать-де недосуг — боярин токмо отмотнул головою, выдохнув:

— Часом! Часом, владыко! Зато кони, коней дам, коней...

И, уже усадив, опять сунулся в ноги, лбом стукнул в пол, возрыдав, и вновь, отдавая через плечо приказы ключнику и холопам, целовал и целовал благословляющие руки митрополита московского.

С поклонами взошла боярыня. Стол обрастал снедью.

— Часом, часом! — бормотал боярин, минутами забегая и заглядывая в палату, проверяя, все ли содеяно так, как велено, как по его приказаниям и надлежит.

Уже и селян набежало на двор боярский, и когда уже ратных под руки проводили к господским столам, какая-то торопливая старуха, роняя слезы и отчаянно торопясь, рванулась сквозь толпу глядельщиков с кринкою горячего топленого молока, отчаянно, в голос возопив:

— Молочка, молочка вареного!

И боярин, сам выскочивший в тот миг на крыльцо и поднявший было привычную длань — отогнать, отпихнуть старую, понял, вник, постиг разом и, засуетясь, вдруг схватил старуху ту и поволок за собою в горницу, и та, передав кринку, уже сама на коленях подползла к Алексию приложиться в черед к руке и кресту главного молитвенника земли.

И молоко (ратные поняли, постигли, пряча улыбки) пошло по кругу, и каждый отпивал крупно, пока не опружили кринку до конца, после чего Никита, качаясь на плохо гнущихся ногах, поднес, вернул глиняную посудину бабушке, и та, улыбаясь и всхлипывая, сама уже мелко крестила ратных, причитывая над ихнею худобой.

В бертьянице в это время стоял разор, словно от наезда татарского. Холопы несли платье, оружие, узорные седла — годами береженое боярское добро. И когда отъевшие ратные подымались из-за столов, их уже выводили переодеть, натягивали на них свежие рубахи и порты, узорные зипуны, тимовые сапоги, коих иному из ратников допрежь и носить не приходило ни разу в жизни.

А на дворе уже ждали крутошеие жеребцы под узорными седлами, в чеканной сбруе, и уже в возок митрополита запряженная шестерка карих, под масть, боярских коней рыла копытами снег, и, новая волчья полсть уложена оказалась вовнутрь возка, и бобровый опашень наброшен на плечи владыки. Словом, безвестный боярин, не присевший ни на миг за все те недолгих два часа, что перебыл у него во дворе владычный поезд, успел, опустошив и бертьяницу свою, и конские стаи, заново снарядить, переодеть и переобуть, посажавши на новых коней, всю дружину Алексия. И только уж на выезде вновь рухнул в снег перед возком владычным, уже теперь не один, а с боярыней и младшим сыном (старшие оба берегли рубеж за Вереей). И Алексий, улыбаясь, благословил всю семью доброхотного жертвователя и толпу набежавших селян, которые тоже сплошь, рядами попадали на колени.

И уже проводив обоз, и когда последний верхоконный пропал за дальним увалом дороги, боярин поворотил, торжественно глянул на жену, сына и челядь, достав плат, отер увлажненные глаза и чело, сказал твердо:

— Теперя Можай не возьмут! Бог даст, и Ржеву воротим!

Задрал бороду, поглядел уже и вовсе значительным зраком и пошел важно, не косолапя уже, твердо пошел, хозяйскою поступью. И уже от крыльца, восшед по ступеням (гулять так гулять!), повелел громко ключнику:

— Мелентий! Всех кормить и поить! Весь двор! И село! Радость вышняя! — И перекрестил себя широко, воздев очи к проголубевшему весеннему небу.

Покамест длился плен Алексия, многажды мнилось и ему о последнем, всеконечном конце. Накатит Ольгердова конница — и поминай как звали! Терем — дымом, а самого с боярынею — в полон! Так думал не он один, многие. И на селе думали так, и потому теперь гомонили радостно, и целовались, и восклицали. Все ждали владыку своего, весь народ.

Ключник посунулся было, пугливо поглядев на стадо одров, оставленное ратными.

— Что делать с има? Може, на живодерню сослать?

— Коней на овес! Выхаживать! — строго повелел боярин, скользом лишь подумав о том, что без коней ему туговато придет по весне, но тут же и отогнав невольное сожаление. — Ети кони кого спасли? Разумей! — присовокупил строго. И глазами сверкнул молодо и всхлипнувшей жене, неверно истолковав ее светлые слезы, бросил походя: — Наживем!

А та, только рукою махнув, огладила по плечу любовно хозяина своего, всю жизнь копил, собирал по крохам, скаредничал, куски считал, а тут — и не чаяла такого от него! И плакала теперь от счастья, возгордясь мужем.

...Безвестный боярин, без имени, не оставивший по себе следа ни в каких хартиях, ни в памяти ничьей, такой же, как и многие на тогдашней Руси,

Москва встречала поезд Алексия колокольным звоном. Пути огустели толпами. О том, что покойный Иван оставил вместо себя правителем государства владыку Алексия, ведали все. И почтение к духовному главе Руси, ныне объединяемое с почтением, к главе государства, исторгало слезы радости, повергало на колени. Срывая шапки, падали в снег, крестились и славили. Алексию, что думал было остановить у Бого-

явления, неволею пришлось ехать прямиком в Кремник, в палаты владычные, где все уже было готово к торжественному приему хозяина: покои вытоплены, дожелта отмыты и отскоблены тесовые полы, начищенное серебро и золото божницы горело ясным огнем в мерцании лампад и свечей в высоких свечниках. Ждали принаряженные служки, ждали владычные бояре, ждал клир.

Никита, что выстраивал ратных, только что сам соскочивши с коня, неволею почуял, понял наступившее днесь нужное отдаление от владыки, и, поняв, задавил в себе зряшное сожаление. В пути казалось, чуялось — на своих руках, не везут, несут, скорее, владыку в Москву! Здесь же оступили великие бояре, знать, и снова он — на низу, на месте своем, пусть и не самом низком, а все же, почитай, в холопах владычных. Не герой, не спаситель, а помилованный некогда, прощенный и забранный в число слуг под дворским мелкий вотчинник... Не то же ли чуял и дедушка, когда, спасая князей, верша ратями, доставляя грамоты, от коих зависели судьбы земли, ворочался к обыденной службе и снова был меньше любого городового боярина и только что выше мужиков из родимой деревни? Никогда допрежь подобное как-то и не приходило в Никитину голову. Годы, горький опыт жизни! И со Станятой ноне не побаять путем! И друг, Матвей Дыхно, лежит в Смоленске, в тяжком бреду оставленный, и выживет ли еще? А как жена, сын? О них мало и думалось в дорогах. А теперь — словно отходящая боль — заныло воспоминанием... Поди, ушлют куда-нито и дома не побываешь!

Вечером ели без вкуса, умученные всмерть, на владычной поварне, вполуха ловя гомон и клики толпы, к ночи еще и еще огустевшей в Кремнике. Лениво думалось: о чем ныне толкуют там, наверху, бояре? Чьи сани, возки или верховые кони сейчас заполнили весь двор и околодворье владычных палат? Юных княжичей Никита тоже увидал мельком лишь, когда их выводили на красное крыльцо теремов встречу Алексию.

Ратникам, чаявшим ночлега, после столов велели всем сожидать, не расходясь. Скоро, впрочем, явились боярин Феофан с молодшими. Каждому из тех, кто спасал Алексия, выдали по серебряной гривне, назавтра кметей созывали на пир во владычные покои. Ободрившиеся, повеселевшие ратники, сбросив сон, оступили улыбающегося боярина. Тот кивал, отвечая всем сразу. Заверял, что за недужными во Смоленск уже послан обоз, что вдовам погибших назначена месячина из владычных доходов до возрастия детей, что о полоненных в Киеве уже посылано с выкупом ко князю Федору и всем вообще беглецам ныне, полонного терпения и истомы ради, дана ослаба от службы до самой Пасхи.

Никита слушал, стоя посторонь, кивал головой — к нему, владычному холопу, все это относилось мало — и только гадал: отпустит ли и его Алексиев дворский на побыв к дому или ушлет куда опять?

Он уже тронул к выходу, намеря добраться до молодечной и унырнуть в сено, в сон (от прежней многодневной устали его, как и прочих, качало на ногах), когда неведомый кметь тронул его за плечо:

— Никита Федоров?

Никита оборотил чело, подумал, глядя в лицо кметю. По сердцу прошло тревогою: а ну как кто из хвостовских и под веселую неразбериху праздничной встречи заведут куда!.. Сейчас, столь близко от дому, почуял он неведомый ему прежде испуг.

— Тысяцкой тебя зовет! Василь Василич! — повестил кметь, и Никита, переведя плечьми, все еще сомневаясь, двинул вослед кметю. Кое-кто из своих, дорожных, оборотил к нему.

— Вельяминов созывает! — на всякий случай громко повестил Никита. — Коли что, тамо ищи... — И, кивнув независимо, туже подтянул пояс, проверивши заодно рукою добрый нож на поясе, пошел к выходу.

На улице, впотемнях, гудела радостная толпа. Проталкиваясь, Никита все думал-гадал, туда ли его ведут, куда обещано. Но вот, слава богу, двор Вельяминовский. От сердца отлегло малость. Уж Василь-то Василич того не свершит!

Знакомою долгою лестницей поднимался Никита вверх по ступеням. В очи кидались рожи захлопотанных девок, снующих холопов... И чуял он после всего, что было с ним, словно из другого мира пришел, словно только узреть ему и пройти мимо, невестимо для них, днешних, точно он дух или тень, столькое осталось за спиною страшное и чужое для этой, когда-то привычной ему жизни боярского двора!

Василь Василич встал встречу с лавки, большой, с отвердевшим, словно точнее означенным ликом (иных в покое Никита не вдруг узрел). Подумалось: в пояс ли поклонить? Но боярин уже размахнул руки, и, кажись, не впервой ли довелось ему поликовать с самим Вельяминовым? Что-то горячее подступило ко глазам. Тяжкий кошель новгородского серебра невестимо перешел из рук тысяцкого в калиту на поясе Никиты. Как во сне принял он чару, и к нему посунулись многие. Тут токмо увидал, что палата зело не пуста. Сыновья, родичи, челядь — все приветствовали воина, спасшего честь Москвы, а он стоял, качаясь на ногах, и не знал, не ведал, сесть ли ему или, отдав поклон, идти куда-нито. А к нему тянулись, прошали, и он ничего не мог, только руки протянул: «Вота!» Глянул обрезанно светлым отчаянным взором. От крови отмыл ли, а долг сполнили свой!

— Матвей в Смоленске лежит! — отнесся к боярину.

И Василь Василич кивнул понятливо, верно, уже уведал о том.

— Ступай! — вымолвил. — Сказывать завтра будешь, а ныне радость тебя ждет!

И Никита, кивнув — от чары меда единой жаром проняло, — пошел, качаясь, следом за постельничим боярина куда-то вверх и уже перед горницею знакомой опомнился, и глухо ударило сердце. А она уже ждала и встретила, отворив дверь. И исчез, отступил неслышимо постельничий, и девки куда-то провалились в небытие, и почти внесла в горницу, уступленную ей ныне Василь Василичем, только где-то вдали охнула затворенная дверь...

А он рыдал, сидя на постели уже и уронивши ей

в колени лицо, отходя, трясясь малым дитем, заблудшим в густом бору, когда оно выйдет наконец к свету, а она гладила и гладила его поседевшие, поредевшие волосы и молчала столько, сколь нужно было смолчать, а потом подняла, мягко привлекла к себе, и он, закрывши глаза, мял, тискал ее тело, целовал, все еще мокрый от слез. Но вот и отошел, и воскрес, и тогда узрел и стол с ужином на двоих, и свечу, и услышал, как скрипнула вновь дверь, и улыбающаяся лукаво вельяминовская девка вносит накрытый платом горшок с горячей ухою, и острый запах рыбы, иноземного перца и лаврового листа лезет ему в нос. И хоть он и от столов, и там-то хлебал едва-едва, борясь с дремой и усталью, но тут вдруг чует звериный голод и уже с нетерпением ждет, когда выйдет девка, что из-под ресниц оглядывает и хоромину, и постель, и его Наталью, смакуя про себя чужую близкую супружескую ночь.

Потом он ест торопливо и жадно, и Наталья, едва-едва черпая ложкой, только чтобы не остудить мужа, не оставить одного за столом, сказывает новости: и о том, что сын растет, бегает по избе, и о второй корове, и о том, что давеча побывала в коломенской деревне своей, которую, как приданое Натальи Никитишны, не забрали под митрополита, и потому в ней они оба, она и он, уже полные хозяева, поясняет Наталья, чуть-чуть гордясь «спасенным» (и теперь, сына ради, очень важным) добром. Никита в ответ отвязывает калиту с серебром, кидает плашью о стол. «Василь Василич!» — поясняет. «И вота!» — выкладывает рядом владычную гривну. Наталья тут же заботно убирает и то и другое в ларец: не надо чужой прислуге казать нажитое добро! Наливает меду, приговаривает вдруг тихо и беззащитно: «Много не пей...» — и сама, как давеча он, валится к нему в колени «Соскучала... Не верила уже! Баяли, всех тамо порешили наших!» И по вздрагивающим плечам жены догадывает Никита о ее тоске и скорби, отчаянии и днешней радости соединения, когда уже не чаяла видеть живого...

Она снимает повойник, расстегивает саян, медленно вынимает, любуя его взглядом, из ушей два золотых солнца с крохотными капельками бирюзы — давний княжеский дар, стоит перед ним, выгнувшись, в рубахе единой, мерцая дурманно-лукавым и тревожно-зовущим взором, и, поднявши руки, вынимает гребень из волос. А он сидит, босой, и смотрит, и медлит тоже, ибо счастье — это только нежданный луч солнца среди пасмурного дня, это улыбка на угрюмом лице жизни, это нечаянная встреча, это песня, прозвучавшая вдалеке... И его так хочется удержать, остановить! Хотя с годами, с возрастом приходит все ясней и яснее, что счастье неостановимо и не надо тщиться задержать его бег близ себя дольше, чем то дано судьбою и начертано на небесных скрижалях Господом...

В княжеской думной палате мерцают ряды свечей. Разряженные бояре тесно сидят по лавкам. Явились все. Бяконтовы и Вельяминовы, Акинфичи и Редегины, Кобылины и Окатьевы, Прокшиничи и Афинеевы, Зерновы и молодой Иван Родионыч Квашня... Здесь и бояре, и те, кто еще будет боярином вослед отцу (как Иван Квашня). Здесь именно все! И в палате светло и торжественно, торжественно и тревожно.

На столе, на престоле, в резном креслице княжеском, — девятилетний мальчик Дмитрий, таращит глаза, старается не заснуть, любопытно оглядывает бояр и синклит. Рядом, в высоком кресле, худой лобастый старец в торжественном митрополичьем зелено-палевом облачении, в белом клобуке с воскрылиями, с тяжелой узорной панагией на груди и с посохом, который он, сидя, держит перед собою, рукоятью резного рыбьего зуба вверх. Одиноко горит на рукояти зеленым огнем драгий камень, оправленный в черненое серебро. И взоры, и вопрошания — от мальчика к нему, к старцу, нынешнему главе страны. А он глядит, слегка склонив голову, темно-прозрачный взгляд его остр и глубок. И каждый из председящих ему в ближайшие дни станет пред ним на исповеди, и каждый содеет все, что велит он, и содеет радостно, ибо как тяжко без него — в том уже убедились все, потерявши и сам великий стол владимирский и теперь сожидая, что и села и волости под Костромою, под Владимиром, Юрьевом, иными ли городами по Волге и Клязьме почнет отбирать у них новый великий князь, Дмитрий Суздальский. И уже потеряны Ржева и Лопасня, и тревожен Волок Ламский, и вот-вот... И потому бояре дружно, не залезая в казну великокняжескую, дают сейчас серебро владыке Алексию: на выкуп пленных и награды ратным, на оборужение новых полков, на дары в Орду, на дары в далекий Царьград, куда вскоре поскачут владычные посланцы с жалобою патриарху, жалобою, которую должно подкрепить русским весовым серебром.

Ибо Роман днями прибыл в Тверь, куда воротился из Литвы обласканный Ольгердом Всеволод, и Василий Кашинский вновь воротил Всеволоду тверскую треть, и Роман получил от Всеволода дары, и кормы, и дани, и ежели так пойдет далее... Но далее так не пойдет! Старец в глубоком кресле с высокою резною спинкою, воротившийся ныне из плена, почитай, с того света приехавший на Москву, в силах теперь остановить безлепое наступление Литвы и вновь утвердить пошатнувшую было власть государей московских.

Алексий подымает голову, произносит сурово несколько слов. Устал ли он с тяжкого своего пути? Изнемог ли? Должен ли отдохнуть и телом и духом? Неведомо. В кресле, с узорным посохом в руках, сидит страж земли, воля коего ныне тверже твердоты драгого камня шемшира. В кресле сидит муж, отринувший от себя все земные услады ради одного, единого, что он намерил, должен и будет вершить — создания великой страны. Не можно уведать — пока не можно! — предела его телесных сил, ибо он, когда уже все бояре покинут палаты и отойдут ко сну, когда уже сморенный мальчик-князь будет видеть десятый сон в своей княжеской кроватке на точеных столбиках с пологом из бухарской узорной зендяни, он еще только окончит диктовать грамоты, и примет, уже глубокой ночью, тайного гонца из Орды, и после того станет еще на молитву, дабы наконец смежить на мал час очи свои перед утром, перед светом, перед новым днем, полным трудов и борьбы.

В Константинополь по последнему санному пути московский посол Дементий Давыдович с отцом Никодимом, как свидетелем бедствия, и двумя архимандритами — переяславским и владимирским — повез пространную жалобу, направленную против Романа, князя Федора и Ольгерда. Перечислялись все совершенные убийства (прежде всего — духовных лиц), кража церковных сосудов и имуществ, позорный плен самого Алексия — все, уже известное нам и позже уместившееся в скупых строках соборных деяний константинопольской патриархии за 1361 год, гласящих, что Ольгерд «изымал его (Алексия) обманом, заключил под стражу, отнял у него многоценную утварь, полонил его спутников, может быть, и убил бы его, если бы он, при содействии некоторых, не ушел тайно и, таким образом, не избежал опасности».

С грамотами в Константинополь уходят дары, очень нужные разоренной казне василевсов и беднеющей патриархии. Теперь, когда Алексий был в безопасности и стоял у власти, весы патриаршей милости должны были ощутимо склонить на его сторону (что уразумел и Каллист, пославший в следующем, 1361 году, в июне, на Русь своих апокрисиариев для разбора дела; но в конце того же года Роман умрет, и вся русская митрополия вновь воссоединится под рукою Алексия).

Иная грамота уходила в Новгород, приглашая новоизбранного новгородского владыку на поставление во Владимир. Допустить, чтобы архиепископа новгородского ставил на кафедру Роман, Алексий, разумеется, не мог.

Однако выехать во Владимир сразу же, как хотелось ему сперва, Алексий не сумел. Следовало прежде навести порядок на Москве и во владычном хозяйстве, где, что греха таить, кое-кто, видимо, понадеялся уже, что митрополита и вовсе задавят в далеком Киеве, и, поторопясь, наложил руку на церковные имущества и земли.

В таком духе наставлял он и Никиту Федорова, вызванного через два дня во владычные палаты.

Никите, чаявшему далекой дороги во Владимир, нежданно была вручена грамота с предписанием ехать в деревню, посетить такие-то и такие-то села владычной Селецкой волости, проверить в них амбары, пристрожить посельских, собрать недоданный рождественский корм и доложить, все ли готово к весенней страде.

— Приятелей дозволишь взять с собою, владыко? — вопросил Никита, живо сообразив, что с зарвавшимися держателями владычных сел разговор будет крутой. Алексий внимательно просквозил ратника своим глубоким взором, чуть улыбнулся. Подумал, кивнул головой.

— Жонка, сын здоровы? — вопросил. Вызнал уже, что Наталья Никитишна на Москве.

— Сына не видал... Ходит уже! — зарумянясь, отмолвил Никита.

— Ратных возьмешь, потише там воюйте, не с литвой! — напутствовал его Алексий.

Выходя, Никита обернулся. Ярко узрелось: красные от недосыпа веки Алексия и его бездонный, внимательный взор. Горячею волною любви и почтительной жалости окатило сердце...

Со Станятою они, уже в нижних хоромах, крепко обнялись, облобызав друг друга. До отъезда Никиты, оба понимали, не знай, придет ли свидеться еще.

— Теперь во Владимир? — спросил Никита.

— Скоро! — возразил Станята, острожев лицом.

И молчаливое, несказанное передалось, понялось вдруг Никитою: впервые за тридесяти лет Владимир был не свой, не московский, и чужой, суздальский князь сидел теперь на великом столе. И ему, Дмитрию Костянтинычу, надобно было теперь отвозить ордынский выход — его была вышняя власть в Русской земле... Дожили сраму! И еще об одном сказало строгое лицо Станяты: владыка Алексий должен будет, сумеет все это вновь изменить!

Алексий и сам думал о том непрестанно. Но понимал и другое: никакое течение дел не можно поиначить враз. А без точного знания того, что ся деет в Орде, с суздальским князем спорить было и вовсе не можно.

Он распорядил, не задерживая, отослать ордынскую дань новому великому князю и даже передать Дмитрию Константинычу часть владельческих доходов с Переяславля. Вместе с тем он намерил было писать Тайдуле и ее эмиру Муалбуге в Сарай, дабы те уговорили нового хана, выдававшего себя за сына Джанибекова, пересмотреть решение о великом столе владимирском, но вести из Орды, полученные им накануне, были нехороши, очень нехороши! На хана Науруса, по слухам, поднялся заяицкий хан из Белой Орды, Хидырь, и в степи назревала новая смута, о чем пронырливые и вездесущие слуги церкви вызнавали много раньше княжеских послов, и потому Алексий порешил не писать, а выжидать событий, заранее готовясь к самым нежданным переменам в Сарае.

Следовало, видимо, сойтись также с новым темником, Мамаем, замыслившим, как кажется, в донских степях стать новым Нохоем.

Следовало понять, чем грозит ныне Поволжью с Востока Белая (Синяя) Орда. В чем тут может выиграть или проиграть Дмитрий Константиныч? Но внутренним провидением своим Алексий знал, ведал, что на великом столе суздальскому князю долго не усидеть.

К юному Дмитрию Иванычу меж тем Алексий приставил своих наставников — учить княжича грамоте, чтению и письму, закону божию, церковному пению и счету. Алексий принял и благословил всех вдовых княгинь, собравшихся на Москве, разрешил их земельные споры, обласкал и утешил. Бояр московских, вызывая одного за другим, исповедовал, наставлял и строжил, соединяя духовную, пастырскую власть с властью государства. Успел побывать и в Переяславле, где выяснил наконец о нестроениях в обители Троицы, почему и не подивил, когда к нему явились двое молодых мнихов с Киржача, от Сергия, за владычным благословением на созидание церкви в новооснованном старцем Сергием монастыре.

Алексий внимательно разглядывал испуганных и подавленных роскошью митрополичьих владений ино-

ков в крестьянском платье. Выслушал, покивал согласно, вручил антиминс и грамоту.

Сергий, конечно, ничего никому не скажет, подумал он. И Стефан не явился к нему. О чем угодно, только не о добром согласии свидетельствует уход Сергия в новую обитель, где все придет созидать от начала начал!

Но и тут, как и с суздальским князем, как и с Ордою, не воспретил Алексий, порешив выждать дальнего развития событий, которые — он не сомневался в этом нимало — заставят и самого Сергия поиначить свой нынешний замысел и понудивших его уйти от Троицы приведут к раскаянию в умысле своем.

...Как только сошли снега, как только мочно стало пройти колесу по мягкой весенней дороге, Алексий выехал во Владимир.

С высоты являло взору, как голубой воздух, пронизанный светом, наполняет мир. Далекие леса стояли, легчая в аэре. По луговине разливалась вода, подтопив кусты, толкалась льдинами в высокий берег.

Клали трапезную. Взъерошенные кони тянули волокушами лес. Внизу, маленький, суетился боярин, задирал руки, кричал. Сергий, воткнув секиру, начал спускаться по подмостьям. Весело, споровисто стучали топоры.

Боярин радостно пал в ноги. Кошель с серебром Сергий, не считая, отдал брату-эконому. Прищурясь, оглядел боярина.

— Древоделей, говорю, подослать? — деловито тараторил тот, приняв благословение старца и с удовольствием оглядывая размах строительства.

Сергий, огоревавши зиму, с весны вложил все силы в созидание обители. А как только дошла весть о возвращении Алексия, почуял и к себе разом прихлынувшее внимание. Не обманывая себя, понимал: ради владыки! Но от доброхотных даров не отказывал. То, что у Троицы сотворялось годами, тут возникало в месяцы. И твердо, жестко даже принимал Сергий новожилов сразу на общее житие. И было легче так. Кто шел к нему, знал, на что идет.

Убежище его троицкая братия открыла еще по осени. Не дождав игумена, пошли в разные стороны. Один из чернецов забрел на Махрище. Иноки ему в простоте повестили: «У нас!»

Потом уж приходили, винились, звали назад. О том, что было меж ним и братом (да и было ли? Стефан не ведал, разве понял потом, почто он ушел тогда), Сергий не сказывал никому. И молчал в ответ на вопрошания и призывы.

После Рождества началось понемногу бегство к нему троицкой братии. Приходили, падали в ноги. Виноватыми чли себя все приходящие. Сергий ничего не объяснял и не поминал ни о чем. Так перебежали Михей, Роман, Исаакий, Якута. Весною явился Ванята. Пришел бледный, решительный, в березовых лаптишках, с посохом. Поглядев в глаза Стефанову сыну, Сергий, ни о чем более не спросив, принял отрока.

Просящих принять в обитель было множество, и Сергий брал, испытуя, и притом далеко не всех. Зато от доброхотных дарителей на новом месте не было отбою. Приезжал Тимофей Вельяминов, Андрей Иваныч Акинфов приехал перед самой весной, дал серебро на храм, доставил целый обоз снеди, долго ходил, глядел, кивал, одобряя, обещал выслать иконы суздальских писем и напрестольное Евангелие московских, Даниловых, мастеров, когда будет сведена кровля.

Храм во имя Благовещения заложили, едва протаяла земля. Выворачивали вагами мерзлые глыбы песка, закладывали камни под углы будущей хоромины. И уже первые ряды сосновых, из осмола, венцов означили начало сооружения.

Трапезную надлежало довершить на этой неделе, и потому, даже и таких наездов ради, Сергий с неохотою оставлял секиру. Боярин высказал наконец свою просьбу. У него народился сын, и боярину жалость пала — окрестить дитятю непременно у Сергия.

— Ехать недосуг! Сюда привози! — твердо отмолвил троицкий игумен, отметая дальнейшие уговоры.— Да не простуди младеня дорогой! Крестить должен по правилу отец духовный. Советую ти, чадо, гордыню отложи и крести сына своим попом. А как отеплеет, благословить ко мне привози!

Боярин заметался глазами. Видно, не подумал о таком исходе, но, неволею постигнув правоту Сергия, не мог, однако, так вдруг изменить замысел свой.

Сергий, оставя боярина додумывать, вновь полез на подмости. Боярин задумчиво глядел снизу на строгого игумена в лаптях и посконине, который издали казал мужиком, а вблизи, глянув пронзающим светлым взором, поразил его мудростью и почти что княжеской статью.

Топоры звенели в лад, с дробным перебором, несказанною музыкой труда. И Сергий, подымаясь все выше и заглядывая в провал хоромины, стены которой тесали сразу же, кладя очередные венцы, думал о том часе, когда в прорубы окон глянет эта вот даль и эта бегучая вода, и дубовый стол станет посереди, и лавки опояшут новорубленую трапезную, и братия впервые соберется тут, а не внизу, в дымной хижине, где обедали едва не на коленях друг у друга.

Шла весна, и, еле видные издали, курились дымами деревни. Мастера, нанятые со стороны, скоро уйдут. Близит страда. Пашни, освобожденные от снегов, уже ждут, просыхая, заботливых рук пахаря... Он на миг ощутил щекотно в ладонях рукояти сохи и сощурил глаза. Ранним утром отсюда, с высоты, слышен далекий тетеревиный ток. Божий мир был прекрасен, и прекрасна жизнь, отданная труду и подвигу. И путь его был по-прежнему прям, так, словно бы и сюда, на глядень, на высоту, продутую весенним тревожным ветром, привел его за руку Господь в мудром провидении своем.

Сергий поднял секиру и, склонясь, пошел вдоль бревна, стесывая его внутреннюю сторону. Дойдя до конца, закруглил и огладил угол. До начала кровли, до «потеряй угла», оставалось всего три венца.

Тайдула очень постарела за последний год. Лицо ее казалось уже не лицом, а пергаменной маской в

жарком обрамлении драгоценностей и парчи. Она сидела в своей летней ставке, названной ее именем (и позднее превратившейся в город Тулу), в роскошной юрте ханского дворца, на парчовых подушках, выпрямясь, подогнув ноги и сложив руки на коленях. Только что у нее побывал Наурус, глядел хитро и жадно, выпрашивал серебро и людей. Ей ли не знать, что все сыновья Джанибека, все двенадцать, перебиты... И теперь изо всех них, мальчиков с оборванными жизнями, помнился почему-то самый меньшой — толстенький малыш, единственный не понявший даже, что его убивают... Будто бы сама родила, будто бы от груди отнял младенца жестокий Бердибек... с Товлубием... Оба зарезаны теперь! И ныне могут ли сказать они, зачем вершили зло, убивая детей? Вот этот — уже второй, называющий себя сыном Джанибека, а будут и другие, будут «воскресать», ибо народ, земля хочет, чтобы они воскресли! Кого убил ты, Бердибек? Себя ты убил! А я? Зачем не поверила русскому попу, зачем не надела крест на ребенка, не скрыла его, не увезла в степь? Как мало прошло времени — и словно долгие годы минули с той страшной ночи!

Муалбуга вошел, кланяясь. Сел на кожаные подушки, скрестив ноги. Едва отведал привозной хурмы и закачался, как от зубной боли, заговорил, жалуясь. Сама знала, что плохо! Пусть шлет джигитов в степь! Пусть тратит серебро на воинов! Тайдула ожесточилась и на миг стала прежней.

— Плохо, плохо, знаю сама! Помоги! Помоги Наурусу, не то придет иной! Уже идет?! — Темный ужас охолодил ее сердце. — Кто? Не ведаешь? Из Белой Орды? Пошли гонцов к Мамаю, пусть даст ратных! Не хочет? Как он может не хотеть?! Как смеет?! Погибнет сам! Говорил ты ему? Это скажи! Наурус слаб и лжив, Мамай будет над ханами хан, ежели спасет Науруса! Авдул? Какой Авдул? Он Чингизид? А кто этот Кильдибек, что называет себя опять сыном Джанибековым? Не стони! Ты воин! Князь! Мы еще сидим тут, в Орде!

Глаза царицы сверкнули молодо. В отверстые двери дворца залетали далекие запахи степных трав... Как давно, боже мой, как давно уже этой порою Джанибек вывозил ее в цветущую степь, уже отцветающую степь... И все эмиры были подвластны ей тогда, и лицо ее было молодо, и она могла родить... И могла ведь, могла не рожать на свет отцеубийцу Бердибека!

Она бы заплакала, но перед нею сидел Муалбуга и качался, как от зубной боли. Встань, пойди, сядь на коня, обнажи саблю! Куда исчезли мужи? В Орде остались одни бабы да голодная рвань!

Муалбуга встает, прощается с нею с поклонами. (Иди! Не медли! Даже и для меня! Спасай отчизну покойного мужа моего!)

По уходе Муалбуги она велела усилить стражу дворца. В саду выпустили страшных степных собак. Рабыню, что неловко задела ее, снимая наряд, Тайдула больно, выкручивая, ухватила за ухо цепкими, не по-женски сильными пальцами. Девка скорчилась от боли, раскрыла рот, как рыба, собираясь кричать, но кричать не посмела, уползла со стоном.

Тайдула лежала, глядя в темноту, одинокая, злая, старая женщина, потерявшая все, что составляет утеху жены и матери, и теперь теряющая последнее, что у нее осталось, — власть.

Ордынская весенняя ночь была черна и тревожна. Она окликнула служанку, не ту, другую. Потребовала найти крест, подаренный Алексием. Держа в руке крохотный кусочек серебра, немного успокоилась было. Но и крест не помогал. Заливались псы. Тревога сочилась, лилась, неслышно заливала дворец. Плохой оберег вручил ей урусутский поп! Тайдула с силою швырнула крест в темноту, и в тот же миг вдалеке поднялся крик, лязг оружия, и снова крики, ржанье коней. Она поднялась с подушек, подобралась, как кошка. На мгновение захотелось бежать во тьму, в ночь, пасть на коня и скакать — не важно куда! Пересилила себя, встала, велела принести огня. Служанки долго, бестолково зажигали светильники...

В юрту, не блюдя достоинства государыни, забежал сотник.

— Беда! Режутся уже в стане!

— Кто? Тагай?

— Хызр-хан!

Тайдула молча опустилась на подушки. Хызр-хан был Шейбанид и ее враг. Бежать? Куда? Дворец окружен. К Мамаю? Тайдула усмехнулась надменно. У Мамая Авдул. Хитрый темник, гурген, зять и правая рука покойного Бердибека уже нашел себе хана — Чингизида, которым будет вертеть, словно куклой.

— Ступай! Возьми всех воинов! — произнесла она, овладев собой. — Надо драться. Нам некуда бежать!

Сотник уполз. («Предаст!» — подумалось безотчетно.) Она ждала еще час и два.

Крики и ржанье коней то усиливались, то гасли, и тогда казалось, что одолевают Муалбуга и воины Науруса. Но вот шум битвы прорвался потоком, грозно надвинувшись на молчаливую вереницу дворцов. Топот, крики уже в саду, у юрт. Тайдула сидела не шевелясь.

Нукер, отступивший от входа, спиною влез, отбиваясь, в юрту и упал, подплывая кровью, прямо к ее ногам. В юрту ворвались незнакомые воины. Жадные руки протянулись к ее серебру.

— Назад, псы! — выкрикнула царица. — Где мой эмир Муалбуга? Где хан Наурус? — требовательно вопросила она, вступившего в юрту вожака вражеских воинов.

— Оба убиты! — ответил тот, вытирая кровавую саблю, и в глазах его, сощуренных, насмешливо-холодных, Тайдула прочла свой приговор.

Ее схватили. Рвали с нее украшения. Вырывали с мясом серьги из ушей. За косы волочили по земле.

Поднятая на ноги, с разбитым лицом, она молчала. Не от гордости. Просто уже умерла в тот миг, когда простой ратник посмел, ухватив ее за косы, волочить по земле. Ее, царицу, подписывавшую ярлыки царям иноземным, ее, повелительницу Золотой Орды, которая тоже умерла, с ней умерла!

Кто-то спрашивал ее о чем-то. Быть может, сам

хан Хызр, она не разбирала уже. Она должна была умереть. Сама умереть. Но у нее отобрали кинжал. И приходило ждать милосердия вражеского воина или палача, который окровавит о нее свою саблю. Почетной, бескровной смерти ей не дадут. Пусть! Никто из потомков Джанибека не получил ее. Почетных смертей теперь больше не будет в мертвой Орде!

...Палач поднял за косы отрубленную голову. Мертвые глаза царицы были отверсты и глядели надменно. Медленно капала кровь.

Резня здесь и в Сарае продолжалась весь следующий день. Избивали Муалбугину чадь, избивали последних приспешников или родичей прежних золотоордынских ханов.

Эпоха безвременья меж двух чуждых друг другу культур — степной и городской, мусульманской, — жестоко выразилась в падении всякой нравственности в Сарае, когда сын убивал отца и брат брата. В наступившей длительной замятне степь держалась «своих» ханов, а волжские города — заяицких, поскольку туда уходили и оттуда являлись купеческие караваны и бесерменам Сарая выгоднее было не ссориться с ханами Ак-Орды.

Но кто был опаснее для Руси? История последующих лет говорит нам, что заяицкие ханы постоянно совершали набеги на Русь. Оттуда же, из Белой Орды, вышел впоследствии и Тохтамыш, а со степной Ордой Мамаевой оказался возможен союз, обеспечивший еще пятнадцать лет мира, столь нужного Руси для собирания сил. И когда Мамай спохватился и в союзе с Литвой повел на Русь свои войска, было уже, по существу, поздно. Созданное митрополитом Алексием Московское государство смогло противустать Орде как единая сила всей владимирской земли. Но чтобы угадать все это в 1361 году, нужно было провиденье гения. Каким сверхчувствием проник в грядущее Алексий, когда поддерживал одних ханов против других в жестокой ордынской замятне?

Хызр (или Хидырь, как его называли русские), тайно приглашенный эмирами Сарая из Белой Орды, торопился утвердить свою власть на крови соперников. И это был конец Золотой Орды. И был бы вовсе конец! Но полтора столетия побед, но тень Чингисхана, но обаяние власти все еще продолжали собирать степных воинов к мертвому знамени своему. Не сразу и не вдруг умер Сарай, столица Золотой Орды, ставшей ныне Белой (или Синею) Ордою. Не вдруг отступила степь от Батыевых древних знамен.

И князья русские, не решивши доселе споров своих, сами не хотели гибели столицы на Волге. И потому, едва утвердился на престоле Хидырь, потянулись в Орду князья владимирские с данью, которую некому было бы и потребовать с них в эти месяцы ордынского безвременья, за ярлыками, которые почти неведомо было, от кого и получать теперь...

Усевшись на престоле, едва стерев кровь с подошв своих сапог, хан Хидырь тотчас вручил ярлык на великое княжение тому же Дмитрию Константиновичу Суздальскому. Но тут же пожаловал и ростовского князя Константина на весь Ростов, разом перечеркнувши старинную куплю Калиты. И князю Дмитрию Борисовичу воротил Галич, казалось бы, прочно отобранный у него московитами. Так что и суздальский князь получил великое княжение урезанным до его прежних размеров.

Новый хан не был глуп и понимал, что Русь надобно ослабить, дабы держать по-прежнему в узде. Токмо единого не понимал он, что не узда держит в повиновении народы, а сами они хотят или не хотят быть рабами власти, тем более — власти чужой. И что на Руси нарождаются новые силы, коим уже скоро не по норову станет ордынская узда, этого тоже не знал, не ведал захвативший Сарай Шейбанид.

Двадцать второго июня, за неделю до Петрова дня, Дмитрий Константинович торжественно въезжал во Владимир. Над кручею Клязьмы, над полями тек высокий колокольный звон.

Лето было в той поре роскошного расцвета, когда уже все раскрылось и расцвело, и травы поднялись в рост, и волнами ходит ветер по зеленым хлебам, но еще не коснулись ни того, ни другого горбуша и серп и не проглянет пыльной усталости, ни редкого желтого листа в широкошумных кущах дубрав, а все еще молодо, свежо и полно зеленого блеска, как жизнь, только-только вступающая в пору возмужания своего.

Из трех сыновей покойного Константина Васильевича Дмитрий был больше всех похож на отца. Андрей недаром уступил ему первенство и великий стол владимирский. И дело было не только в том, что на Андрея, сына гречанки, якобы косились суздальские бояре. Сам Андрей передал Дмитрию Степана Александровича и иных многих бояр и всегда поддерживал брата. Но Андрей чуял, что ему не в подъем борьба за вышнюю власть на Руси. Борис, младший, был и упрям, и жаден, но не хватало в нем широты братней — того, что подвигло Дмитрия Константиныча, получивши ярлык у Науруса, не настаивать на возвращении ярлыков обиженным Калитою князьям (и потому пролегла чуть заметная трещинка меж ним и сторонниками отца). Но теперь был удоволен и Константин Ростовский, добившийся наконец возвращения своей вотчины, и Дмитрий Борисович Галицкий (хотя и Владимир Андреич, юный московский княжич, имел по роду права на галицкий стол, но... и тем паче!).

Не мог не понимать и того Дмитрий Константинович, что с сими ярлыками, выданными законным владельцам, происходит умаление власти великокняжеской, что в споре с Москвой он толкает страну назад, ко времени уделов, едва зависимых от великого князя владимирского... И все-таки была радость! Воплощение отцовой мечты, его долгих усилий по заселению Поволжья, строительству городов... И Дионисий будет призывать его теперь и тотчас сбросить

ордынское иго. Рано! Где, как не у хана Хидыря, сумел он получить бесспорную власть над Владимиром? Власть, которую можно купить и не надобно завоевывать в долгой разорительной борьбе, — она стоит ордынского выхода! Тем паче что со времени последнего «числа» людей в княжестве прибавилось втрое, а дань идет прежняя. Можно и заплатить!

Князь, сухой, высокий, породистый, оглядывает с коня встречающих, ловит взоры — скорее любопытные, чем радостные. Колокола бьют и бьют торжественным красным звоном, но эти лица не дают ошибиться князю. Владимир принимает его потому, что так порешил хан, но будет ли поддерживать в ратном споре с Москвою? Неведомо.

Долгий поезд князя втягивается в улицы. Жара, пыль, толпы глядельщиков по сторонам.

В новоотстроенном суздальском подворье — беготня, суета. Стряпают и пекут, захлопотанные слуги то и дело выскакивают за ворота.

Едет, едет уже!

По двору до крыльца раскатывают постав красного дорогого сукна. Стража в начищенных шеломах и бронях — от зерцал колонтарей скачут веселые ослепительные зайцы, подрагивают, сверкая, широкие лезвия рогатин — становится по сторонам дорожки.

Князь Дмитрий Костянтиныч спешивается, идет, по-журавлиному переставляя долгие сухие ноги в мягких, с загнутыми носами, зеленых тимовых сапогах. Подняв голову, выставив бороду вперед, подымается на крыльцо. Как встретит его и встретит ли митрополит Алексий?

Но Алексий прибыл, встречает. Князь целует крест и притрагивается губами к руке московита... Глядит в темно-прозрачные строгие глаза Алексия. Будь он византийским василевсом, в его силах было бы сместить Алексия с кафедры, заменить... Кем? Романом? Или лучше Дионисием? Но он не василевс и не имеет права без согласия Константинополя менять духовную власть на Руси.

Алексий, который доселе сожидал прибытия на поставленье нового новогородского архиепископа (новогородские силы только-только покинули Владимир), слегка склоняет голову. Он почти бесстрастен, вежлив и прям. Он пришел приветствовать и благословить нового великого князя, как и надлежит митрополиту всея Руси. (Будь Ольгерд христианином, он и его обязан был бы благословлять при таковой встрече.)

Он и суздальский князь несколько мгновений молча изучают друг друга. Потом Дмитрий Константиныч в свой черед склоняет чело. Через час в Успенском соборе Алексий будет венчать суздальского князя на стол великих князей владимирских. И будет торжествен чин, и клир будет сиять золотом парчовых одежд, и хор греметь достойно, вознося хвалу новому владыке русской земли. И после венчания Алексий посетит княжеский пир и будет благостен и прилеп, так что даже Дмитрий Константиныч несколько смягчит нелюбие свое к московскому митрополиту...

Все это будет днем, и все это будет творить митрополит, владыка всея Руси. И так минет день до позднего вечера. Но уже к ночи в покои Алексия на владычном дворе проводят пыльного монашка в грубой дорожной рясе, проводят кухонными дверьми, минуя любопытствующую владимирскую обслугу. В темных сенях его принимает молчаливый придверник и ведет к лестнице, наверху которой монашка ожидает Станята. Гостю дают в укромной горнице торопливо поесть с дороги, и затем тот же Станята влечет его далее, а покои митрополита — нет, уже не митрополита владимирского и всея Руси в этот час, а местоблюстителя московского стола, кровно заинтересованного в том, чтобы его стол, его княжество, дело его покойных князей не погибли в переменах земного коловращения.

В этот час у владыки уже не так прям стан и не столь бесстрастно лицо (и не от дневной усталости, от другого). И отревоженный взгляд владыки вперяет с настойчивой страстностью в невидное, в мелких морщинках лицо монашка.

В покое полутьма, Станята стоит у двери на стороже: разговора, который творится сейчас, не должен слышать никто. Монашек зовет хана Хызра, поиначивая по-русски, царь Хидырь, Авдула называет Авдулем, покойного Джанибека — Чанибеком, но дело свое знает отменно, так, как никто другой. Алексию становит внятно в конце концов, что Хидырь не так уж прочен на троне и мочно «пособить» ему трон этот поскорее потерять, что у него нелады со старшим сыном и с внучатым племянником Мурутом, что Мамай таит свои особые замыслы и теперь уже стал много сильнее других темников, что объявился уже третий самозваный сын Джанибеков, не то Бердибеков — Кильдибек, не менее кровожадный и жестокий, чем двое предыдущих, что неспокойно в Булгарах, что замышляет новый переворот хан Тагай, что ожидается по всем приметам суровая зима и, значит, возможен джут и голод в степи и что всем решительно дерущимся ханам и бекам необходимо русское серебро для подкрепления власти своей и домогательств власти.

Монашек получает устные наказы, получает заемные грамоты к русским купцам в Сарае и Бездеже, по которым возможно получить серебро для подкупа ордынских беков, и, накрыв голову и лицо широкой накидкою, удаляется в ночь.

Алексий вздыхает, сидит, понурясь, глядя в огонь свечи, почти забыв про Леонтия.

— Разваливает Орда! — нарушает наконец молчание Станька. — Стойно Цареграду грецкому!

Митрополит молчит. Станята, осмелев, продолжает:

— Скоро ордынски ярлыки будет мочно покупать, как грибы на базаре, — кадушками!

Алексий поводит головою. Улыбается бледно, одними губами. Молчит. Выговаривает погодя:

— Ты поди повались! То, что мы творим ныне, греховно, Леонтий! Но я обещал крестному, что возьму его грехи на плеча своя! Поди! Кликни мне служку со сеней!

И уже когда Станята выходит, шепчет, глядя в огонь:

— Господи, прости мне и в этот раз по великой милости твоей!

Дмитрию Константиновичу скоро пришлось вкусить не только мед, но и горечь вышней власти.

Ордынская дань от братьев-князей поступала с горем великим. Воротившие наконец свои ярлыки Константин Ростовский и Дмитрий Галицкий никак не могли собрать потребного серебра, ибо долгие годы взимание даней находилось в руках московитов. И когда вирники, мытники, данщики, делюи московского князя отъехали, всяк купец, и ремесленник, и смерд, вздохнувши в веселии сердца, помыслил, что при родимом-то князе и платить возможно помене прежнего, а то и не платить совсем. А когда прояснело, что платить надобно не менее прежнего, и молвь, и брань, и котора восстали неподобные, и, как ни бились княжеские бояре, полного ордынского выхода собрать не могли никак.

А тут и новая пакость приключилась, да такая, о каких допрежь и слыху не было на Руси! Новгородские ушкуйники вместе с нижегородскими молодцами, поднявшись невестимо по Каме, взяли приступом ордынский город Жукотин и дочиста разграбили его. Оно бы в замятне ордынской и прошло и минуло, да, на беду, Хидырь сел на царство прочно и теперь требовал возмещения убытков и наказания виновных. Вместе с недоданною данью выходила совершенная неподобь...

Великому князю Дмитрию неволею пришлось собирать княжеский съезд на Костроме о жукотинском разбое. Явился Андрей Константинович из Нижнего. Не сетовал, не корил, но, поглядев в глаза брату, Дмитрий Константиныч скорей отворотил лицо. Явился Костянтин Ростовский, несчастный, изобиженный, злой, требующий от братьев Константиновичей непременного замирения с ханом. Явились мелкие князья-подручники.

Разбойников решено было выдать хану, товар — возместить. Жукотинских победителей хватали великокняжеские приставы, ковали в железа. С великою неохотою выдавал Великий Новгород своих «молодчих», которые хоть и без новгородского слова ходили в этот поход, но и у каждого из бояр было на уме и в душе: «Как, в сам деле, не пограбить Орду? Довольно они нас грабили!» Шло к тому. К Куликову полю шло.

Схваченные молодцы глядели героями. Города глухо волновались. Любви к суздальскому великому князю после выдачи разбойников не прибавилось ни у кого.

Дионисий в Нижнем прочел пламенную проповедь, взяв темою вавилонский плен Израиля от Навуходоносора-царя, после чего закованных нижегородских грабителей Жукотина провожал в Орду, на смерть, с плачем и слезами весь город, яко новых мучеников веры Христовой.

Шло дело к полю Куликову, и не раз еще придется русским князьям смирять низовую прыть той же новгородской вольницы, которой и костромской суд не воспретил выбрасывать на Волгу все новые и новые дружины охочих молодцов... Только теперь и против суздальского князя, вчерашнего друга своего, поимели зуб, и немалый, лихие ушкуйники!

Дмитрий Костянтиныч слишком поздно понял, что глупо поспешил, на горе себе, исполнить ханский приказ. Знал бы он, сколь недолго просидит Хидырь на столе!

Алексий тем часом деятельно наводил порядок в епархиях, исправлял служебный чин, устанавливая литургию по правилам Иоанна Златоуста и Василия Великого, испытывал грамотность священников, рассылал книги по церквам. Увеличенная втрое дружина писцов работала денно и нощно, сводчики переводили с греческого привезенные Алексием труды византийских мыслителей и богословов. Все новые и новые служебники, жития, октоихи, тропари, канонники расходились по монастырям и храмам.

Неслышная эта работа, раз начатая, не прекращалась уже, и рядом с громозвучными деяниями воевод, движением ратей, ухищрениями послов творился, едва видимый, ручеек книжного знания.

Инок в посконном подряснике, отложив перо, медленно растирал пальцами подглазья покрасневших, утомленных очей, взглядывал в затянутое пузырем окошко (за коим слышалось, с отстоянием, звонкое птичье: «Чивк! Чивк! Чивк!» — и теплый ветер шевелил ветви), на миг проникаясь тоскою по этой сияющей земле, по лету, по медовому запаху полей, и, встряхивая головой, шепча молитву, поправлял кожаный гойтан, стягивающий волосы — не падали б на глаза! И, выведя киноварную, украшенную заглавную букву, вновь начинал споро и стройно выставлять буковки полуустава, гласящие о горнем, о высоком, или о делах далеких веков, или воспевающие хвалу Господу, и вновь и опять уносился духом и мечтою в то далекое и вечное, ради чего единожды и навек пренебрег скоропреходящею красою обычной земной жизни...

Переписанные рукописи переплетались в обтянутые кожею «доски», мастера пилили, чеканили и узорили из меди и серебра накладки на углы книг, приделывали узорные застежки к «доскам», и темные эти, схожие с кирпичами, четвероугольные тяжелые, великие и малые, крохотные «книги» начинали свой путь по Руси, подобный просачиванию воды сквозь почву. Ибо не бурные струи речных потоков питают корни дерев, но лишь та влага, что неслышно и невидно для взора пропитывает землю. А стремнины рек — лишь следствие, лишь исход, лишь выброс той главной потаенной влаги, наполняющей мир. И — загороди реку, наставь плотин, сооруди рукотворные моря или пророй новые русла для влаги (завоюй землю, измени власть, законы, навычаи, веру, поставь плотины духовной жизни народа, что то же самое, что и запруда на реке), что произойдет? Нарушатся невидные, малые стоки вод, пронизывающих почву. Подымет их напором влаги и вместе с солью вытолкнет наружу, содеяв неродимой пашню; опустит ли в глубины, иссушив окрестные леса и поля; насытит

ли излишнею влагой жирный чернозем, и тот закиснет, загниет от изобилия, как погибает от ожирения живое существо.

Так и зримые события суть реки истории, питает которые, однако, незримая, неслышимая влага темных кожаных книг, зовущих к труду, вере и подвигу, осмысляющих само понятие, само бытие Родины как той, своей, и только своей, единственной и не заменимой ничем иным земли, за которую мочно и должно, ежели ей угрожает беда, отдать жизнь.

И пусть воеводы, стратилаты, послы, великие бояре и князья блюдут чистоту потоков речных, не позволяя заграждать их плотинами, менять русла рек, по которым течет историческая судьба народа. Но не забудем и того неслышного, незримого просачивания влаги сквозь почву, не забудем «книг, напояющих вселенную», без коих и потоки иссякнут, и камнем, сухою перстью станет земля, и исчезнет жизнь, лишенная живительного источника.

Так — в письменной, просвещенной светом учения земле. Но так и в земле бесписьменной, древней и дикой, ибо и там было слово, и текло оно от уст к устам и точно так же пронизывало «почву» племени живительною влагой памяти и навычаев, завещанных предками потомкам.

...Писец опускает в медную чернильницу перо, берет иное, наполненное бурым железным чернилом. Ровные ряды букв ложатся на толстые листы дорогой александрийской бумаги или на еще более дорогой пергамен. Владыка Алексий сам заходит в книжарню, где работают мастера-переписчики. Молча глядит на работу. Одобряет наклонением головы. Тихо. Только скрипят гусиные перья. То, о чем здесь напишут в книгах, с миновением лет и веков изгладится из памяти поколений. Воин, совершивший подвиг! Помни о летописце, запечатлевшем для внуков деяние твое!

Немногое нужно писцу: краюха хлеба, квас, сушеная рыба... да молчаливое одобрение духовного главы, что среди многотрудных дел находит часы, дабы перебыть тут, у истока живительного, хоть и почти незримого движения, питающего духовную силу языка русского силою слова, запечатленного и переданного грядущим векам.

И они проходят, текут, века истории! И грохочут войны, бушуют пожары, унося с собою селения и города... Но из пламени, из-под рушащихся стен выносят лишаемые всего добра, всего зажитка своего люди прежде всего — иконы и книги. Ибо дух — вечен и, сохраненный, сотворит все иное, зримое и тварное, что можно потерять и нажить вновь, ежели только не потеряна, не изгибла духовная основа жизни.

Глубокой осенью этого года в небесах явилось страшное знамение: темно-багровое, словно кровавое, облако двигалось над страною от востока к западу. Знамения повторялись вновь и вновь через всю зиму. Кроваво-огненные столпы стояли над темной землей, угрожая новой неведомою бедою языкам и странам.

Станята, тихо постучав, вступил в митрополичий покой и замер. Алексий работал со сводчиками и только кивнул рассеянно своему верному спутнику. Понимая по-гречески, Станята невольно заслушался, едва не забывши, зачем вошел. Но вот наконец Алексий отложил в сторону Дионисия Ареопагита и кивнул сводчикам, разрешая удалиться.

Оба вышли, слегка поклоня Станяте и оглядывая его с любопытством. Неизменный писец, секретарь и спутник Алексия начинал внушать невольное уважение и даже зависть многим клирошанам митрополичьего двора.

— Что там, Леонтий? — вопросил негромко митрополит.

— Троицкая братия! — повестил Станята, подходя к столу.

— Опять? — Алексий думал, разглаживая желтоватые твердые листы пергамена, исписанные греческим минускулом.

Вторично уже прибегали к Алексию ходоки — иноки Троицкого монастыря, слезно умоляя владыку помочь им вернуть к себе Сергия. О том просили и бояре, связанные так или иначе с Троицей. Алексий не отвечал ни да, ни нет, думал.

— Созови! — повелел он, вздохнув.

Старцы, войдя, повалились в ноги. Алексий поднял их, расспросил строго. Получалась какая-то безлепица. Сергия хотели и на него же жаловались, ссылаясь на то, что введенные им правила противоречат заповедям святых отец и древних пустынножителей, возбранявших пременять устав иноческой жизни.

Алексий вновь обещал помыслить о том и попытаться уговорить Сергия. Отпуская старцев, удержал одного Стефана.

Стефан был угрюм и краток. На вопрос о том, кто управляет монастырем, глянул сумрачно и только склонил голову. Алексий и сам знал, что обязанности игумена исполняет Стефан, но лишь как заместитель отсутствующего брата.

Алексий давно уже не толковал со Стефаном по душе, так, как когда-то, и сейчас несколько вознегодовал за то на самого себя. Доверительной беседы никак не получалось. На прямой нетерпеливый вопрос, что же произошло в обители, почто Сергий покинул монастырь и игуменство свое, Стефан, заметно побледнев, ответил:

— Не ведаю, владыка! Многим был тягостен общежительный устав!

— Но устав сохранен?! — нетерпеливо перебил Алексий.

— С некоторыми послаблениями, — заметно дрогнувшим голосом возразил Стефан. — Книги разнесены по кельям, опричь общего служебника и напрестольных Евангелий, а такоже октоиха и ирмолая... — Начавши перечислять, он вдруг сумрачно глянул в очи Алексию прежним своим горячим, пронзающим взором, помолчал, добавил: — Невестимо ни для кого и чудесно покинул обитель: в облачении, не заходя даже в келью свою!

— Добро. Ступай! — сдался наконец Алексий и, благословив, отпустил Стефана.

Проводивший старцев Леонтий просительно остановился в дверях.

— Сядь! — приказал он Станяте и, поглядев проникновенно в очи своему верному служителю, вопросил: — Ты како мыслишь о том?

— Обидели старца! — без колебаний возразил Станята.

— Кто? — Алексий и Станята, один вопросительно-повелительно, другой уверенно утверждая, произнесли одно и то же имя: — Стефан, — и долго глядели в глаза друг другу.

— А и не только! — примолвил Станята. — Обитель в славу вошла, а устав жесток. Иным и слава лакома, и твердоты Сергиевой не перенесть... Ето уже тебе, владыка, самому надлежит почистить монастырь!

— Воротит? — вопросил Алексий, молчаливо проминовавши последние Станятины слова.

Станька повел плечами, задумался.

— Или оставить Сергия на Киржаче? — продолжил владыка, выпрямляясь в кресле и прикрывая глаза, усталые от многодневных умных трудов. Без связи с предыдущим вымолвил, скупо улыбнувшись: — Никита Федоров по весне едва войны в волости не устроил, слыхал?

— Слыхал! Дак и серебро собрал!

— Все же крут... Воин! Так, мыслишь, не захочет Сергий воротить к Троице?

— Его ить обитель! — раздумчиво протянул Станята. — Чать, сердце прикипело... Сам начинал... В славу вошел монастырь!

— Я и сам мыслил о том, — с отстоянием отозвался Алексий, не открывая глаз. — Надобно укреплять... Возвращать иное к месту своему... Как власть вышнюю!

— Опять свара в Орде? — вскинулся живо Станята.

— Не ведаю. Доселе не ведаю, Леонтий! Доносят наразно! — отозвался Алексий задумчиво, но не безнадежно, словно и не ведая, догадывал о скорых переменах в Сарае.

— Крепко сидит Хидырь?

— Пока крепко, Леонтий! Надобно ехать на поклон! Ладно, — вскинулся Алексий, встрепенувшись и крепко проведя ладонями по челу и щекам. — Садись, пиши Сергию, да придет ко мне на Москву!

Солнце меркло, сквозь цветные синие и красные стекла разукрашивая владычную горницу.

Вечером, на молитве, и еще позже, укладываясь в постель, он все думал о том же: убрать, увести Сергия навсегда из Троицы, не значило ли это оскорбить, овиноватить старца, ежели не в его глазах, то в глазах всей Москвы? Сколь часто мы мира ради удаляем справедливого, оставляя на месте неправедных токмо затем, что их больше! Но что скажет сам Сергий?

И вот они сидят в келейном покое митрополичьих хором, и Алексий, как когда-то встарь, не ведает, о чем ему говорить с Сергием. По себе самому не чуешь течения времени. Но вот пред тобою бывший светлоокий отрок, ставший зрелым мужем, игуменом обители, про которого он, Алексий, уже не может сказать, что тот много младше председящего митрополита. Возраст мужества уравнивает мужей.

Вот теперь они сидят вдвоем, и Алексий украдчиво и опрятно хочет выведать у Сергия о его ссоре со Стефаном. Но Сергий отвечает нежданно неуступчиво и твердо:

— Владыка! Аз согласил оставить Троицу и сам уведаю о том, егда будет надобно, с братом своим! Оставь это нам и не прошай более!

И все. И ничего иного о споре, вызвавшем уход преподобного из монастыря.

Алексий просит Сергия приветить и благословить юного князя Дмитрия, Сергий молча кивает головою. Митрополит ныне как дед, воспитывающий внука своего. И это и трогательно, и немножечко смешно. И как сказать Алексию (да и надобно ли говорить?), что самое тревожное уже позади, что земля московская вскоре опять, и теперь уж навечно, заберет в свои руки владимирский престол?!

Говорить об этом не надобно, ибо этого еще нет, это еще надлежит содеять Алексию, а предведенье свершений никогда не есть само свершение. Излишне поверивший успеху своему может поиметь неуспех и потерять все уже в силу излишней уверенности своей. Опасный дар вручил нам Господь, наделивший смертного свободою воли!

Да и не о том теперь речь! А о чем? Вот они сидят рядом, Сергий с Алексием, и молчат. И великий митрополит — глава Руси Владимирской, муж совета и власти, пред которым ежеден проходят десятки и сотни людей, повелевающий вельможами нарочитыми, по единому слову коего великие бояре, не вздохнув, поведут полки и ратники ринут в сечу, пред коим смерд, и монах, и боярин падут на колени, прося единого мановения властно благословляющей руки, — не ведает, что говорить, и робеет, чуя, что слова не нужны, кощунственны в этот час и что не Сергий от него, а он от Сергия в молчаливый миг этот восприемлет духовную благостыню.

— Благослови мя, отче Сергие! Во мнозех гресех власти моей и земного, грешного труда! — тихонько просит Алексий, и Сергий молча благословляет митрополита. Строго, не произнося ободряющих слов. Ибо ведает, что не ложное смирение подвигло владыку на сии слова, а истина. Истина того, что власть — грешна и владеющий властью (всякий!) обязан понимать это, хотя бы для спасения своего.

Сейчас с ними третий — покойный Иван Калита, коему Алексий обещал взять княжеский крест на рамена своя. И Калита внимает, так, как умеет внимать только он, молча, почти исчезнув, почти растворясь в тишине, и уже не волен сказать хотя бы и единое слово, но он — здесь. И оба председящих косятся в сторону покойного князя.

— Вся моя надежда — в Дмитрии! — произносит наконец Алексий.

— Грешно полагать надежду земли в едином отроке, — возражает с легким упреком Сергий, и опять оба молчат.

За ними — земля, бояре, что деловито собирают рати и копят серебро, смерды, что готовят новые росчисти под пашню (земля полнеет людьми), ремесленники, что ныне уже не ропщут по недостатку дела — дел много, и от Алексия, от нынешних правителей страны все ждут свершения подвига. Земля живет, трудится, верит, и она найдет себе истинного главу. В самом деле, не в едином ребенке, который нынче едва вступает в возраст отрочества, надежда целого княжества (и не пришли пока те времена, когда исчезает воля к действию, а остается лишь — к послушанию и когда вследствие того от единого мужа, стоящего во главе, могли бы зависеть и произойти спасение или гибель всей Руси Великой).

— Земля восстает к действованию! — договаривает Сергий свою мысль.

И Алексий думает сейчас о том, что Сергий, даже не быв в Константинополе, не сравнивая и не видя, знает, чует порою много больше его, Алексия, будто бы целитель, взявший руку болящего и по ударам сердца догадывающий о скором выздоровлении или конце.

«Отче Сергие! — молча молит Алексий, которому хочется, как когда-то, простереться ниц у ног этого покорного его повелениям лесного игумена. — Отче Сергие! Будь и виждь, и пока ты с нами, земля русичей осиянна светом правды и всякое деяние на ней и для нас — во благо Господу и языку русскому!»

К приходу Сергия детей умыли, переодели в чистые рубашки, всех трех. Митя с Ваней и Володя, двоюродный их брат, ждали игумена, о котором многое уже слышали, но, главное, по суете женской, по тому, как мать, Александра (Шура Вельяминова), без конца то оправит рубашку, то крестик на груди, то пригладит волосы и не велит баловать, — по всему этому дети чуяли, что грядет что-то небывалое доселе.

Вошел наконец владыка Алексий. Дмитрий, потянувши Ванюшу за руку, привычно стал под благословение своего духовного отца.

С Алексием был монах в грубой дорожной рясе из деревенской самодельной посконі. Дмитрий только скользом, через плечо, глянул на инока. Володя, тот любопытно остоялся, поднял взор на старца. Но Шура первая, узнав Сергия, рухнула на колени пред ним.

Ваня, тот как вложил палец в рот растерянно, так и замер.

Володя уже уцепился, молча и крепко, ручонкою за подол рясы инока.

— Здравствуй, великий князь! — произнес Сергий, чуть улыбаясь, и Дмитрий смущенно, только теперь поняв, кто перед ним, подошел к монаху.

Суетились няньки, слуги. Маша, вдова Андрея, мать Владимира, в свой черед опрятно подступила к троицкому игумену принять благословение знаменитого подвижника.

Дмитрий открывает было рот — сказать, что он не князь великий, оглядывает на Алексия, но тот молчит и тоже, как и все взрослые, смотрит на чудного монаха с умным лицом и какими-то завораживающими глазами. Очень неловко, смущаясь, малолетний князь целует крест и руку инока.

То, что отрок смущается перед старшими — хорошо, отмечает про себя Сергий. Не возгордился бы излиха властию! Будь его воля, он, быть может, и вовсе удалил будущего князя из этих пышных хором с коврами и паволоками, драгою посудою и почетною стражей у дверей. Тем паче — когда подрастет! Дабы отрок принял власть, возмужав, подготовленным к подвигу, а не к похотям власти. Но, видимо, это не можно, слишком не понято будет всеми окрест...

Дмитрия уводят. Оборачиваясь, коренастый, крупный мальчик еще смотрит на игумена Сергия, тянет младшего брата за собою, а тот смеется, радостный, и не хочет уходить, тянет руки к Сергию, и лик преподобного на миг одевается тенью, он смотрит на мальчика пронзительно, запоминая, и видит, чует, скорее, неясную, серовато-пурпурно-бурую тень округ его чела.

Сергий еще не научился верить своим предвиденьям, еще не ведает, что ныне узрел лик смерти, стоящей за плечами этого второго Иванова малыша, но ему до боли становится жаль мальчика. Только на миг, на мгновение. Не должен смертный судить о господнем промысле, ибо нам не понять и не надобно понимать того, что не может зависеть от нас, смертных, что древние называли судьбою, мойрой, и что лежит по ту сторону границы, очерченной Господом для проявления нашей людской свободной воли.

Маленького Владимира Андреевича Сергий, улыбнувшись, приподымает, передавая матери, говорит:

— Вырастет воином!

Володя растет тихим, недрачливым и послушливым дитятею, хоть и здоров, и крупен — в отца. Но старцу Сергию ведомо неведомое прочим, и счастливая мать благодарно принимает в руки малыша, будущее которого днесь означил единым словом легендарный троицкий игумен.

Сергий оглядывает покой, тесный от дорогих вещей, укладок и поставцов, крестит толпу слуг и челяди, благодарно, на коленях принимающей его благословение.

Они выходят. Алексий перечисляет, чему и как учат наследника престола по его повелению. Говорит, отвечая на не высказанное Сергием, что в обиходном житии отрок обычно бывает в доме у тысяцкого Вельяминова и у Тимофея, где ездит верхом, учится владеть оружием, играет с отрочатами в лапту, рюхи и свайку. Сергий не спрашивает, понятно и так, что юный Дмитрий неукоснительно посещает все службы и уже сейчас добре знает обряд церковный и, не сбиваясь, поет псалмы и стихиры.

— Следовало тебе, владыка, сразу после Константинополя побывать в обители Троицкой! — говорит Сергий уже на дворе, и это единственный упрек Алексию. Единственный и справедливый, ибо тогда, возможно, не было бы безлепой при и ухода Сергия из обители... Или же и она была нужна для чего-то? Хотя бы затем, чтобы восчувствовала вся братия, стар-

цы и послушники, что без Сергия, без его твердой и непрестанной воли, им не можно, нельзя ни жить, ни быть. И когда поймут, восчувствуют, то уже не позабудут о том впредь.

Они прощаются. Алексий хотел бы задержать Сергия, оставить у себя на Москве, но видит, знает: не можно. И только с дрогнувшим сердцем целует трижды радонежского игумена. Даже тому, кто стоит на вершине власти, надобен некто, пред кем он может почуять себя меньшим, слабейшим и молодшим по духу своему. Почуять и приникнуть на миг, как путник в пустыне, в тяжком пути, приникает к источнику, дабы с новыми силами продолжить свой путь.

Леонтию-Станяте на немой вопрос последнего, когда Сергий уже ушел, Алексий ответил, подумав:

— Пошлю Сергия в Ростов созидать новый монастырь с общежительным уставом во имя Бориса и Глеба! Чаю, ему по плечу задача сия. А с троицкими старцами... Он прав! Пусть еще и вновь помыслят сами о себе. Быть может, Сергия со Стефаном и надобно развести розно!

Когда наутро другого дня Сергий подходил к горе Маковец, у него сильно билось сердце и пересыхало во рту. Он остановился и долго стоял, собираясь с духом. Его все же заметили — или знали, разочли его прибытие?

Бил колокол. Иноки вышли и стояли рядами вдоль пути, иные падали ничью.

Трое-четверо братий, хуливших Сергия и радовавших его уходу, исчезли предыдущей ночью, сами, со стыда, покинули обитель, прознав о возвращении игумена, так что и выгонять никого не пришлось.

Стефан сожидал его в келье. Когда Сергий вошел, брат стал на колени, склонил чело и глухо повестил, что понял все и теперь уходит из монастыря, ежели Сергий того восхощет. Сергий молча поднял его с колен и троекратно облобызал. Затем они оба долго молились в келье, стоя на коленях перед аналоем, меж тем как Михей за стеною в хижине готовил покой к праздничному сретению любимого учителя, а учиненный брат уже созывал братию к молебствию и торжественной трапезе.

Серебро, которое столь жестко собирал Алексий со своих волостей и со всех московских бояр, никого не минуя, надобилось ему для поездки в Орду. Весною, когда сошел лед, караван московских судов с товаром, казною, боярами и свитой, с самим Алексием, который ехал, по сказанному, лишь за церковными ярлыками к новому хану, и с княжичем Дмитрием во главе тронулся в путь.

Дмитрий должен был получить ярлык на свое княжение, сверх того, набралось спорных дел о Переяславле, Юрьеве-Польском, селах под Костромой и Владимиром, принадлежавших московским боярам, на которые теперь зарился суздальский князь, о чем предстояла обычная пря перед ханом. В Орду ехали и суздальские князья Дмитрий Константинович с Андреем, и Константин Ростовский — со слезною просьбою сбавить ордынский выход и, опять же, с жалобами на москвичей.

Было и иное, важнейшее, о чем, скоро год, творились тайные пересылы с Ордой. В Сарае жила масса христиан, русичей и обращенных татар, помнился многими триумф Алексия с излечением Тайдулы, а потому сведения, которые приносили в Москву и Переяславль к митрополиту русскому невидные, в дорожной сряде странствующие монахи, были таковы, коих не имел суздальский великий князь Дмитрий и никто другой.

Теперь в эту уже сотканную тонкую паутинную сеть интриг, подкупов, полуобещаний, многих противоборствующих воль должен был вступить сам Алексий, и он ехал, твердо отдавая себе отчет в том, что собирается воскресить ордынскую политику крестного своего, покойного князя Ивана Данилыча Калиты, в которой зачастую достодолжное трудно было отличить от преступления. Только Калита, к счастью своему, имел дело всегда с одним и тем же ханом Узбеком, характер и капризы коего изучил в тонкости. Но с кем будет нынче хитрить и торговаться он, митрополит всея Руси и наместник князя московского?

Свежая, в обновленной синеве своей отражающая высокие небеса волжская вода несет учаны и паузки московского каравана. Зеленые проходят по сторонам берега, текут облака над головою, как прежде, как всегда, отдавая земле недостающий ей высокий покой. И перед мирным величием природы жесток и жалок кажет человек, чающий одолеть подобного себе, в вечном кипении страстей, в вечном борении плоти не ведающий меж тем ни конца своего земного, ни исхода судьбы, ни итога дел своих, их же ты, Господи, веси на том, на последнем суде!

Алексий сидит под беседкою, овеваемый ветром. Он недвижен, и бояре с клирошанами страшат подойти к нему в этот час, лишь издали наблюдая тяжкое безмолвие своего главы, устремившего взоры туда, вдаль, в грядущее, зависящее вновь и опять от его усилий.

В Нижнем ко княжескому расписному учану подошла лодья. Алексию передали несколько запечатанных грамот.

В пути, уже под Сараем, крохотный челнок, завидя караван, выплыл на середину воды. Гонца, накрывшего голову монашеским капюшоном, втянули на корабль и тут же увели к Алексию. Позднею ночью к корме учана опять подтянули челнок. Гость, провожаемый самим Алексием, так и не открывая лица, спустился по веревке в челн и, отвязав канат, взялся за весла. Отбойная волна едва не перекинула утлую посудину, но, покачавшись на темной, тускло посвечивающей воде, гость справился с веслами и начал грести к берегу, скоро слившись с тенью прибрежных кустов...

Назавтра шумный Сарай встречал караван русичей. Бояре толпились на судах, вздев праздничные одежды свои. По сходням выводили коней. Подали княжеский возок. Алексий в будничном дорожном облачении едва был заметен в сверкающей многоцветьем толпе, хотя он и уселся в возок вместе с десятилетним княжичем.

Новые эмиры нового хана с любопытством разгля-

дывали русичей. Глазами, взглядами просили подарков. Уже тут, на встрече, почуялось днешнее обнищание Орды.

На своем подворье, усевшись за накрытые столы, бояре толковали о новостях, те, кто прибыл наперед, сказывали о морозной зиме, о джуте, что посетил степь, о ропоте простых татарских ратников, о новых несогласиях ордынских эмиров... Феофан Бяконтов внушал что-то Андрею Иванычу Акинфову, Кобылины спорили с Зерновым, Тимофей Вельяминов внимательно выслушивал Афинеева. Семен Михалыч, переживший с владыкою Царьград и потому лучше других понимавший Алексия, с беспокойством взглядывал в закаменевший лик московского главы, то на юного княжича, разгоревшегося, румяного, восхищенного тем, что по пути к подворью видал верблюда и уже разглядел голубые изразчатые башни минаретов бесерменских церквей и теперь жаждет увидеть ханский двор, изукрашенные юрты, базар восточный... Он тянет рукою к сплетенной в толстый жгут, наподобие косы, вяленой дыне, косит глазом на сладкие финики, ему еще все интересно и все ново на земле. И Алексий на мгновение смягчает взор, оглядывая восторженного мальчика-князя, коему готовит он днесь грядущую великую судьбу,

Шатер был другой. Великий, белый, но много меньше Джанибекова. И золотой трон исчез. Хидырьбек, новый хан, сидел на парчовых подушках на возвышении и узкими глазами, чуть жмурясь, разглядывал русичей. Все было много проще, чем при Узбеке, и во всем этом уже было начало конца. Но только начало! И некого было подымать на Орду в нынешней Руси Владимирской, и некому подымать. Невольно подумалось Алексию, что при ином повороте судьбы не он, а Дионисий Нижегородский готовил бы страну к одолению на враги и не московские, а суздальские князья повели рати противу Сарая... Мелькнуло и прошло.

Дмитрий во все глаза смотрел на хана, разглядывал шатер, мялся, видимо, как угадал Алексий, желая и не смея спросить про золотой трон. Московские бояре стояли чинно, только Федор Кошка сделал за спиною козу и показал княжичу.

— Почему раньше не приходил? — вопросил хан.

— Неспокойно было в степи! — отмолвил, подавшись вперед, Феофан Бяконтов.

Наконец, насладившись лицезрением посольства, Хидырь сделал разрешающий знак. Ярлыки будут даны! Московиты попятились к выходу. Слуги все еще носили поставы сукон, связки мехов — нескудные дары князя московского.

Вечером того же дня Алексий сидел в укромном покое одного из ордынских дворцов. С ним было всего двое спутников — Станята и престарелый Аминь, киличей покойного Симеона Иваныча.

Хозяин дворца чествовал гостя, придвигая ему дорогую рыбу, потчевал иноземным ширазским вином. Алексий ел мало, к чаре только притрагивался губами.

Разговор шел хитрыми восточными петлями, словно сложный узор испестренного глазурью айвана.

— Зачем тебе хан? — говорил хозяин, играя глазами. — Почему хан? Хан в трудах, хан стар, занят! У хана есть сын, старший сын, Темир-Ходжа! Он займет престол! Тогда ты проси, всего проси! Великий стол? Получишь и великий стол! О-о, Темир-Ходжа — батыр!

Хозяин закатывает глаза, щелкает языком, пьет. С охотою придвигает к себе дареную серебряную чару с гривнами-новгородками. Только к концу третьего часа Алексий уясняет себе, что говорить надо даже не с Темир-Ходжой (с ним лучше вовсе не говорить!), а с теми, про кого хозяин дворца старательно умалчивает.

В ближайшие дни выясняются новые подробности ордынских отношений. Мало того, что эмиры Сарая поддерживают ханов из Ак-Орды, а степь их не хочет: и в Сарае и в степи власти жаждут слишком многие, и стоит Хидырьбеку упасть, настанет непредставимая смута. Темир-Ходжа посему, пытаясь упредить события, уже прямо требует денег с Алексия, обещая в случае победы великий стол передать московскому князю.

Вечером они сидят всем синклитом: Алексий со Станятою и бояре, удаливши слуг. В низком покое полутемно. И сидят тесно вокруг стола, иные — навалясь на столешню, не как бояре в думе княжой, а как заговорщики. Во главе стола в темном облачении, склонивши лобастую голову, — Алексий. Станята примостился сбоку на кончике лавки, положив на край стола вощаницы и приготовив костяное новогородское писало. Лица строги. Ибо решают днесь коренной вопрос — о власти. Которую надобно добывать тут, в Орде. И добывать любыми средствами. Вот об этом-то, о «любых» средствах, и идет спор.

Алексий гневен:

— Я не могу поддерживать нового отцеубийцу! — почти кричит он. — Пусть это делает суздальский князь!

— Калита... — начинает было Феофан.

— Да! — прерывает Алексий. — Но я не только глава страны! Я прежде всего митрополит! Всему, даже и тому, что мы делаем здесь, должен быть предел, дальше коего идти не можно! Грех!

— Для них, бесермен, — задумчиво говорит Дмитрий Зерно, — русичи — райя, скот!

— А для католиков схизматики, православные — хуже мусульман! А для жидовинов все прочие — гои, и вовсе не люди! Да, да, все так! И все же когда, зная это, человек отказывается вовсе от своих убеждений, когда христианин забывает о Христе... Ты понимаешь, чем это грозит нам самим? Я готов на все! Ради земли и языка своего! Но только не на то, чтобы русичи утеряли совесть и закон Христовы! Да! Я знаю, что свои — ближние, а те — враги! Не о том речь, чтобы объявить ближними все племена земные — тогда нет ни ближних, ни дальних и нелепы заповеди Христа! Я достаточно искушен в богословии. Но речь о том, чтобы, даже воюя с врагами, не

потерять себя, своего лица и своих убеждений! Ты понимаешь это? Помните вы все того рязанского князя, который, дабы укрепилась земля, зазвал на пир и уничтожил братью свою? Он бежал, да, да! От него отвернулась вся земля! Не должно христианину идти любым путем, и не всякое средство хорошо для достижения цели! И... не все употребленные средства оправдывает достигнутая цель... — Алексий уговаривает не столько их, сколько себя самого, ибо очень просто и очень соблазнительно подкупить Темир-Ходжу, дав ему серебро и закрыв глаза на то, каким путем он начнет пробиваться к престолу.

— А подкупить Хидыря? — строго спрашивает Андрей Иваныч Акинфов.

— Хидырь куплен суздальцами, — возражает Зернов, — да и... некрепок он на столе!

— Темир-Ходжа?

— Да!

— Слух есть, — подает голос Семен Михалыч, — что Темир-Ходжа просил денег у Дмитрия Костянтиныча!

— А теперь просит у нас? — вскидывается Тимофей Вельяминов.

— Кто боле заплатит! — подает голос, с усмешкою, Дмитрий Афинеев.

— Ищите, бояре! — устало отвечает Алексий.

— Может быть, Кильдибек? — спрашивает Семен Жеребец, тут же и добавляя: — Только брешет он, что сын Бердибека!

— Не сын, племянник!

— Сын Джанибека, бают!

— Третий самозванец на престоле?

— Не усидит! — со вздохом подытоживает Дмитрий Зернов.

— Мамай? — подает голос молодой Федор Кошка.

Мамай — правая рука покойного Бердибека, его зять, гурген, Мамай — самовластец в западной степи, Мамай, уже сейчас выставивший «своего» хана Абдаллаха (Авдула, как его называли русичи), Мамай — это было, могло быть надолго и всерьез.

— Я уже писал Мамаю! — возражает Алексий хмуро. — Мамай молчит!

— Либо хочет сам со всема сладить, либо Ольгердом подкуплен! — замечает Семен Михалыч, пошевелясь на лавке.

— Ищите, бояре! — повторяет владыка Алексий. — Ищите глубже! Не тех, кто выйдет наперед теперь и будет резать друг друга, а того, кто выждет и заберет власть!

Сам он уже давно думал о Мамае, угадав во властном темнике будущего повелителя Орды, и уже дважды посылал к нему. Но Мамай тоже выжидал, не желая связывать себя до времени обещаниями кому-либо. И, быть может, и верно, был подкуплен Ольгердом?

Глубокой ночью в покой Алексия просовывается незаметный монашек. Шепчет, загибая пальцы, называет новое имя — Мурут.

У Хызра (Хидыря) есть сын, Тимур-Ходжа (Темерь-Хозя — называет его монашек). Но есть у него и брат, Эрзен. Оба они — сыновья Сасы-Буки, праправнука Орды-Ичена, брата Батыя. Сына этого Эрзена, Чимтая, эмиры звали на сарайский трон. Чимтай послал брата, Орду-Шейха, который был вскоре убит, и на престоле утвердился Хидырь. Но у Орды-Шейха остался сын, Мурад (Мурут — называет его, переиначивая по-русски, монашек).

— Бесермена бают, что в начавшей замятне эмиры Сарая предпочтут Мурута Темерь-Хозе!

Монашек так же неслышно покидает покой. Алексий сидит, склонив чело, думает. Но вот взор его просветляется, он подымает голову и произносит негромко одно лишь слово: «Мурут!»

С Мурадом (Мурутом) сразу встретиться не удалось. Пришлось тайком ехать в степь, искать и ждать, пока наконец Мурут не явился нежданно сам к Алексию в шатер, один, без свиты, якобы случайно заблудясь на охоте.

Мурут был молод, сухощав. Глядел осторожно и недоверчиво. Алексию много сил потребовалось, чтобы его разговорить.

— У русичей был такой порядок — его называли лествица, — что старшему брату наследовал не сын, а младший брат, а когда отняжат все братья, тогда наступал черед сыновей и племянников. Порядок этот русичи переняли у степняков. И ты, хан, имеешь не меньше права на престол, чем дети и внуки Хызра!

Алексий говорил, взглядывая в настороженные черные монгольские глаза гостя, который наконец-то вовсе перестал улыбаться и глядел на Алексия не мигая, подавшись вперед. Смугло-желтая рука хана с тонкими сильными пальцами перебирала звенья наборного пояса. Рука была беспокойна, не то что лицо. Пальцы мяли кожу, нервно ощупывая серебряные накладные узоры. Дойдя до конца пояса, рука замирала и начинала свой танец вновь. Бесстрастное плосковатое лицо хана не могло обмануть Алексия. Мурут слушал, и слушал жадно, не пропуская ни слова.

— Серебро! — сказал он наконец, подымая взор на Алексия. Пальцы сжались в кулак и застыли. Теперь говорили глаза. — У меня мало воинов!

Хан не плел околичностей и, кажется, не лукавил совсем. Алексий сказал, сколько он может дать, прибавив, что, ежели великий стол вновь перейдет к москвичам, сбавлять ростовскую дань они не будут. Хан мрачновато глянул, опустил взор, поднял вновь. Сказал отрывисто:

— Мне может помешать только Мамай! Тагай не страшен, Булак-Темир не страшен, Кильдибек... тоже не страшен! Дай серебро, русич, и мои беки все станут за тебя! — Помолчав, вопросил с пронзительно загоревшимся взором: — Почему ты, урус, не даешь серебра Темир-Ходже? Он зол на тебя!

Алексий чуть заметно усмехнул.

— Потому, хан, — отмолвил он с расстановкою, — что не в обычае русичей подымать сына на отца!

— Этого прежде не было и в Орде! — помрачнев, ответил Мурут. Помолчал, поднял взор, сказал твердо: — Я верю тебе, урус!

Возвращаясь в Сарай, Алексий думал дорогою, что теперь Русь и Орда едва ли не поменялись местами. Ханам, истощающим степь во взаимной борьбе, становится русская помочь важнее, чем Руси — помочь ордынского хана.

Мысль была важная, и ее следовало додумать до конца, содеяв свои выводы. И обязательно еще раз повидать темника Мамая!

Алексий в эти дни мало и видел своих бояр. Все были в разгоне. Кто ездил по бекам ордынским, кто улаживал споры с суздальскими и ростовским князьями. Алексий велел торопиться изо всех сил, проявив к братьям-князьям несвойственную ему уступчивость.

До Мамая сумел прежде всех добраться Федор Кошка. Младший Кобылин на глазах вырастал в нешуточного дипломата. Легко, словно вполсилы, играючи, охаживал он недоверчивых беков, всюду был вхож. К иному, думай еще: како и подступить? Ан, глядь, уж Кошка сидит у него в юрте, скрестив ноги кренделем, пьет кумыс, толкует по-татарски с хозяином, а тот весь маслено расхмылил широкое круглое лицо — рад гостю.

Воротясь на русское подворье, Федор Кошка долго, отдуваясь, пил холодный квас, насмешил всех рассказом о двух татаринах, повздоривших из-за жеребой кобылы, но главное вымолвил уже погодя в особном покое в присутствии Алексия и четверых великих бояр: Семена Михалыча, Феофана Бяконтова, Дмитрия Зерна и Тимофея Вельяминова.

— Мыслю, — скинув всякое балагурство и став словно и годами возрастнее, сказал Федор, — надо дать Мамаю охолонуть чуток! Сарай ему и без нас не дадут, — примолвил он, разбойно сверкнув глазами в сторону Алексия. — Ну а вот когда не дадут, тогда и толк поведем иной! Пущай сбавит спеси!

Бояре задумались, а Алексий, выслушав Кошку, молча согласно склонил голову. С Мамаем, и верно, следовало погодить. Алексий уже давно понял, что в этом невеликом ростом татарине таит себя немалая сила, полный исход которой еще очень и очень впереди. И тут надобно было не ошибиться и для того вовсе не спешить!

Гоняя бояр, Алексий и себе не давал пощады. Трудился денно и нощно, почти не спал, усталость побеждая волею, и только когда уже все возможное, кажется, было совершено, почуял то смертное падение сил, которое, бывало, ощущал крестный, ворочаясь из Орды.

С суздальским князем, довершая дела, они сидели за одним столом, и Дмитрий Константиныч, подозрительно взглядывая на омягчевшего, слишком уступчивого митрополита, с неведомою доселе смертною усталостью в глазах, все не понимал, в чем обманывает его московит. И даже — обманывает ли его вовсе? Или уступил, отступил, не желая дальнейших ссор?

Дмитрий Константиныч в простоте своей ожидал, что Алексий и московиты будут спорить о владимирском столе перед ханом Хидырем, и на всякий случай всячески задарил заранее владыку золотоордынского престола, а также его старшего сына Темир-Ходжу. Но Алексий спорить не стал. Уступал он и в делах поземельных, даже пообещал за один год заплатить недоданный ростовчанами ордынский выход. Неволею приходило принять днешнее смирение москвичей, отнеся его за счет молодости московского князя.

Вечером измученный Алексий оставался один на один со Станятою. (Порою мнилось: они вновь сидят вдвоем в смрадной яме, из коей нет исхода наверх, к свободе и воздуху.)

Станята задумчиво толковал о молодости и старости народов, о своих беседах с каким-то сарацинским купцом-книгочием, называвшим арабского мудреца Ибн-Халдуна... Далекая мудрость Востока, перевидавшего десятки народов и пережившего многие тысячелетия культуры и многократные смены языков и верований, мудрость, прошедшая через многие уста и многажды поиначенная, касалась в этот час двоих уединившихся русичей.

Оба понимали уже, что, действительно, есть юность и старость народов, есть подъем и упадок духа и что старания самого сильного — ничто перед тем оскудением сил, которое охватывает уставшие жить народы. Оба видели Кантакузина, сломленного бременем невозможной задачи: спасти гибнущую Византию, которую можно было оберечь от турок, латинян, сербов и болгар, но только не от нее самой.

— Но как определить, как понять, начало или конец то, что происходит окрест? — вопрошает Станята.

— По людям, Леонтий! — задумчиво и устало отвечает Алексий, пригорбившись в ветхом креслице. — У людей начальных, первых времен — преизбыток энергии, и направлена она к деянию, к творчеству и к объединению языка своего. У людей заката, у старых народов, — нет уже сил противустать разрушительному ходу времени, и энергия их узка, направлена на свое, суедневное. И соплеменники, ближние для них почасту главные вороги. Люди эти уже не видят связи явлений, не смотрят вдаль!

— Как Апокавк?

— Да, ежели хощешь, как Апокавк! Такие есть и у нас. Вот, Леонтий, почто я и закрыл глаза на гибель Алексея Хвоста! Он мог думать токмо о своей собине, а Василий Вельяминов — о земле народа своего. Василий не более прав в этом споре, чем Алексей Хвост, скорее — более не прав, но для земли русичей покамест не нужны Апокавки! Когда обчее дело выше личного, когда любовь к Господу своему истинно паче любви к самому себе, тогда молод народ и люди его! Когда же человек уже не видит обчего, не может понять, что есть родина, ибо родина для него лишь источник благ земных, но не поле приложения творческих сил, когда власть претворяется в похоть власти, а труд — в стяжание богатств и довольство свое видит смертный не в том, чтобы созидать и творить, обрабатывать пашню, строить, переписывать книги, при этом — принять и накормить гостя, помочь тружающему, обогреть и ободрить сирого и нагого, приветить родича, помочь земле и языку своему, а в величании пред прочими, в спеси и надмевании над меньшими

себя, в злой радости при виде несчастливого, в скупости, лихоимстве, скаредности и трусости пред ликом общей беды — тогда это конец, это старость народа. Тогда рушат царства и языки уходят в ничто...

— А мы? Отколе зачинает наша земля? — вопрошает Станята вновь и вновь. — От принятия веры? От князя Владимира? От Олега вещего или Рюрика? Отколе?

— Мыслю, Леонтий, — пошевелясь в скрипнувшем креслице, отвечает Алексий, — та Русь уже умерла! Пала, подточивши саму себя гордостию, разномыслием и стяжанием. Пото и монголы столь легко покорили себе Киевскую державу! Я ныне прошал великих бояр дать серебро для дел ордынских. Давали все, и давали помногу! Помнишь того боярина, что встретил нас под Можаем? А старуху? Селян? Смердов? Никита Федоров сказывал, что, когда он бежал из затвора, товарищи его, умирая, задерживали литвинов, дабы один изо всех — он один! — мог уйти! Воины эти вели себя как древлие христиане, жертвуя жизнию ради спасения братьи своей. Мыслю, хоть и много средь нас людей той древней киевской поры, людей, коим «свое» застит «обчее»...

— Как Хвост?

— Да, и не он один! Мыслю все же, что растет новая Русь, Святая Русь! И мы с тобою — у истоков ее!

— И Сергий?

— Да, и сугубо Сергий! Он — духовная наша защита. Ибо я — в скверне. В этих вот трудах. Перенявши крест крестного своего, даю днесь серебро на убийства и резню в Орде! И буду паки творить потребное земле моей, ибо никто же большей жертвы не имат, аще отдавший душу за други своя! Но земле нужен святой! Нужен тот, кто укажет пути добра и будет не запятнан не токмо деянием злым, но и помыслом даже! Нужен творец добра!

— Сергий?

— Да, Сергий!

Оба затихают, представляя себе игумена Сергия в этот час в его непрестанных, невидных внешне, но таких важных для земли и языка русского трудах.

Хлопают двери. Является, волоча за собою за руку Федора Кошку, раскрасневшийся, в спутанных вихрах, княжич.

— Владыко! А он мне велит спать! А я...

— И я велю! — твердо, но с мягкою улыбкою возражает Алексий. — Завтра поедешь в степь, а ныне — спи!

— Да-а-а...

— Да, сыне! Да, именно так!

Дмитрий сникает. Владыка еще ни разу не переменил слова своего, и потому он знает: Алексия надо слушать. Он с неохотою, фыркая, разбойно поглядывая на весело подмигивающего ему Федора Кошку, идет к рукомою. Потом, пригладив волосы, подходит к божнице. Стоит рядом с Алексием и, осурьезнев лицом, повторяет слова вечерней молитвы:

— Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми! Мирен сон и безмятежен даруй ми! Ангела твоего, хранителя пошли, покрывающа и соблюдающа мя от всякого зла, яко ты еси хранитель душам и телесем нашим...

Алексий следит за княжичем: довольно ли успокоился он — и, видя, что ребенок уже готов ко сну, завершает моление.

Дмитрий снимает верхнее платье уже с сонно посоловевшими глазами, зевая, крестит рот. Вдруг, вспомня дневное, спрашивает, подымая глаза на Алексия:

— А мне сказывали про слона! Во-о-от такой большой! И нос долгий у ево, хоботом!

— Вот и увидишь слона своего во сне! — улыбаясь, отвечает Алексий.

Дмитрий укладывается, поерзав на соломенном прохладном ложе, натягивает одеяло из ряднины и вдруг произносит ясным голосом — видимо, думал давно и ворочал в уме так и эдак:

— А я тоже буду воином! Буду рати водить! Как Владимир!

— Будешь, будешь! — отзывается Алексий.

— А почто, — уже тише вопрошает отрок, — почто тогда игумен Сергий сказал про то одному Володе?

Алексий глядит на малыша, на мальчика, которому надлежит стать великим князем владимирским, медлит, отзывается с мягкою властью голоса:

— Пото, что ты — князь! Спи!

Он еще сидит, дав знак Федору Кошке покинуть покой. Потом, когда мальчик начинает спокойно посапывать, задергивает полог из расписной зендяни и снова переходит на свое место у аналоя. Оба, он и Станята, некоторое время молчат, давая княжичу крепче уснуть.

Дневной свет, послав в окошко с вынутою ради воздуха оконницей последние кровавые капли вечерней зари, меркнет, и в сгущающейся тьме покоя ярче проявляют себя огоньки лампад. Лицо Алексия, обведенное тенью, сейчас выглядит очень старым и строгим.

— Я много ходил по свету! — вполголоса сказывает Станята. — Когда понял, что у нас, в Новом Городи, нестроение настает... Много искал! И тоже нашел вот Сергия. Но у него не смог...

— Сергий понял и сам направил тебя ко мне! — возражает Алексий.

— Да, владыко! А теперь, ныне... Верно ведь, и в Киеве, и на Москве... Ты молвишь, молодость? А я порою о себе: кто я? И что надобно мне? О себе дак скучливо и думать! Ничто такое вот — дом, семья, зажиток — не влечет! Странник я, верно! Вот хочу понять! Не гневай, владыко! Ты вот и иные... В чем правда? Живут и живут! Ну, не станет энергий, ну, начнут думать о своем токмо... Не такие, конечно, как Апокавк, а простецы! Когда нет энергий, что ж тогда?

— Тогда разрушается все! — отвердев и осуровев ликом, отвечает Алексий. — Гибнет все сущее окрест: сама земля, вскормившая нас, скудеет, расхищаемая непристойно и жадно. И гибнет народ, и энергия оставших уходит на уничтожение сущего окрест...

— Неужто мочно уничтожить Землю? — восклицает Станята.

— Ты видел пустыни? — возражает Алексий. — Развалины древних городов? Говорят, там жили люди! Но вырубили леса, иссушили воды, разрушили пашни, и остался один песок!

Станята встряхивает головою, думает:

— А я мнил, это так же невозможно, как запрудить Волгу, как поворотить реки вспять... Зачем?

— Народ, оставленный Господом, — строго отвечает Алексий, — может токмо разрушать, убивая себя! Сам по себе человек, возгордясь своею силою, ничто! Погубит Землю и погибнет сам по слову всевышнего!

Сумерки совсем сгустились.

— Ну, а татары? — раздается голос Станяты из темноты.

— Татар, вернее мунгал, пришедших с Батыем, уже нет! — возражает Алексий. — Теперь подняли голову те, кого когда-то покорил Батый!

— Потому и резня?

— Потому и резня!

— Так, может...

— Нет, Леонтий! Еще нет. Русь не готова к борьбе. Пусть сплотится земля. Пусть вырастут воины. Вот этот мальчик, мню, поведет их на бой. Быть может, когда уже нас не станет на свете!

— Ну, а Литва? — вновь вопрошает Станята.

— С Литвою сложнее! — отвечает во тьме голос Алексия. — Там тоже подъем, тоже молодость языка! Они бы и одолели нас. Но, мню, не уцелеют литвины-язычники меж католиками и православными!

— И любой выбор покончит с Литвой?

— Во всяком случае, приняв латинскую веру, они оттолкнут от себя всех православных, а принявши православие... Приняв православие, Ольгерд мог бы и победить! Но он сего не свершит. После киевского нятья я в сем убедился сугубо. И еще потому не свершит, что, прими он православие, отчина его, Великая Литва, скоро бы и сама стала Русью!

Нет, Леонтий, я не зрю ныне иной укрепы православию, кроме нашей с тобою земли, кроме Руси Великой!

Сгущается ночь. Два человека в темном покое становятся перед иконами на вечернее правило. Проснутся они, поспавши совсем немного, до света, дабы приступить к новым трудам, исход которых столь далек и долог, что ни тот, ни другой не мыслят даже узреть плодов насаждаемого древа, имя которому — Русь.

Алексий еще дремал, когда послышалось легкое царапанье в дверь. Станята, чумной со сна, пошатываясь, уже шел босиком отворять. Вполз давешний монашек, называвший всех ордынских князей русскою молвью. Тревожно оглянул покой. Княжич еще крепко спал. Станята понятливо исчез за дверью. Монашек откинул капюшон, обнаружив загорелое, в легких морщинках лицо, из тех, что никак не запомнишь, хоть и десяток раз повстречай на улице. Алексий уже вставал, оправляя на себе холщовую исподнюю рубаху.

— Спит! — отмолвил он на немой вопрос монашка.

— Темерь-Хозя получил заемное серебро!

— От кого? — вскинул брови Алексий.

— Должно, от Митрия Костянтиныча с братом...

Вздохнув еще раз, монашек поднял светлые глаза на Алексия, вымолвил с настойчивою отчетистостью:

— Уезжай, владыко! Будет резня! И княжича увози с собой! Не медли!

Монашек исчез так же неслышно, как и появился в покое.

Через час, полностью одетый, Алексий приказывал сряжаться в путь и торочить коней. Феофан с Андреем вздумали было просить отсрочки, но, поглядев внимательнее в очи владыке, заторопились сами. Спешно довершали ордынские дела, спешно прощались. Княжеские насады с ордынским товаром решено было послать наперед, а самим ехать горою, посуху. Кмети пристегивали оружие, вздевали брони под платье.

Вечером московиты уже плавились в дощаниках на горный берег Волги. Юный Дмитрий, еще ничего не понимая, сидя верхом, крутил головою, оглядывал бояр и дружину:

— А как же степь?

— Вот и едем всема! Не горюй, князь! — весело отмолвил ему Федор Кошка и первый тронул коня.

К вечеру второго или третьего дня пути на разметанном пламени багрового степного заката привиделись вдалеке медленно ползущие по земле, точно тяжелое, вспыхивающее облако, низкие темные клубы дыма.

— Пожар словно? — тревожно переговаривали ратные.

— Степь жгут! — догадал наконец кто-то из бояр.

— Экое чудо! Не осень ведь! Ополоумели! Скотину без травы оставят...

Федор Кошка (первым сообразив, что степь об эту пору выжигать даром не станут, а только уж — дабы погубить супротивника) оборотил к Алексию побледневшее напряженное лицо, вымолвив одно только слово:

— Война!

...Потом уже, когда добрались до своих, вызналось, что замятня в Сарае началась почти тотчас после отъезда москвичей.

Дмитрий Константиныч, ссудив серебром Темир-Ходжу, не ведал все-таки, к чему это приведет. Он заботился лишь о том, чтобы старшего сына Хидыря не перекупили московиты. Поэтому, когда утром прибежал окровавленный холоп с базара с криками «Режут!», на подворье великого князя владимирского начался пополох.

Усланные ко дворцу хана боярин Радивой с дворским не возвращались, меж тем смута охватывала Сарай все шире и шире. К полудню на двор набе-

жала, ища спасения, целая толпа русских купцов, главным образом нижегородцев и тверичей, волоча товар, гоня с собою коней и скотину. Табор этот занял весь сад и дворы, а беглого народу все прибывало. Улицу загородили телегами, мешками с песком. Все ратные вздели брони. Князь Андрей решительно взял на себя оборону подворья. (Он один был с самого начала против того, чтобы давать серебро Темир-Ходже.) Константин Ростовский бродил тенью вослед Дмитрию Константинычу, и тот, оборачиваясь, видел неотступно молящие, испуганные глаза старика и бесился в душе, не понимая, как отец мог все прошлые годы иметь дело с таким жалким союзником.

— Вовремя удрали московиты! — зло вымолвил Степан Александрович, когда суздальцы посажались к обеденной выти. За оградой подворья глухо и грозно шумел Сарай. Купцы и молодшие закусывали прямо на дворе или в саду, у телег. Хрупали овсом кони, стригли ушами, слушая гомон города.

К рогаткам уже не раз прихлынывали орущие толпы татар в оружии. Ополдни принесли полумертвого Сарыхозю, суздальского киличея. Подплывая кровью, татарин бормотал только одно: «Беда, беда!» Потом разлепил тяжелые веки, поглядел на князя, вымолвил: «Боярин твой убит, Радивой убит...» — и забредил, мотая головой, царапая скрюченными пальцами кошму. Лекарь-армянин поднялся с колен, немо покачал головою, давая понять, что бессилен. Сарыхозя тут и умер, несколько раз выгнувшись всем телом и захрипев.

Тотчас раздались громкие крики на улице. Бояре, ратники, оба суздальских князя толпой побежали к рогаткам, пригибаясь от низко поющих над головою татарских стрел. Приступ удалось отбить, потеряв троих ратных.

К вечеру только вызнали, что Темир-Ходжа поднял восстание, подкупив эмиров отца, что многие беки и князья бежали из Сарая, Мамай отошел в степь, дворец Хидыря окружен и резня идет прямо в улицах, причем кто с кем режется, понять невозможно.

Ночью почти не спали. Какие-то раненые татары подползали к рогаткам, плакали, просили пустить. Кое-кого ратные по приказу Андрея заволакивали внутрь двора. Но и от них нельзя было добиться, что же все-таки происходит в городе. Передавали, что грабят купцов, жгут базар, что разграбили многие дворцы вельмож ордынских.

Так прошел и второй день, и третий. Крики, топот, лязг оружия, стоны, толпы ополоумевшей оборуженной татарвы, с воплями и руганью подступавшей к русскому подворью. Трясущиеся беглецы, жонки в долгих ордынских рубахах, прижимающие к себе чумазых детей, какие-то старухи с овцами на веревочном поводу... То сказывали, что убит Хызр-хан, то, напротив, что убили Темир-Ходжу.

Наконец в исходе третьего дня к укрепу русичей шагом подъехали несколько богато одетых татар в оружии и с вооруженной свитой. Им разгородили ворота. Главный татарин спешился, увидав великого князя, приложил руки к сердцу:

— От Темир-Ходжи!

Скоро русские князья со своею и татарской охраною выехали, направляясь к ханскому дворцу. На улице, в пыли, там и сям лежали неубранные трупы. Бродячие псы дрались над падалью, и коршуны едва приподымались на тяжелых крыльях, чтобы тотчас, пропустив верхоконных, рухнуть опять к черным, густо обсаженным шевелящимся мушиным месивом трупам.

Дворец был разгромлен. Темир-Ходжа сидел в изломанном саду на кошмах. Подвигав кадыком и страшновато закатывая белки глаз, предложил русичам присесть.

Из кожаного мешка извлекли и показали русичам головы хана Хидыря и Кутлуя, его сына, младшего брата Темир-Ходжи. Дмитрия Константиныча при виде этого зрелища слегка замутило. Хоть после Бердибековых злодейств любое преступление стало возможным в Орде, но такого, чтобы разом покончить с отцом и братом, не ожидал от «Темерь-Хози» даже и он.

Новый хан опять потребовал от русичей серебра. Обещал, что завтра торжественно сядет на ханский трон. О беглецах-эмирах хан отозвался пренебрежительно: «Приползут сами, псы!»

Резня и в самом деле утихла. Ночью начали собирать трупы с улиц.

Как только новый хан воссел на престол, Андрей заявил, что он немедленно покидает Сарай (ему уже не верилось — и не зря, — что новый отцеубийца долго просидит на ханском троне). Дмитрий Константиныч, положась на договор с Темир-Ходжой и свое великокняжеское достоинство, порешил остаться в Сарае. Ростовский князь, поглядывая то на одного, то на другого брата, не ведал, что предпочесть. В конце концов, не уехав с Андреем, он еще через три дня в панике, едва простясь с Дмитрием Константинычем, в свой черед устремил вон из города.

Меж тем бежавшие эмиры и князья не спешили возвращаться в Сарай.

Степь глухо гудела от тысяч копыт оборуженных ратников. Горели пастбища. Дымные тяжелые столбы текли над землей.

Тагай захватил всю землю от Бездежа до Наручади и объявил себя ханом на мордовских и татарских землях. Булактемир взял Булгары, перекрыл волжский путь и тоже объявил себя ханом. Темник Мамай держал своего хана, Абдаллаха, а в степи объявил о своем ханском достоинстве Кильдибек, самозваный сын Бердибека. Итак в Орде явилось разом уже пять царей, оспаривавших друг у друга власть.

Неприбранные, обгорелые трупы в степи с тучами стервятников над ними ни у кого уже не вызывали ужаса, не привлекали даже и внимания. На выжженных пастбищах умирал скот. Грозный лик голодной беды уже нависал над Ордой.

Андрей Константиныч, князь нижегородский, повстречал ватагу Арат-Хози на шестой день пути. Был

страшный миг, когда растерявшиеся ратники готовы были сложить оружие. Но Андрей, не пожелавший драться за великий стол, трусом не был. С похолодевшим лицом он первым обнажил оружие.

Обоз взяли в кольцо, и, прикрываясь щитами (был дан приказ держаться кучно, не отрываясь от своих), русичи — едва ли не впервые в степи — пошли на прорыв. Татары скакали россыпью, не сожидая от урусутского князя отпора. Туча русских стрел и согласный напор конной лавы перемешали их строй. Посеченные валились с седел. Неразличимое «А-а-а-а!» прокатывалось по увалам. Князь Андрей скакал первым и с одного удара сумел развалить наполы татарского сотника. Почти не потерявши людей, отбили первый приступ.

Нахлынула новая толпа татар. Арат-Хозя, видимо, был плохим воеводою или боялся чего, и нижегородцы, одушевленные мужеством князя и своею победой, отбили и этот второй приступ. Третий раз их смяли бы, но Андрей, первым углядев начало глубокого оврага, сумел так перестроить свою дружину, что бо́льшая часть татар осталась на той стороне. И снова отбились, пройдя сомкнутым строем сквозь нестройную, редко разбросанную по степи толпу орущих татарских ратников, словно нож через масло. В сгустившихся сумерках Арат-Хозя прекратил преследование, и русичи, пересев на поводных лошадей, сумели оторваться от погони...

Константин Ростовский, пошедший степью через три дня после Андрея, со всею своею дружиною и казной угодил в полон. Русичей, невзирая на ханский ярлык, раздели и ограбили дочиста. Только что не забранные в полон, разволоченные кто до исподних порт, кто и донага, ростовчане, стыдясь самих себя, пешком добрались до берега какой-то речушки. Сидели в кустах, сраму ради, до вечера. Князь, с кого сняли исподние порты, трясся, босой, в чужой рубахе, исходя мелкими слезами злобы и стыда.

Так и пробирались потом, кормясь Христовым именем, от одного до другого редкого становища бродников. А какой-нибудь местный, загорелый до черноты, с серьгою в ухе, не то разбойник, не то рыбак, накормив беглецов ухою, долго с недоверием глядел им вслед, веря и не веря, что бредущий в рубище и самодельных лыковых лаптях середи своей полуодетой дружины высокий раскосмаченный старик — русский князь.

В июле до Москвы дошла весть, что Темир-Ходжа, прогнанный Мамаем, бежал из Сарая в степь, где был настигнут, схвачен и казнен, а в Сарае на трон воссел Ардамелик, но и его через месяц свергли с престола и убили.

В конце августа наконец пришла на Москву долгожданная весть: сарайские эмиры провозгласили ханом Мурада (Мурута), с которым весною сговаривался сам Алексий, а Мамай с царицами и двором перебежал за Волгу.

В Орде по-прежнему шла война. И Василий Кашинский, отправившийся было ближе к осени в Сарай, доехал только до Бездежа, где оставил казну и товары, а сам, спасая жизнь, ушел налегке, загоняя коней, назад, в Русь. По-прежнему было пять царей, но один из них, и именно тот, на кого мог опереться Алексий, держал ныне власть в Сарае.

Получивши известие, в тот же день к вечеру Алексий тайно отослал своих киличеев с заемными грамотами в Орду. На колеблющиеся ордынские весы вновь легло тяжелое русское серебро.

Ольгерд, воспользовавшись замятнею, разбил татарских князей, кочевавших в низовьях Днепра, и захватил всю Подолию до самого Русского моря. Отбивать захваченные волости, подымать Орду на Литву было некому.

Кому везти выход? Кому платить? Кому подчиняться — не ведал уже никто. Великий князь Дмитрий Константиныч в свой черед едва сумел выбраться из Сарая.

Глубокой осенью Кильдибек, собрав все свои силы, подступил к столице Золотой Орды. Тяжко гудела от тысяч копыт промерзшая седая земля. В снежной крупе выныривали, как тени из тумана, узкоглазые воины в мохнатых шапках. Мурут ехал под ханским бунчуком, в мисюрке и русской кольчуге, диковато взглядывая из-под ресниц. Он только что окровавил саблю — только что с режущим уши визгом кидались на его нукеров вражеские воины, и вот снова бой отдалил от него, и там, неразличимые в снежной метели, режутся воины, а ветер доносит только глухой гул от множества конских копыт.

Русское серебро пришло вовремя. У него было больше воинов, и он знал, что победит. К тому же наследник кровавого Бердибека никого не радовал в Сарае... И все-таки это было неправильно! И тревожно! Русичи должны платить дань, а не покупать на серебро ханов Золотой Орды! Но воины нынче идут в бой за плату, и без поповского серебра ему не победить никого! Бесерменские купцы в Сарае дают мало. Они не могут содержать своего хана, хотя и могут предавать ханов одного за другим! И все же без них ему тоже не усидеть на столе...

Русский поп, почему ты не сам, почему не твои воины режутся сейчас в споре за власть?!

Из серо-белой пелены густо пошедшего снега вынырнул вестоноша. Мурут выслушал, кивнул. Мимо на рысях двинулся запасной полк. «Нет, не устоять Кильдибеку!» — подумал он вновь, пропуская мимо себя запорошенных снегом воинов. (Чем кормить их, когда угаснет война?)

Близил миг — и его нельзя упустить! — когда надобно бросить в бой все запасные рати и самому повести их на врага. Кильдибек упорен! Один из нас не уйдет отсюда живым, подумал Мурут, вытирая и вбрасывая в ножны тонкое лезвие хорезмийской сабли. Он глянул назад. Кучка сарайских эмиров, в окружении ханских нукеров, трусила следом, послушная его воле. Кто из них в свой черед захочет поднять кинжал на него? Мурут поморщил чело от этой сторонней мысли и сжал ременную плеть тонкою

смуглой сильной рукой. Вдали перекатывал, словно волны степного пожара, бой. Кильдибек начинал наконец пятить. Близил миг, когда он сам поведет ратных в сечу!

Как только до Москвы дошла весть о том, что Кильдибек разбит и убит под Сараем, Алексий тотчас направил киличеев в Орду, к Муруту, но теперь уже не отай, а прилюдно, с дарами и просьбою о ярлыке на великое княжение владимирское ребенку Дмитрию.

Мурут (или Амурат) честно заплатил свой долг русскому митрополиту. Весной 1362 года киличеи вынесли из Орды, от хана, ярлык на великое княжение Дмитрию Московскому. Одиннадцатилетний мальчик победил взрослого мужа.

Это была первая большая победа Алексия.

Вторая произошла сама собою. Каллист еще в июле послал своих послов, апокрисиариев, для разбора жалобы Алексия, но Роман умер в конце того же 1361 года или в самом начале 1362-го, и митрополия, столь долго разорванная надвое, снова воссоединилась под рукою Алексия.

Шла новая весна, весна 1362 года. Суздальский князь, упершись, не хотел добром уступать власть московитам. Полки выходили в поход.

В Кремнике суета. Москва вся переполнена ратными. Над головами, над кровлями полощут радостные колокольные звоны. Весь посад вышел на улицы. Жонки целуют ратников. Мастера, оторвавшиеся на час от огненной работы своей (день и ночь ковали шеломы, брони, оружие), машут руками, кричат проходящим кметям:

— Нашего оружия не позоры!

— За нами не пропадет! — орут в ответ краснорожие веселые молодцы. Звучат дудки, поют рога. Конница на кормленых, выстоявшихся конях изливает потоком из ворот Кремника. Вельяминов в шишаке, с поднятой стрелою забрала, облитый узорною бронею, на гнедом широкогрудом жеребце пропускает рать.

Митрополит Алексий благословляет воинов. Завидя владыку, ратники снимают шеломы и шапки. Твердым наступчивым шагом проходят полки пешцев, колышет положенный на плечи лес склоненных рогатин и копий. И тут вездесущие жонки со смехом, плачем и возгласами подбегают, влезают в ряды, суют узелки со снедью, с румяными, еще горячими калачами и шаньгами. Старухи крестят проходящих воинов. Красным звоном гудят колокола. Шагом на конях проезжают во главе полков городовые бояре. Москва идет отбивать великий стол.

У княжеских теремов суета. Шура, нарушая чин и ряд, схватывает в охапку, целует Ваняту с Митей. Юный князь хмурит светлые брови. Стыдно! Бояре же! Володя, разгоревшись лицом, уже на коне. Дмитрий старается грозно сдвинуть брови — получается очень смешно, и воеводы прячут улыбки в бороды.

Здесь все великие бояре Москвы. В поход выходят Вельяминовы — сам Василий Василич, тысяцкий, с сыновьями Иваном и Микулою, братья тысяцкого; Федор Воронец (ускакавший наперед вместе с Тимофеем), Юрий Грунка. Тут трое Бяконтовых — Матвей и Константин с Александром (Феофан оставлен беречь Москву). Здесь целая дружина Акинфичей — Андрей Иваныч с сыновьями, Роман Каменский, Михаил. Здесь и все взрослые сыны Александра Морхинина — Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин и Александр. Здесь Тимофей Волуй и Семен Окатьич, Дмитрий Минич, Александр Прокшинич и Дмитрий Васильич Афинеев. Здесь и Семен Михалыч. Старику в чине окольничего поручены обозы и продовольствование ратей. Его дети Иван Мороз и Василий Туша руководят полками, брат Елизар услан стеречь Переяславль. Дмитрий Зерно тоже привел сыновей — Ивана Красного и Дмитрия. Кобылины, все пятеро, тут же, рослые, на рослых конях, — Семен Жеребец, Александр Елка, Василий Пантей, Гавша и Федор Кошка, недавно примчавший из Орды. Кобылины выступают с главным полком. Здесь молодой сын Родиона и Клавдии Акинфичны — Иван Квашня. Это его первый поход. За спиною бело-румяного, застенчивого молодца лес копий кованой дружины Родионовой, дети и внуки тех воинов, что когда-то дрались под Переяславлем против Акинфа Великого.

Подходят рати из Красного, из Звенигорода, Рузы, Можая. С рязанского рубежа подходит грозный коломенский полк. И Спасов лик реет над рядами воинов с тяжело хлопающих боевых знамен.

Проходят полки, проносят знамена. На рысях, приторочив брони к торокам, выслав вперед дозоры уходит по Владимирской дороге конница. Тяжелым разгонистым дорожным шагом проходят пешие полки в кожаных коярах, в простеганных ватных тегилеях, в железных шапках, неся на плечах долгие копья. Катят тяжело нагруженные оружием, ратною справою и припасом возы. А окольными дорогами пробирается, спеша вослед войску, обитый кожею возок, малозаметный в этом море телег и возов, в вереницах полковых обозов. И старец в монашеской сряде, что сидит внутри возка, лишь иногда украдкою, не являя себя, выглядывает в окно. В Переяславле, загородив дорогу суздальцам, ожидает владыку митрополичий полк. Уступленное в Орде по миру пред ханом Хидырем Москва намерена отобрать сегодня с бою.

В Переяславле Алексия ждут важные грамоты, ждет посол из Мамаевой Орды. Владыка, проводивши московскую рать, уже не сомневается в победе. Но его тревожит теперь грядущее: долго ли усидит хан Мурут на ордынском столе? Он почти произносит это вслух, и Станята тотчас придвигается к Алексию. Но в возке — клирошане, слуги. Неподобно говорить при всех! Алексий слегка, чуть заметно, благодарно кивает Станяте. Молчит. Тарахтят кованые колеса. Возок кренит то туда, то сюда.

— Никита Федоров там? — прошает под стук колес Станята, кивая головою в ту сторону, где вот-вот

уже должен появиться Переяславль. Алексий молча кивает в ответ. Возок, проминовавши долгий обоз, начинает спускаться под угор. За вторым перевалом отсюда покажется Переяславль!

«Счастлив ли владыка? Доволен ли?» — гадает Станята про себя. Лик Алексия заботен и хмур. Сейчас, в час всеобщего радостного подъема, он думает о дальнейшем, весит в уме труды послезавтрашнего дня. Кто скажет, настанет ли тот час, тот миг, который Алексий восхощет задержать, остановить? Нет, видимо, не настанет! Вся его жизнь — только труд до предела сил, с постоянною чередой одолений: себя, плоти своей; Ольгерда, до которого просто не дошла очередь; хана; теперь, нынче — суздальского соперника. А будет — будет великая страна, когда уже кости Алексия изгниют, вернее — когда лишь связь костей останет в чтимой Русью могиле.

Вот и последний перевал. Открывается город. К возку подскакивает всадник с рукою на перевязи. Станята, высунувшись из возка, машет рукой.

— Никита! Как ты?

— Дочерь народилась!

— А сам-то как, цел?

— Рука-то? Да так, сшибка вышла, пятерых потеряли... А теперь, как Тимофей Василич с ратью прикатил, так и совсем отходят, кажись, суздальцы!

Никита слегка бледен от раны, но глаза горят и на коне сидит лихо, хоть и правит одною рукой. Сплевывает, цыркает сквозь зубы по давней мальчишеской привычке своей. Сейчас сказывать, как отчаянно рубились позапрошлою ночью, когда такая громада полков подвалила, навроде и стыдно! Эка невидаль! Одного боится теперь Никита: как бы из-за раны не отстать от полков, потому и сидит в седле, лихо откинувшись, потому и цыркает слюной. Алексий милостиво кивает своему воину, оглядывает, понимает все без слова. Велит посетить его в Горицах, прикидывая уже, чем и как помочь раненому. Загноит рука — лежать Никите Федорову опять пластом!

Никита едет рядом с возком митрополита, на ходу сказывает, чем отличил себя владычный полк.

Трубят боевые рога. На стенах Переяславля реют московские стяги. Возок обгоняет конница, и Никита, махнув здоровой рукою Станьке, припускает рысью.

Дмитрий Константинович, которому ни братья, ни младшие князья, прослышавшие о ханском ярлыке, не прислали помочи, спешно оттягивал полки от Переяславля. Московские рати, выливаясь из лесов на просторы Владимирского ополья, двигались следом за ним. Юрьев миновали с ходу. На пятый день похода конные дружины уже подходили к Владимиру.

Дмитрий Константиныч, сметя силы, не стал оборонять города, отошел к Суздалю. Московские рати неотступно следовали за ним по пятам.

Из Суздаля князь прислал посольство о мире, отступаясь великого стола.

Во Владимире, переполненном ратными, Никита, застрявший в Горицах, долго искал своих. В городе творилась веселая кутерьма. Князь Дмитрий Иваныч уже венчался на стол великих владимирских князей, и теперь не бывшие в деле, но одержавшие полную бескровную победу ратники лихо гуляли, выплескиваясь из дворов на стогны города. Плясали, орали песни. Бочки с пивом были выставлены прямо в улицах — пей, не хочу! Никиту, признав, лапали, мяли, били по спине, лезли к нему, расплескивая хмельное темное пиво.

— Наша взяла! Наша! Наш-то князь! Эко! Мал, да удал! Эх! Гуляй!

Две недели праздновал Владимир, гудя колоколами всех своих соборов и церквей. Две недели веселились ратные, а затем начали уходить домой, растекаясь ручейками малых ратей. Владычный и коломенский полки уходили последними.

Так закончился этот поход, увенчавший одиннадцатилетнего мальчика короною Владимирского государства. Но не закончилась еще борьба с Суздалем, не закончилась и сложная ордынская игра тавлейная, затеянная местоблюстителем московского престола, который поставил перед собою великую цель и шел к ней неуклонно, сметая одну за другой преграды чуждых желаний и воль.

Наталья нашарила впотьмах край колыбели, босыми ногами соступив на пол, покрытый ряднинными половиками, подняла маленькую, огладив, приложила к груди. Сын спал, разметавшись, разбросав руки и ноги, и Наталья, садясь на постель, тихонько, стараясь не разбудить, отодвинула малыша. Девчушка чмокала, и молоко, распиравшее грудь до того, что становило тесно дышать, отливало и отливало. Наталья переменила руку, сунув девочке в рот второй сосок. Та недовольно покрутила головкой, но снова въелась и зачмокала удоволенно. Спалось, голова клонилась и клонилась ниже; и Наталья, не в силах сидеть, прилегла на постель. Девочка все чмокала, и Наталья так и заснула с дитятею у груди. Проснулась, когда теплая струйка потекла ей на руку. Обтерев дитятю и постель мягкой ветошкой, Наталья, ругая себя за то, что заснула, переложила маленькую в колыбель, сменив ей мокрый свивальничек на сухой. Все делала ощупью, не зажигая огня. Наконец уложила дитятю и улеглась сама. Сон сошел, долго маялась, перекатывая голову по взголовью, встала, испила квасу, стало будто легче. Только опять задремала — запел петух.

Подумалось: встать или не встать? Коровы зашевелились в хлеву. Холоп, как оженила его на своей девке да отселила на зады (что ж, в сам деле, дитя родит невенчанною, грех!), стал позже вставать, да и холопка, разрывавшаяся меж своим дитятею и работой по дому, не так проворно сполняла обрядню. Надобно пристрожить! Не то Никита воротит — снедовольничает, что распустила прислугу... Все же, полежав, решила вставать. Запалила от лампады свечу, осветила горницу. Умылась, кратко помолясь. Наложила печь. Дрова были занесены с вечера и сохли на шестке. Наладила щи и только срядилась доить, как Ониська с охами явилась в горницу (узрела дымок над кровлей, поняла, что госпожа уже встала и гото-

вит обрядню). Все же переменять не стала — повелев, что сделать в избе, сама вышла в хлев.

Коровы тыкались влажными мордами. Наталья, огладив и ощупав каждую, впотемнях обмыла вымя Пеструхе теплой водой из кувшина, бросила в ясли клок сена — Пеструха иначе не стояла, могла разлить молоко. И, утвердив бадейку меж ног, ощущая плечом теплый коровий бок, стала отжимать соски. Скоро пенистые теплые струйки перестали ударять в пустое дно бадейки, а с бульканьем уходили в нарастающую толщу сытной белой вологи. Наталья любила этот миг ощущаемой полноты. Корова вздыхала, переминаясь. Наталья все отжимала и отжимала соски. Тугие поначалу, они начинали опадать, мягчели. Вот уже она перебралась руками ко второй паре сосков. Иные жонки век с коровами, а не ведают, как и доить, тянут соски, и корове больно, и сухими руками нипочем не выдоишь! А так-то куда способнее! Маленькую ее учила старуха скотница: «Возьми титьку-то, обними долонью, а сперва первым перстиком прижми, указательным, потом средним, потом безымянным, потом мизинным, молоко-то и вытечет, а после снова ручку раскрой и опять пальчиками перебери эдак, и никоторой порухи корове не сделаешь, не растянешь тово, так и пораненную чем корову выдоить мочно!» Теперь пальцы словно играли, сами шли перебором, мягкой волной, незадумчиво представить, так словно бы и всеми перстами сразу отжимашь — рука уже знает сама!

Выдоив Пеструху, сцедив последние капли — в них-то главный жир! — пересела ко второй. Беляна стояла смирно, и ей можно было загодя сена не давать.

Выдоив обеих коров, подняла с натугою тяжелую бадью, сторожко, чтобы не расплескать, занесла по ступеням. В сенцах скинула хлевные чоботы. Босиком вошла в горницу, полную веселого света из устья печи и дыма, что колыхался серыми клубами, трудно разыскивая отверстие дымника. Ониська домывала пол, стояла, раскорячив босые ноги, подоткнувши подол и белея полными икрами. Скоро встанет холоп, вычистит хлев, напоит коня и задаст корм коровам. По ведру пойла давали по приказанию Натальи дойным коровам через все лето. Да и домой из стада коровушки, зная, что вечером получат корм, охотнее шли.

Издали послышалось громкое щелканье пастушеского бича, затем переливчатый голос рожка. Сенька Влазень со скрипом отворил ворота хлева. Вышла Пеструха, за нею Беляна, за нею бык — молодой, он все еще ходил за коровами, — за быком Пеструхина телка, за нею маленький бычок. Самым последним вышел конь, поглядел, фыркнул, раздувая ноздри, коротко и громко взоржал, ему отозвались крестьянские кони из стада. За конем выбежал недавно купленный жеребенок.

Коневое и скотинное стадо тут паслось вместе, а овцы, выпускаемые спустя время, когда пройдет стадо на выгон, и вовсе паслись невдали от дома, в кустах.

Никита обещал воротить к покосу, да все нет и нет! Наталья велела холопу начинать окашивать усадьбу и ближний лужок, не сожидая хозяина.

Дети, как зашла в избу, уже проснулись, и младшенькая отчаянно ревела, не увидя матери. Печь дотапливалась, рдели уголья, дым уже поредел. Скоро можно будет выгребать и ставить хлебы. Каша сварилась на шестке, и щи уже доходили.

Торопливо покормив малую, Наталья, засучив рукава, взялась за хлебы. Надо было вымесить поставленную с вечера дежу и слепить караваи. Холопка села сбивать масло. Мутовка стукала в лад, баюкая, и девочка вновь уснула. Сын, уже умытый, пил, давясь и захлебываясь, парное молоко.

Подоенное разлили по кринкам и вынесли в холодную клетушку на сенях, куда складывали снедь и печеный хлеб на неделю. Здесь молоко отстаивалось. Пока готовила хлебы, поставила в печь творог и едва не сожгла, но вовремя спохватилась вытащить ухватом глиняную корчагу. Горячий творог вывалили в решето, поставили стекать. Угли уже выгребли, опахали печь можжевеловым помелом, и Наталья принялась сажать хлебы на деревянную лопату, пёкло, и метать в печь.

Сын, постояв на ножках и сделав несколько шагов по избе, в конце концов опустился на четвереньки и пополз, выставив заднюшку, косолапо перебирая толстыми, в перевязочках, ножками. У порога вновь встал, просительно глядя на дверь. Наталья кинула последнюю ковригу на горячий под, заволокла устье печи деревянной заслонкою (в окна уже светло протянулись солнечные лучи) и, подхватив малыша под руку, вышла в утреннюю сырь двора. Овцы грудились у крыльца, и сын потянулся сразу к ним — потрогать курчавую шерсть и теплые морды овец, что незастенчиво обнюхивали малыша, тычась в него своими черными горбатыми носами. Наконец овцы отошли от крыльца, и гуси друг за другом спустились под гору, к реке. Пестрые куры рылись в сору, и Наталья отнесла сына подальше от них и от наседки, что могла выклевать глаза маленькому, посадила на теплый пригорок, на траву. Сама прошла в огород; поглядывая на маленького, выполола грядку моркови — остальные Онисья доправит! Отерла потный лоб, прошла в отверстые хлева, проверила, хорошо ли Сенька вычистил стойла. Сменив Онисью за горшком со сливками, отправила бабу за водой. Та уже и своего малыша затащила в корзине в горницу.

Скоро все сели за кашу с топленым молоком. Густой дух поспевающего ржаного хлеба тек по горнице. Наталья сама прочла «Отче наш» перед трапезой. Отрезая хлеб, холоп уронил нож — придет жданный кто! Так и подумалось о Никите.

Сенька ушел косить до обеда. Ониська отправилась в огород, а Наталья, сбивши масло и промыв его ключевою водой, уложила круглые фунтовые масляные колобы в берестяной туес, вынесла в кладовушку на сени, отжала творог и тоже вынесла из избы, слила сыворотку в коровью бадейку — бычку с телушкой, как придут с поля, так и дать — и, проверив всех троих детей (сына занесла все-таки в горницу, а то его уже облизала собака на дворе, и он ревел, сидя на

траве раскорякою), села прясть. Стучало веретено, которое Наталья то и дело пускала волчком, тек по избе сытный дух поспевающего хлеба, и она стала напевать сперва про себя, потом громче и громче грустную — взгрустнулось чего-то, — и дети заслушались, даже и «медвежонок» (редко звала сына крестильным именем Иван, а все больше прозвищами) прилез, уместился у ног, приник к ней, посапывая.

Топот во дворе застал Наталью врасплох. Она только-только начала вынимать хлебы из печи. Засуетилась, упало сердце: «Он!» Кинулась к порогу, к печи, махнула рукой, все бросив, выбежала вон.

Никита с подвязанной рукою неловко слезал с седла. (Как ни рада была мужу, а тотчас подумалось про покос: холопу одному не сдюжить, эстолько сенов надобно!) Второй, невысокий, жилистый, тоже слезавший с седла, был незнакомый, однако по строгому виду и по внимательному, полному мысли взору (кабы не в мирском платье, дак и принять за инока мочно!) угадала, что не простой кметь.

Обнявши левою, здоровой рукою (пахло конем, потом, пылью, дорогой и родным, своим запахом, который узнала бы среди тысячи в темноте), Никита охлопал ее по спине, чуть грубовато, стесняясь перед гостем, подвел. Дрогнув голосом, повестил:

— Станята! Баял про ево! Владычный писец! — И тише добавил: — Радость нам с тобою привез!

— А хлебы ти! — всплеснула руками Наталья. Ониська, впрочем, спохватилась первая. Пока госпожа встречала гостя и мужа, забежала в горницу и, сообразив дело, покидала из печи готовые хлебы, застлала рядном, вдвинула ухватом в печь щи, прикрыла заслонкою и уже разоставляла на столе глиняные мисы и деревянные тарели.

Пока мужики мылись во дворе, поливали один другому на спину, снявши рубахи, до пояса голые, стол обрастал закусками. Явились рыжики, и масло, и хлеб, и сущик, и горка зеленого лука, укропа и сельдерея, и блюдо земляники, собранной давеча за рекою, явилось на стол, и третьеводнишние пироги с капустою, и тертая редька, и квас.

Никита, усевшись за стол, морщась, пошевелил пальцами увечной руки, крякнув, взял деревянную ложку в левую руку. Пора была обедошняя, и холоп скоро явился, к самой выти.

Стол наполнился. Закусив рыжиками и чесноком, выпили по чаре береженого меду, въелись затем в огненные щи, за которыми воспоследовали пироги и пшенная каша. Ели на заедки творог, щедро политый сметаною и медом, жевали хрусткие домашние коржи, сотворенные на патоке. Пили пиво и квас.

Новость была действительно утешная. Владыка мог по закону забрать под себя и Натальину деревню, поскольку Никита заложился за митрополита со всем родом, но не только не сделал этого, а напротив, выдал грамоту, по которой деревня под Коломною оставалась вчистую за Натальей Никитишной и могла быть передана ею любому родичу, а сын Никиты волен был не служить митрополичьему дому, и тогда коломенская деревня Натальи переходила к нему. Лучшего подарка, в самом деле, пожелать было бы и не можно.

— Вот, малыш! — говорил Никита, прижимая к себе сынишку здоровой рукой. — Вырастешь, станешь вольным мужем!

Мальчик, еще ничего не понимая, только таращил глаза на отца и силился что-то сказать, совсем пока неразборчивое... Станята тем часом тихо беседовал с Натальей, вызнавая беды и радости в семье друга.

В ближайшие три дня утрами сходил на покос, смахнул порядочный лужок хорошо отточенною горбушей, смотался к старшему посельскому и от имени митрополита выпросил на неделю двоих работников. Словом, покос был Станятою спасен.

В день отъезда Станяты мужики сидели, пили кислый мед на расставании. Никита все спрашивал, что надумал делать Алексий. Станята, не хотя врать другу и не будучи волен повестить владычные тайности, отмалчивался, только единожды намекнув, что идут пересылы с Мамаевой Ордой.

— А Ольгерд? — спрашивал Никита с напором. — Он же, бают, уже и Киев под себя забрал, сына там посадил, и весь юг, до самого Русского моря! Почитай, и всю Киевскую державу под себя полонил, эко! Неуж стерпим?

— Пока стерпим! — отвечал Станята. — Надо терпеть! Придет и Ольгердов час... Добро, что митрополию отстояли!

— А снова Ольгерд кого поставит там, у себя?!

— Пока не слыхать! Каллист изобижен, не позволит! Кабы крестилась литва, ино бы дело повернуло...

Друзья сидят думают. У того и другого в глазах киевское сидение, но о том — ни слова.

— Ты поправляйся скорей! — просит Станята друга, и Никита кивает серьезно, без улыбки на челе, словно и болесть в воле людской, ежели, конечно, есть воля. Друзья пьют, думают. У них нет той власти, что у владыки Алексия, и не будет никогда, но думают они о том же самом и хотят того же, и потому только и может Алексий там, на вершине власти, вершить дело свое и побеждать там и в том, в чем греческий василевс Кантакузин терпел поражение за поражением.

Мурад-Амурат (или Мурут, как его называли русичи) оказался талантливым полководцем. Он не был искушен в тайной возне противоборствующих сил, в изменах, подкупах, обманах (во всем том, в чем был искушен темник Мамай) — и потому был вскоре зарезан в Сарае своим первым эмиром, Ильясом, но древняя наука Темучжина — умение побеждать — жила в нем, казалось, с самого рождения. Теперь, сейчас в это уже можно стало поверить.

Истоптанная степь пахла снегом, конской мочою и кровью. Мамай спешно оттягивал свои разбитые войска. Он не понимал, как его мог победить этот пришелец из Ак-Орды, и потому был в бешенстве. Но полки, растянутые для охвата противника, отрывались от своих и отступали, но собранные в один кулак силы главного удара откатывали назад, словно вол-

ны от железной преграды, но стремительные сотни врага, посланные Мурадом, точно меткие стрелы, опрокидывали Мамаевы дружины одну за другой, и после целодневной битвы в виду Сарая Мамаю приходило, дабы не погибнуть самому и не потерять рать, уводить назад в степь свои потрепанные полки.

Мамай и сам не ведал, что нынче под Сараем древняя тактика монгольской орды, тактика победителей полумира, еще раз показала свое превосходство над рыхлою нестройною лавой половецкой конницы. Впрочем, Мамай никогда и не был талантливым полководцем. Он был талантлив в другом. И потому, разбитый под Сараем, отступив в степь, он тотчас отправил послов во Владимир к митрополиту Алексию.

Талант противника, стратегия Темучжина и Батыя: стремительные удары скованной железною дисциплиной конницы, маневренность, «сила огня» (дальнобойность и меткость монгольских лучников), умение мгновенно перебрасывать полки в направлении главного удара, умение рассечь войско противника, обойти и уничтожить по частям — все то, что сделало непобедимой немногочисленную монгольскую конницу и чему еще только предстояло через века научиться европейцам, — все это было вовсе непонятно Мамаю. Собрать возможно больше войска и бросить его кучею на противника — вот и вся стратегия знаменитого темника. Но кого и когда подкупить и кого и в какой момент прирезать — это Мамай знал твердо и потому, разбитый Мурутом, сообразил, понял одно лишь — русское серебро!

Год назад всячески увиливавший от любых соглашений с Алексием, он теперь сам послал к нему скорого гонца, предлагая князю Дмитрию Иванычу ярлык на владимирский стол от имени своего хана Авдула. (С ярлыком, естественно, разумелось, что русское серебро, «ордынский выход», пойдет теперь не хану Муруту, а ему, Мамаю, и поможет одолеть упрямого белоордынского соперника.)

Но Алексий медлил. Выдвинул свои требования, среди коих было одно, не показавшееся слишком важным Мамаю, и второе, задевшее его кровно. Второе — это был размер дани, «выхода», который Алексий предлагал снизить почти вдвое, а неважным было то, что русский митрополит потребовал от Мамаева ставленника, хана Абдуллы, признать владимирское великое княжение вотчиною малолетнего князя Дмитрия.

Вотчиной у русских считалось наследственное, родовое владение, переходящее от отца к сыну. Пока московские князья сидели на владимирском столе, так оно и было на деле. На деле, но не по грамотам! Мамай понимал хорошо, что грамота, не подкрепленная воинскою силой, мало что значит (а силу законности у русичей он явно недооценивал), и потому, подумав, решил согласиться на это требование московита, объяснявшего свою просьбу тем, что ежели Владимир не почесть вотчиною князя московского, то любой из ханов-соперников теперь начнет выдавать ярлыки на него прочим русским князьям, возникнут пря и раздрасие, при коих никакой «выход ордынский» собирать станет не можно. Это темник Мамай мог понять и понял. И потому, в чаянии русского серебра, согласился на просьбу Алексия. Приходилось после разгрома под Сараем соглашаться и на второе, чего Мамаю не хотелось допустить совсем, — на сокращение дани.

Оговоримся. Об этих двух важнейших уступках — сокращении дани и признании владимирского великого княжения вотчиною князя московского — ничего не сказано в летописях и грамотах той поры. Только по отсылкам позднейших договорных хартий устанавливается, что с 1363 года московский князь начал считать владимирский стол своею вотчиной. И только из требования Мамая в 1380 году выплачивать ему дань «по Джанибекову докончанию» устанавливается, что когда-то (когда?) дань была значительно снижена.

Ранней весною 1363 года во Владимир вновь двинулись московские воеводы, ведя с собою юного Дмитрия с братьями. Московский мальчик-князь венчался вторично великокняжескою шапкою в том же Успенском храме стольного города владимирской земли, но теперь уже по ярлыку хана Абдуллы, присланному из Мамаевой Орды.

Отпустивши ордынского посла, князь Дмитрий отправился в Переяславль, где его ждал духовный отец, владыка Алексий, совершивший ныне то, что не удавалось никому прежде и о чем юный Дмитрий даже не подозревал, пока ему не объяснили, уже подросшему, что теперь, с часа сего, он волен считать великий стол владимирский своею неотторжимою вотчиною, и, следовательно, в холмистом и лесном Владимирском Залесье явилось государство нового типа, и с даты этой, едва отмеченной косвенными указаниями позднейших грамот, надобно считать возникшим Московское самодержавное государство, Московскую Русь, заменившую собой Русь Владимирскую.

Этому государству еще долго предстоит биться за право быть на земле, долго заставлять соседей и братьев-князей признать себя существующим, ему предстоит выдержать страшную битву с Ордою и устоять, но создано оно было сейчас, теперь, ныне.

Алексий сидит, чуть утомленно склонив плечи, смотрит на дело рук своих. Мальчик-князь, разгоревшийся на холоде, весь еще в восторге торжеств во Владимире, вертит головой, ему не сидится в креслице на почетном месте во главе стола. Но бояре необычайно торжественны, и ему, Дмитрию, приходит смирять свой еще детский норов. Да и глядят на него столь значительно все эти взрослые, сильные, хорошо одетые мужи, которым почему-то потребовалось венчать его вновь, по ярлыку от иного, разбитого Мурутом хана...

Спросим опять себя (ибо сведения летописей и грамот лишь косвенны и историкам много труда пришло, дабы установить эту дату: 1363 год, а относительно снижения дани единого мнения не выработано и до сих пор), зачем понадобился второй ярлык на владимирское княжение Алексию? (Причем от темника Мамая и его хана Абдуллы.) Ярлык, разъяривший Амурата, ярлык, из-за которого могла бы начаться война, ежели бы Амурат вскоре сам не пал от

руки убийц? Даже допуская, что Алексий знал о близкой гибели хана Мурута... Зачем? И почему Мамай от имени своего хана сам шлет посла к Алексию? Чего добивается он?

О чем говорил, о чем спорил с Алексием ордынский посол? О чем молчат летописи? Почему, наконец, двинув через семнадцать лет на Москву все силы Орды, Мамай потребовал от князя Дмитрия ордынской дани по прежнему, Джанибекову докончанию?!

Вот и ответ! Значит, дань была мала, и меньше настолько, что, дабы повысить ее до прежнего уровня, потребовалось вооружить и двинуть на Русь триста тысяч воинов!

Когда могли настолько уступить русичам татары? Только теперь. Только в тот час, когда Мамай, ведя степную войну, нуждался в поддержке урусутов больше, чем они в его поддержке, ибо тот хан или бек, коего поддерживал русский улус, тотчас вырастал в значении своем и силе, да и русское серебро было достаточно тяжким доводом на весах ордынской судьбы.

— Великий ходжа Алексий! — говорил посол, сдвигая брови. Урусутский главный поп сидел перед ним непроницаемо важный. — Мамай верит тебе, будь же и ты другом нашему господину!

— Из Бездежа пришла чума... — чуть рассеянно отвечает Алексий. — Мертвые смерды не могут платить даней! Это твой повелитель должен понять нас, русичей, и сбавить ордынский выход! Мурут готов уступить...

— Не говори о Муруте! — взрывается посол. — Чужаков из Ак-Орды не потерпит народ! Они не ведают наших обычаев! Они погубят и нас и вас! Ты лечил Тайдулу, а Мурут — брат ее убийцы!

— Нам ведомо, что Мамай силен! — отвечает Алексий раздумчиво. — Но сколько ханов уже сложило головы в этой борьбе! И каждый из них был как-никак Чингизид!

— Ты тоже не княжеского рода, а правишь! — насупясь, перебивает посол. — Решают везде и всегда люди длинной воли!

— Мамай был всегда врагом Чингизидов! — возражает Алексий. — Его предок, Сечэ-Бики из Кыят-Юркин, был убит Чингисханом два века назад, и с тех пор Кыяны выступали всегда против Чингизидов. Иные из них ушли к половцам. Мамай из рода Кыян, и хотя он стал темником, но его друзья — половцы, а не татары. Можешь ли ты обещать, что его поддержит вся степь?

Посол тускнеет. Урусутский поп явно знает столько, что с ним почти невозможно спорить.

— Сколько же ты можешь дать? — спрашивает посол.

И начинается торг, при коем послу не раз приходит хвататься за рукоять сабли, а Алексию — за крест, клятвенно уверяя, что больше при всем желании заплатить русская земля не может.

Треть или половину дани скостил Алексий в этом необъявленном торгу — неведомо, но из-за малой уступки не стал бы Мамай через семнадцать лет подымать против московского князя всю Орду. Во всяком случае, уступка была сделана, и русское серебро, уже в половинном размере, пошло теперь на поддержку Мамаевой Орды против Мурутовой.

Разгневанный ордынский хан послал в ответ на Русь белозерского князя Ивана, который выпрашивал в Орде ярлык на свое княжение, и с ним тридцать татаринов, дабы передать владимирский ярлык вновь суздальскому князю Дмитрию Константинычу... Наверно, Мамай рассмеялся, узнав об этом посольстве.

Во Владимире суздальский князь просидел всего лишь неделю. Именно столько времени потребовалось москвичам, чтобы вновь бросить на Владимир московские рати «в силе тяжце». Полки подошли к Суздалю, и через несколько дней, не доводя дело до боя, Дмитрий Константиныч взял мир с московским князем, вторично отрекаясь от великокняжеского стола. Но теперь солоно пришлось не только Дмитрию Константиничу, но и его союзникам. Со своих столов были согнаны галицкий князь Дмитрий, Константин Ростовский и Иван Стародубский. Волости названных князей предпочли платить уменьшенную дань под рукою Москвы, чем полную при своих законных владельцах.

Дмитрий Константиныч поехал в Нижний Новгород к брату, и все изгнанные Москвою володетели собрались к нему туда же, «скорбяще о княжениях своих»...

На следующий год, зимою 1364-го, когда очередной ярлык от очередного ордынского хана привез Дмитрию Константинычу его старший сын, Василий Кирдяпа, суздальский князь наконец понял, что его не сгонят в третий раз с великого княжения попросту потому, что не пустят на него.

Алексию еще предстояла нелегкая задача заставить суздальских князей вовсе отказаться от своих прав на великое княжение владимирское за себя и за своих потомков, но это уже другая речь и о других событиях, коим и место в книге иной.

ЭПИЛОГ

Так возникла на Руси осуществленная мечта, бродившая по всему Востоку, — мечта о православном царстве легендарного «Пресвитера Иоанна», мечта, пронесенная несторианами до далеких степей древней Монголии, мечта, отразившаяся в сказаниях, слухах и повестях, мечта, как и бывает зачастую с легендами, более реальная, чем сущие в пору ту царства и земли, впоследствии позабытые и без наследка утонувшие в веках... Мечта о православной стране во главе с духовною властью, без зримых печатей гибели поздней Византии, мечта, которая так бы и осталась преданием и мечтою, не воплоти ее митрополит Алексий в зримом создании своем — Московской Святой Руси. Сюда, в это новое государство, новое «царство попа Ивана» перешли здоровые силы погибшей монгольской державы и перейдут силы Литвы, откачнувшейся к католичеству. Здесь греческая культура и

мысль гибнущей Византии найдут почву для продолжения своего и воссоздания в новом облике культуры Московии. И этому государству еще долго жить! Пока не станет оно иным, пока светская власть не совлечет покрова духовности и не обнажит тем самым жестокости власти с неизбежными ее спутниками — насилием, угнетением меньших, рознью и гибельною роскошью знати. Но до того — века!

Митрополит Алексий, создавший Московскую Русь, заложивший основы единодержавной власти в стране, утвердивший династию государей московских и спасший русскую церковь и саму Русь от поглощения ее латинским, католическим Западом, наконец, явивший миру подвижника Сергия Радонежского, спит в могиле, упокоившись после трудов и свершений своих, после бурно и славно прожитой жизни. Он всего двух лет не дожил до Куликова поля и не переставал тревожиться о грядущей судьбе страны даже и пред самою кончиной. Родина почтила героя своего, объявивши его святым. Можем ли мы теперь хоть одним словом упрекнуть его за что-либо из свершенного им ради нашего существования в этом мире? Не можем! Преклоним же наши колени у славных могил создателей Великой Руси, нашей дорогой Родины!

Уважаемые читатели!

Признано целесообразным организовать, начиная с 1991 года, подписку на год, полугодие или квартал по выбору подписчиков.

Установить единый номинал номера в размере 1 рубль 10 копеек.

Дмитрий Михайлович Балашов

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Роман

(Окончание)

Редактор *Г. Панкратова* Иллюстрации художника *А. Дудина*

Художественный редактор *А. Орлов* Технический редактор *Л. Ковнацкая*
Корректоры *Т. Асланянц, О. Добромыслова.*

Сдано в набор 14.09.89. Подписано в печать 04.12.89. Формат 84×108 1/16. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 13,76. Тираж 2.600.000 экз. Заказ № 2244. Цена 1 р. 21 к.
Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.
Во всех случаях полиграфического брака просим высылать бракованный экземпляр в типографию, которая его выпустила, для замены.

(Начало на 2 странице обложки)

Работа по подготовке Русской энциклопедии и промежуточных по отношению к ней изданий находит патриотический отклик по всей стране. Начались пожертвования на наше общее, соборное дело. Сообщаем счет Культурного центра «Русская энциклопедия»: № 700014 — в коммерческом банке «Прогресс-банк»; расчетный счет банка 161801 в Дзержинском отделении Жилсоцбанка г. Москвы (МФО 201638). О правилах реализации изданий «Библиотеки Русской энциклопедии» будет объявлено в печати.

Л. БЫСТРОВ,
Генеральный директор Культурного центра «Русская энциклопедия», член правления Всероссийского фонда культуры

В. ГАНИЧЕВ,
Член правления Культурного центра «Русская энциклопедия», руководитель программы «Русское зарубежье», председатель Московского отделения Союза за духовное возрождение Отечества


1 р. 21 к.
70782
РОМАН-ГАЗЕТА 2
В третьем-четвертом номерах
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»
читайте роман
Юрия Азарова «ПЕЧОРА»